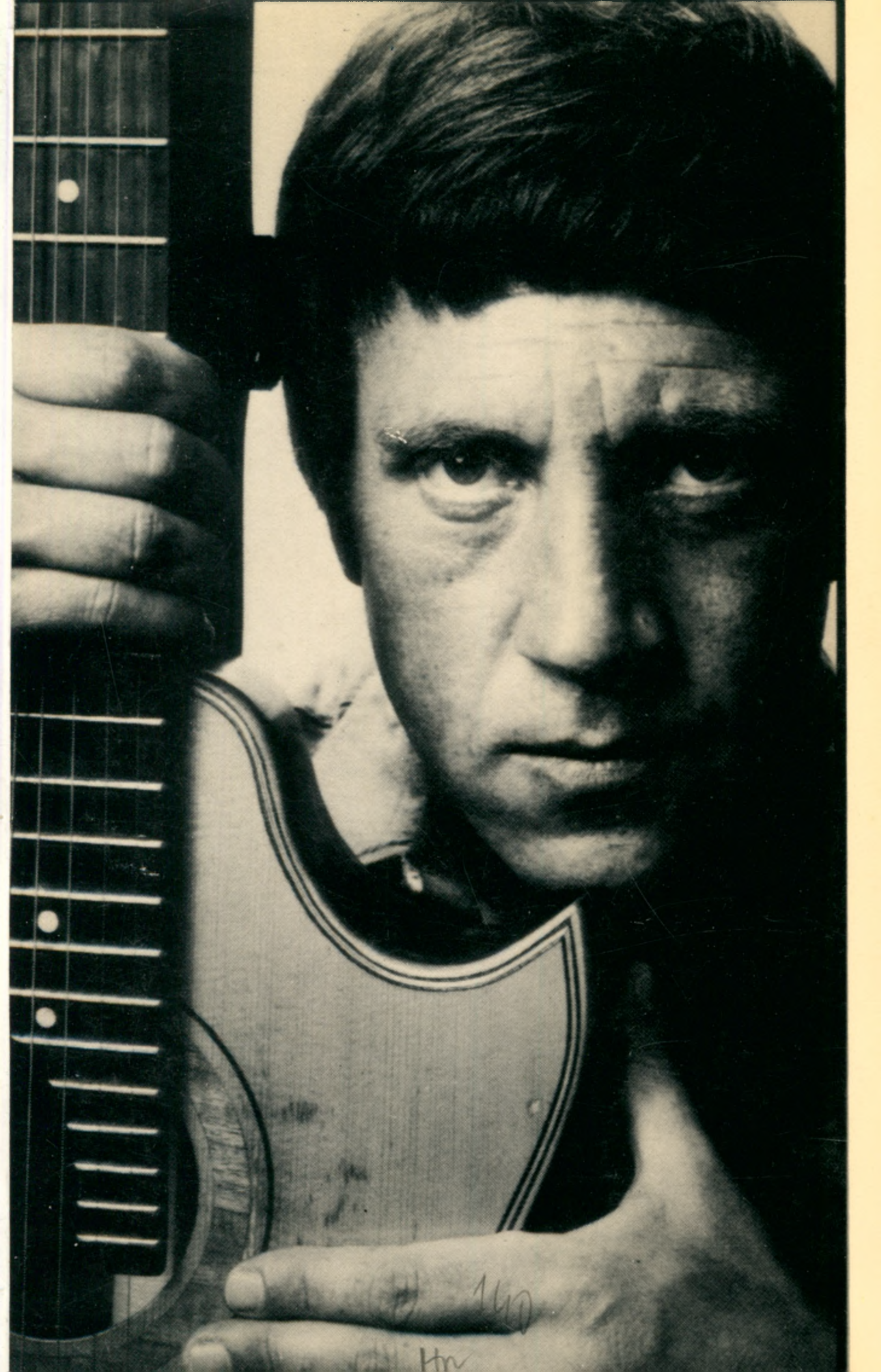




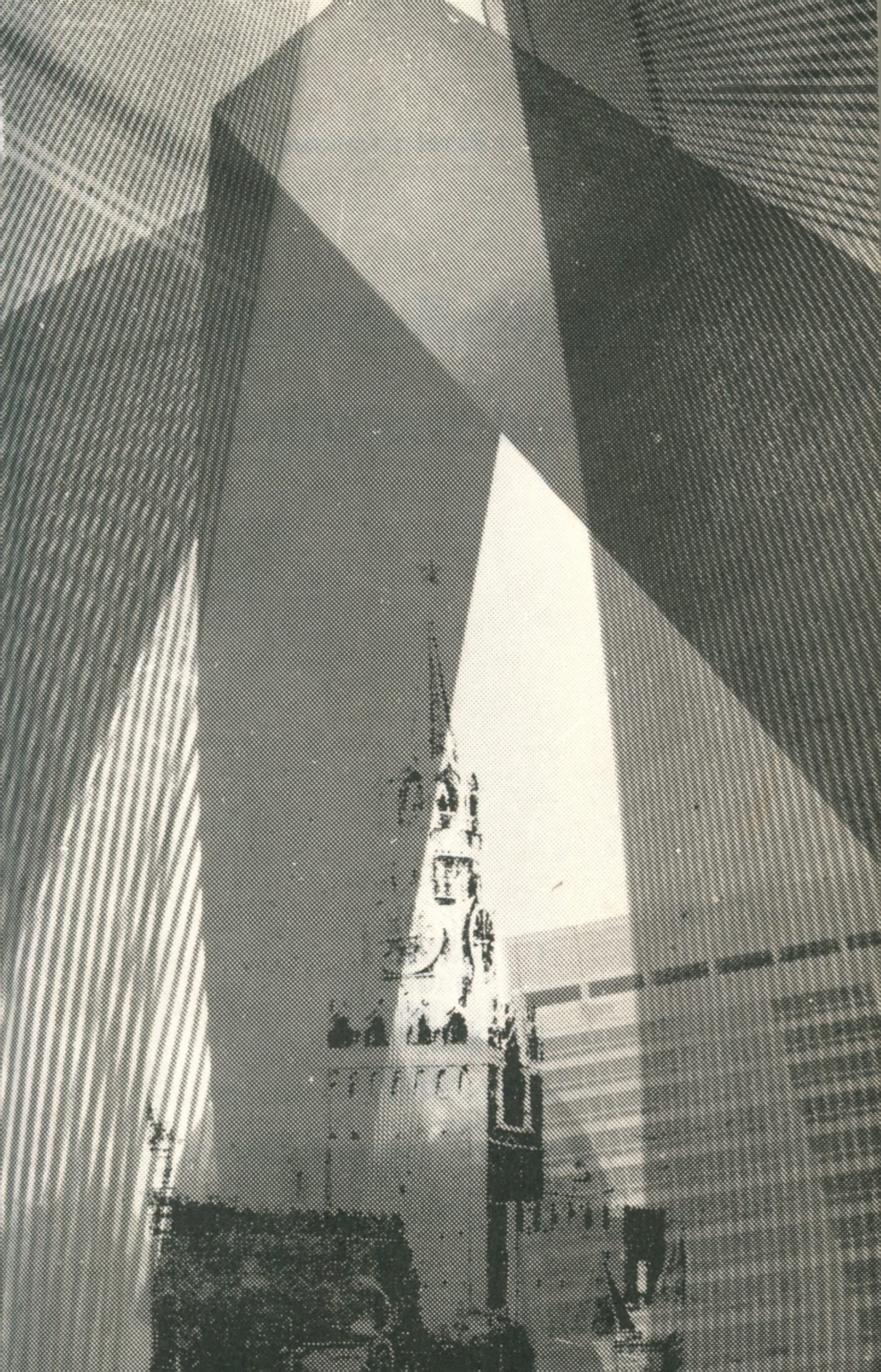
Павел Леонидов

Владимир Высоцкий и другие



Книга вторая

Скоморохи



Pavel Leonidov

Vladimir Visotsky and the others



New York Russian Publishing
1983
New York

Павел Леонидов

Владимир Высоцкий и другие



Русское книгоиздательство
«Нью-Йорк»
1983 год
New York

На обложке цветные фотографии В. Высоцкого работы М. Шемякина. (Париж, июнь 1980 год, за месяц до гибели)

Все фотографии из коллекции автора и Михаила Шемякина. Каждая имеет «копи райт» в книге «Владимир Высоцкий и другие».

Форзац смонтирован из двух фотографий А. Тульчинского

На первой странице обложки портрет В. Высоцкого работы Л. Лубяницкого. Портрет признан лучшим из всех известных и висит в фойэ Театра на Таганке, а также подарен Л. Лубяницким книге «Владимир Высоцкий и другие».

Оформление автора



Павел Леонидов

Владимир Высоцкий и другие

Pavel Leonidov

Vladimir Visotzky and the others

На память всем, кто любит Владимира Высоцкого

Книга первая

Средство от себя



Леонид Лубяницкий



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Коммунистической партии Советского Союза

ПРАВДА

Орган Центрального Комитета

№ 233 (16819) Четверг, 20 августа 1964 года Цена 2 коп.

ДЕЛЕЦ ОТ ИСКУССТВА

На заключительный концерт столичных артистов в Новосибирске были проданы все билеты. Однако поклонников эстрадного искусства оказалось значительно больше, чем мест на стадионе «Сибирь», где проходил этот концерт. Идя навстречу многочисленным просьбам трудящихся миллионного города, местная филармония и телестудия решили транслировать выступление столичных артистов по телевидению.

Но напрасно в тот вечер ждали телезрители объявленного концерта. На экранах мелькали кадры давно уже виденного фильма.

А произошло вот что. Накануне представления на стадион пожаловал администратор Всероссийского гастрольно-концертного объединения Министерства культуры РСФСР Л. Л. Леонидов. Увидев нацеленные на арену телевизионные объективы, он пришел в страшный гнев.

— Не позволю,— закричал он.— Убрать камеры, снять микрофоны! А не то — распущу артистов по домам, отменю концерт!

Работники студии, представители общественных организаций города пытались увещевать разбушевавшегося администратора, доказывали ему, что есть специальное решение, дающее право телестудиям транслировать программу в последние дни ее представления. Но куда там!

«Мало ли что есть! Я привез артистов, я — хозяин! — бушевал Леонидов.— Своими руками выброшу ваши аппараты!» — и уже засучил было рукава...

«В довершение всего,— сообщает в редакцию «Правды» начальник смены передвижной телевизионной станции А. П. Князев,— тов. Леонидов подозвал охрану и распорядился выдворить со стадиона работников телевидения, выполнявших служебные обязанности. Блюстители порядка взяли меня под руки, хотя я и не сопротивлялся, и грубо вытолкнули за ворота...».

Так делец от искусства испортил настроение сотням тысяч телезрителей, не дал им возможности познакомиться с новинками эстрадного искусства.

Министерству культуры РСФСР следовало бы оградить искусство от подобного рода «деятелей».

В. МОЛЧАНОВ.

«ПРАВДЕ» ОТВЕЧАЮТ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ!

Работница Верхнедвинского хлебоприемного пункта М. Давыдова написала в «Правду» о злоупотреблении служебным положением и грубости директора этого пункта Г. Ковалева. Подобные факты были известны и раньше. Год назад бюро парткома Верхнедвинского колхозно-совхозного производственного управления объявило Ковалеву строгий выговор за неправильное отношение к подчиненным. Однако директор не извлек из этого серьезного урока.

Сигнал работницы М. Давыдовой, таким образом, был правильным. Как сообщает в «Правду» секретарь Витебского сельского обкома КП Белоруссии С. Пилотович, за поведение, недостойное советского руководителя, Г. Ковалев освобожден от занимаемой должности.

* * *

В «Правде» была опубликована заметка «Делец от искусства», в которой критиковались неправильные действия администратора гастрольбюро П. Л. Леонидова в гор. Новосибирске. Как сообщает в «Правду» управляющий Всероссийским гастрольно-концертным объединением С. Астахов, приказом по объединению П. Л. Леонидову объявлен строгий выговор.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я начал с заметки из газеты. Написано, что я выгнал телевидение с последнего спектакля. Ложь, как все в «Правде». Эти болваны из филармонии и телевидения приперлись со своими камерами на первый концерт, а объявлено их было пять, и билеты были проданы в целом едва ли на двадцать пять процентов. Не выгони я этих вредителей, и больше ни одного билета не было бы продано. И были бы колоссальные убытки вместо колоссальных прибылей. А ведь меня послал в Новосибирск министр культуры РСФСР Алексей Иванович Попов для того, чтобы «снять филармонию с картотеки». Поясню. Когда Никита заглянул в город по поводу интриг в Академгородке, его притащили на спектакль Оперного театра, где директорствовал еврей, выдававший себя за русского, некто Семен Владимирович Зельманов. Этот тип был правоверен до такой степени, что однажды, когда я с трудом втащил на генеральную репетицию концерта на стадионе «Динамо» в Москве Высоцкого и тот спел «Песню о друге», прошедшую цензуру кино и даже радио, Зельманов, умница, прикидываясь идиотом, на полном серьезе сказал мне: «Что значит — «На вершине стоял хмельной»? Пьяный, значит?», и снял песню вместе с Высоцким с программы. В то время он уже был директором «Росконцерта», а тогда в Новосибирске был он всего-навсего директором местного Оперного театра.

В антракте Зельманов зашел в «предбанник» правительственной ложи, подошел к Хрущеву и, подобострастно улыбаясь, предложил по примеру кретинских объединений Никиты объединить в городе Филармонию, Оперный театр и Оперетту. Никита сразу одобрил. За год «Объединение» принесло полтора миллиона убытка. Попов и первый секретарь обкома разъединили «лебедя, рака и щуку», но было поздно. У Министерства не оказалось денег покрыть убыток, и над огромным сибирским горо-

дом, и так живущим в тоске, нависла угроза снятия с концертного обслуживания. И меня послали «сделать деньги», а те два болвана из филармонии и телевидения решили угодить трудящимся...

Обычно после подобной заметки в «Правде» критикуемому приходится плохо. Меня спасло заступничество Фурцевой. А вскоре убрали Никиту. Позже не удалось бы Фурцевой меня защитить, так как брежневцы ее ненавидели. И я за свой труд и желание быть полезным вылетел бы с работы. И вряд ли был бы хоть когда-нибудь принят обратно.

Я не хочу миллионно повторяться о том, что вожди давно развалили до основания все, что могли в угоду своей идеологии, но в приведенной заметке и в книге вы найдете, как они самоедски пожирают и ее, вымахавшую правда, в пол-мира, если не больше.

Я проработал на эстраде двадцать пять лет, после чего начал писать тексты эстрадных песен, а значит, остался на ней же. Меня называли администратором номер один. Меня ловило ОБХСС СССР двадцать пять лет, но не могло поймать не потому, что я был ловче и умней его работников, а потому, что никогда не связывался с государством, ничего у него не брал.

Зато я любил обходить законы по закону. Вожди такого наворочали, что на любой закон в стране есть два, его опровергающих...

* * *

...В предисловии я ничего не пишу о Володе Высоцком, хотя книга о нем. Впрочем, именно поэтому и не пишу, наверное. Еще я не пишу о нем в предисловии потому, что на днях прочитал выступление Василия Аксенова на заседании Вашингтонского отделения Литературного Фонда, где он смаху заявил, что опыльцован «той же пыльцой, что и Сэлленджер», а также ряд других совершенно блестящих американских писателей. Я прочитал этот бред и мне стало стыдно: воспитанные в неволе мы тщимся быть или стать такими же. Да мы — то — выше, то — ниже, но нету в России пыльцы для свободных людей!!!

Я сроду и там не был трусом, но и героем не был, а нынче оттуда сплошь едут герои, и непонятно порой — они травили КГБ или КГБ — их...

Ну, зачем врать?! Зачем? Мы же и так — герои, что выстояли и вывезли себя. Мы же и так — писатели, раз после всего ручку в руках держим и не пугаемся вида пишущей машинки. Ну, зачем нам возводить на себя напраслину, что мы все там были самыми-самыми... Мы — русские, евреи, латыши, грузины

и другие выволокли себя из под того неба сломанными, но живыми — уже подвиг. Разве нет?

«Средство от себя» — первый том трилогии о Владимире Высоцком и о России пятидесятых-семидесятых годов в той ее части, где — Искусство, а так как Искусство везде, то и претензия книги не меньшая, чем задача.

А что выйдет — трудно сказать, но одно можно сказать твердо: в книге не будет лжи, а для книги, написанной по-русски — это уже много.

17 июня 1982 года
Нью-Йорк

«...Галилей. Нет! Несчастна та страна,
которая нуждается в героях...»

Бертольд Брехт. Галилей

...Я страшно любил Братское кладбище в поселке «Сокол», когда поселок был весь в березовых рощах. Сейчас и не помню, а может, и не знал никогда, отчего кладбище называлось «Братским», но помню вместо памятников — разбитые, огромные куски мрамора и гранита — наверно, добрейшая власть мстила покойникам. Но почему тогда — «Братское», похожее со своими старыми дубами на парк? Далеко внизу у его подножья текла вонючая речка Таракановка. Другое кладбище при церкви тоже тосковало над Таракановкой. Третье — было тихим-тихим, затерявшимся среди Песчаных улиц. Я туда ходил. Приду, а мне было лет семь, сяду в самой глубине на скамеечку возле чьей-то могилки и грущу. Вроде здоров был, ел досыта, играл с утра до ночи, любили меня, а у меня и во мне ежедневно копилась грусть, щемящее что-то, искреннее и необъяснимое даже и сейчас. Может, то было предчувствие? Или — воспоминание?

Сижу, дышу сиренью, слушаю кузнечиков и птиц, и наступает такая стесненность, такая тоска, что отрываешься от земли и летишь. Не в прямом, конечно, смысле, но летишь. Нет, не падаешь, а плывешь в воздухе. Плыть в воздухе — божественно. Вода — груба, и она сопротивляется, как женщина. Они обе хотят, но полагают сопротивление самым лучшим видом разжигания желания у предмета. Может, они и правы, но мне всю жизнь хотелось женщину так, чтоб она не ждала, когда ты ее позовешь, а сама... Это делают проститутки, и поэтому я к ним всю жизнь отношусь очень нежно, и я жалею, что не женился на проститутке; я бы наверняка это сделал, когда б не дурацкая моя брезгливость. А чего брезговать?

Я себя пытался перевоспитать, говорил себе, что вот, мол, газировку на улицах пьют тысячи, а стаканы газировщицы моют кое-как. Разве не верно?

Кладбища в Нью-Йорке мне категорически не нравятся. Этот сплошной камень хорош живым, он им к лицу, а мертвым к

лицу живое. Плюс на минус, однако, мне одна прелестная лесбиянка сказала, что законы электричества совсем не обязательны для любви, а лишь — для воспроизводства. Помню, она была невысокой, кудрявой и лицом неуловимо напоминала лицейского Пушкина, и ее звали «Маленький Пушкин». Я пытался поухаживать за ней, но она была умницей, и мы не поссорились.

Я мог пробыть на кладбище хоть сутки. Я и есть не хотел, когда сидел возле могилки какой-нибудь Марии Ивановны Ступиной, родившейся и прочая в сентябре — это с ятями написано, — 26 и года 1887, а умершей 15 апреля 1937 года... На могилке крест. На другой — дощечка, и витает над всем терпение. То ли это — Православие, то ли мертвый миг до чего-то, но российское кладбищенское терпение — особенное, и если кто-то скажет, что все кладбища терпеливы, будет глубоко неправ: нью-йоркские кладбища в кандалах камней и оград. Их могилы *не терпят, а держат*. Вот у меня какое ощущение, глядя на них.

У меня к кладбищам не было ни благоговения, ни почтения особого, а была любовь. Они мне снились, и всегда хорошо, и привидения снились добрые — скользит белое между холмиков, сливается с кустами белой сирени, подскользит ко мне, сядет на краешек скамьи и что-то шепчет, не глядя на меня, а прямо перед собой, и никакого страха ни у меня, ни у него, и вокруг шелест ласковый, и успокоение, и разум делается охватчивей и просветленней. Я чувствовал: встань из гроба покойник, не испугаюсь, а пожалею или позавидую...

Любить Россию надо учиться на кладбищах, а не на стройках и даже не на пейзажах. Россия вся — сплошь терпение, а бунты — блажь или загул. Недаром нынче в СССР — марксизм, хотя его и нету, но на его базе весь этот мировой разбой как-то еще держится, а земля уже блажит — хлебушка не выдает и ничего вообще не выдает и не будет выдавать, покуда шпана разбойная Россию подмяла, а диссиденты то ли врут, а скорей не понимают, что на чуму чумы мало и вообще — бесполезно, а должна встать дыбом земля, и она встает. И все будет хорошо. И эти слова вроде бы издевкой слышны на кладбище, а я их и в детстве повторял: сижу, гляжу несут гроб, за ним люди. Похоронят, поплачут, пошагают по домам, а я, когда разойдутся все, твержу: «Все будет хорошо». Кому? Не знал, не знаю, но знаю — будет...

Когда я ездил к друзьям в Джаксон в штате Мичиган, там я увидел тихое маленькое кладбище почти без камня и все в зелени, птички, кузнечики, шелест, хоть и безветрие. Я вошел, побродил среди могил, пытаясь вызвать в себе давнишние чувства, открыть раковину души, вытянуть жемчужину, но ничего не вы-

тянул и подумал, что я несчастен не тем, что потерял, а тем, чего не нашел.

Зерно по всему свету одно, а хлеб — разный...

В России на маленьких кладбищах возле оград или просто по краям полынь дурманна. Так и хочется сказать — полынна дурмань, и хочется страстно в эту дурмань. Такой кайф в дурмани этой, никакой, даже превращенный в морфий или омнопон мак не идет в сравнение: встанешь у края и хорошо тебе делается, голова светлая и чистая, но в кружении, и слабость отдохновенная пронизает тебя, накатывая, и ощущение предвзлетное — сейчас поставишь руки на ширину плеч и полетишь, но, понимая, что улететь от этого дурмана нету сил, приляжешь на непримятую траву и даже рука, нечаянно попавшая в крапиву, не чешется, не тревожит, потому что сам ты не в себе, а где-то рядом.

... И вообще столько чудес происходит на русских кладбищах — не рассказать, но я буду пытаться в этой книге, ибо в ней я прощаюсь с Россией: мы отплываем друг от друга дальше и дальше. И вот я думаю — все, и тут вдруг рывок, натягивается главный нерв и становится ясно: ты держишь ее, она — тебя, и мы на мертвых якорях, и ветра поют: «Ты хочешь вернуться?», а другие ветра отвечают за меня: «Вернуться? Да я никуда сроду не уезжал..!»...

Я пишу и дышу хотя бы. Я забегаю на минутку, как в класс на переменке, в свое прошлое, и хочу там остаться, и писать на доске глупые, хулиганские слова, проливать чернила из «непроливашек», хватать девчонок за косы, курить в уборной...

Кто-то из моих местных знакомых прочтет и скажет: «Старик, так это ты хочешь не в Россию, а в детство!». Я помолчу, погляжу на угадчика и скажу: «Конечно. Ведь это — одно и то же...»...

* * *

Со сценаристами Ю. Дунским и В. Фридом, отсидевшими свое, выпущенными и снова взявшимися за перья, я познакомился в 1967 году в кабинете директора Бюро Кинопропаганды Ольги Ивановны Зиминой, под руководством которой когда-то начинал свою жизнь гастрольного администратора. Она курила, пила, во многом подражая деловым мужчинам, но была, слава Богу, женщиной. Пожалуй, ее единственной слабостью, как директора, и было то, что она — незамужняя женщина.

Ольга Ивановна вроде бы случайно познакомила меня с Дунским и Фридом, но выяснилось, что — не случайно. Они взяли у нее мой телефон и через несколько дней раздался звонок.



В. Высоцкий в кинофильме «Служили два товарища»

В. Шукшин. За работой

Звонил Фрид. В разговоре, начатом издалека, выяснилось, что перед ними стоит задача. Они написали одного из героев своего сценария, капитана Бруснецова, с Володи Высоцкого, и другого артиста на эту роль не мыслят, а Володя, во-первых, пьет, во-вторых, «закрыт» Комитетом и вообще — что делать? Честно говоря, я немного опешил от такого вопроса, ибо не имел к кино никакого отношения, только — к Володе, но чем черт не шутит. И я попросил у Фрида сценарий. Не стану рассказывать подробно, но через Марка Фрадкина удалось потеснить с его неумолимых позиций начальника главкино Ю.П. Егорова, Володя загорелся «капитаном», очередной захлест сошел на нет, и роль состоялась. До 1973 года это была его самая любимая роль в кино. Думаю, что и после не было у него, и не могло быть роли, лучше выражавшей его «я». Капитан стреляется в конце фильма, глядя на уходящий навсегда берег Родины, а плывущий вслед за ним его конь — потрясающий символ прошлого, которое можно отсечь только выстрелом в голову.

Здесь, в эмиграции, я написал песню, посвященную белому капитану Бруснецову-Высоцкому... из фильма «Служили два товарища»...

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Дорогая русская рулетка,
Закрутись, безумствуя, волчком,
Прогреми по азиатской клетке,
Причитая, окая, молчком.
Тем молчком, когда мы повторяем
И уже устали повторять:
Как легко в России мы теряем,
Потому что нечего терять.

Сиреневая веточка,
Могильный бугорок,
А русская рулеточка —
Урок, курок и рок.
Кому-то небо в клеточку,
Кому-то свет во мгле,
Эх, русская рулеточка —
Один патрон в стволе.

Были вальсы, были плечи в пудре,
Были ночи шалые белы,
Были пальцы ласковы, как кудри,
А потом безудержно смелы.
Было шансов больше или меньше,
Был туман, обман или дурман,

Только все же чаще из-за женщин
Шанс ловил с прищелком барабан.

Я на кон грош, а он, звеня,
Летит ребром в судьбу,
И тут она бедой меня
Мазнет по белу лбу,
Судьба — не сигареточка,
Жизнь — не парад-алле,
А русская рулеточка —
Один патрон в стволе.

Ниночка небесно синеглаза:
Глянет и душа — к чертям с петель!
Но, поручик, лучше ее — в вазу,
Чем в свою походную постель.
А у Нины ноги вдрожь босые,
Косы — в рожь, а тело — в спелый цвет,
И ее от пули, как Россию,
Не спасет гвардейский амулет.

Обманутая Ниночка,
Поручик-ловелас,
А русская судьбинушка
Нелепо завилась.
Не плачьте, Нина-деточка,
Пускай рискнет валет!
Эх, русская рулеточка, —
Один патрон в стволе.

Дорогая русская рулетка,
Твой наган, наверно, заржавел.
На виске у родины отметка
Бесшабашных и кровавых дел.
И, живя беспутно, повторяем,
И уже устали повторять:
Как легко Россию мы теряем,
Но вовек не сможем потерять.

Сегодня пики — козыри,
И я иду ко дну,
А там на желтой осыпи
Монетку крутану.
Лежит моя монеточка
На царском на орле,
Эх, русская рулеточка, —
Один патрон в стволе.

* * *

Эта книга о Высоцком и о других. Можно ли включить в обобщение «другие» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича? По-моему, да, ибо задача книги — Высоцкий, но сверхзадача — Россия, а что за современная Россия без Шостаковича? Впрочем, без любого из нас тоже нет этой березовой карусели. Мы ее тянем, мы на ней едем, и Дмитрий Дмитриевич тянул ее и ехал на ней.

Однажды, по-моему, в тысяча девятьсот сорок восьмом году, когда очередным постановлением ЦК КПСС изничтожались произведения Шостаковича, Рахманинова и Мясковского , Сталин начал плести новую сеть, дабы уловить в нее американских империалистов. А тут вышла помеха для многочисленных хитроумных планов вождя.

Американские композиторы прислали приглашение Дмитрий Дмитриевичу Шостаковичу, только что изруганному в постановлении ЦК. Тихон Хренников, получив приглашение, схватился за голову. Что делать?! (Тоже российский вопрос со сдвоенным знаком, хотя и Ленин, и Чернышевский, и все российские домашние хозяйки, восклицая «Что делать?!», ставя вопросительный знак, думают восклицательно).

Тихон согласовывает вопрос в верхах, вентилирует его на Лубянке — и медово звонит Шостаковичу: мол, надо ехать в США, приглашают вас, но запрограммированный на послушание Шостакович выходит из повиновения и как тесаком: «Не поеду!». Тихон, закусив губу, удивленно: «Почему это, Дмитрий Дмитриевич?». «А потому, что не знаю, как объяснить американцам отчего они исполняют у себя в США всю мою музыку, а здесь основную часть этой музыки исполнять запрещено».

То же самое Шостакович ответил и министру культуры, однако, в ту же ночь — звонок: «С вами будет говорить товарищ Сталин», — и сразу же, отмерив громкость, глуховатость, впечатляемость голоса, заговорил Сталин: «Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич, говорит Сталин. Дмитрий Дмитриевич, я слышал, что вы отказываетесь ехать в Америку. Это — правда? А если — правда, почему?». Шостакович отвечает, что да, правда, и объясняет то же, что и Хренникову: мол, там исполняют его музыку, а здесь запрещают.

Пауза.

«А кто запрещает, Дмитрий Дмитриевич?».

«Репертком, Иосиф Виссарионович».

«Репертком? А кто такой репертком? Кто такой репертком, непосредственно?».

Вопрос оказался трудным, но в общих чертах Шостаковичу



Володя. 1948 год. Германия



Братья Семен и Алексей Высоцкие с женами и детьми (Володя стоит возле второй жены отца)

Володя на даче
(1947 — 1948 гг. (?))



Володя в школе (5-й или 6-й класс)



Володя, его отец и вторая жена отца, Женя, очень умная женщина, имевшая на Володю большое влияние.



Володя

Три года



Володя с мамой, Ниной Максимовной



Дмитрий Шостакович

удалось объяснить Сталину «кто такое репертком непосредственно».

Пауза.

«Дмитрий Дмитриевич, ехать надо. Поездка в интересах родины. А я обещаю вам разобраться с реперткомом и попытаюсь все уладить...».

Шостакович обещал, и обе стороны, что случается в истории весьма редко, выполнили свои обещания. Шостакович поехал в США, Сталин уладил дело так, что «реабилитировали» не только Шостаковича, но и эмигрантов Рахманинова и Мясковского, а значит, Сталин сделал больше, чем обещал. Впрочем, он это делал всю свою жизнь.

Когда читаешь биографии великих творцов закрадывается мысль: «А может, они, чтобы создавать свои гениальные произведения, должны были страдать?»

Возможно. И даже наверняка, потому что и простые смертные тоже должны страдать. Другое дело — мера. В борщ кладут перец, но в перец не льют борща. Хотя у нас дома в этом веке одни мажут икру на подметки, другие стоят в очереди за разбавленным молоком, и все спасаются березовым соком, а в 1945 году сразу после конца войны жил да был в Советской Армии чудеснейший алкоголик и несостоявшийся писатель, поставлявший своему генералу, военному коменданту Вены, баб и игравший этим бабам на аккордеоне, некто Вадик Спицын. Жил он в Вене привольно, раз нашкодил, вышел скандал, вызвал его генерал и говорит: «Все, Вадик, баста! Отсылаю тебя в Россию!». На что бравый капитан, щелкнув каблуками, отчеканил: «СССР, товарищ генерал, — не ссылка, а — Родина!». И его оставили, а попал Вадик на страницу этой книги по стечению обстоятельств, которые сложились таким образом: осенью венская общественность пригласила советских деятелей искусств в гости. Деятели прибыли и среди них оказался Шостакович, имя которого уже знали на Западе, но это был его первый выезд за рубеж. По приезде группу собрал чекист и разбил деятелей искусств на тройки, поручив каждому в тройке следить за двумя другими.

И вот наступил вечер концерта Шостаковича. Был невиданный триумф. Журналисты, бомонд в бриллиантах и в военном нафталине, вопросы, ответы, а остальные наши деятели уже сидели в автобусе вместе со сторожами. Наконец, главный чекист разозлился, подошел к Шостаковичу и начал его поторапливать. Шостакович отвечает, грызя ногти, что не может идти. Чекист аж с лица сошел. То есть как это?! Почему?! «Да потому, — говорит Дмитрий Дмитриевич, — что я забыл за кем я должен следить!»...

...Есть в Сибири такой занюханный город с промышленностью — Курган. Я там бывал, и меня познакомили с хирургом. Тогда его совсем давили, не давали работать, сейчас он в зените, слава Богу. Фамилия доктора — Елизаров, а имя — Гавриил.

Он еще в те годы, когда начинал и когда нас познакомили, мог задницу с челюстью срастить, такой был волшебник. Сейчас он, вероятно, в Москве, хотя вот Валентин Распутин в Иркутске так и живет, говорят, но я не верю: раз избивают его — живет в Москве, а какой писатель! Какой писатель! Да нету нынче по обе стороны никого рядом, а я с ним мог и потолковать лет пятнадцать назад. Приехали мы в Иркутск с Яном Френкелем и Мишей Таничем, и Распутин заходил в гостиницу к Мише, а я, мудак, ушел. Сроду не жалел пропущенных людей, а Распутина пропущенного простить себе не могу. Вот айсберг! Вот российский тихий омут с чертями!

Этот доктор Елизаров знаменитого прыугна Валерия Брумеля так срастил, после катастрофы, что тот снова запрыгал, и это было самое настоящее чудо, и тогда доктора стали душить полегче, и стали давать ему немного дыхания, а когда приехал к нему Дмитрий Дмитриевич чего-то делать с руками, у доктора была пусть и вшивая, но больничка. Забрали у Дмитрия Дмитриевича, согласно больничным строгим правилам, все его распрозаграничные пижамы-халаты, а дали ему дерюжные шлепанцы и рваный халат. Еда — жуткая.

И только по субботам выдавалось некое подобие костюма, и разрешалось выходить за черту больничной куцой территории и покупать себе хоть что-то в ларьке, где ничего, кроме водки, ржавых консервов и хлеба не было. В первую же субботу Дмитрий Дмитриевич пошел в ларек и у входа был, буквально, схвачен двумя подозрительного вида людьми. Они сказали ему: «Будешь третьим!». Взяли у него из руки червонец, пошли к прилавку, купили поллитровую бутылку водки, честно отдали сдачу и разлили водку по трем стаканам...

А.А. Холодилин, который рассказал мне эту историю, так и не смог добиться от Шостаковича точного ответа, что было дальше.

Правда, доктор Елизаров спас Шостаковичу руки...

Эти истории похожи на анекдоты. Да и сам гениальный Шостакович в советской России неправдоподобен. И все гениальные люди в ней неправдоподобны.

Но это не верно, ибо неправдоподобие — кажущееся, а конец той истории рассказал мне на декаде русского искусства, кажется, в Алма-Ате, сам Дмитрий Дмитриевич. Было так.

Протянули ему стакан с водкой и знакомятся. Один говорит, что он — работяга, другой — инженер. «А ты кто?» — спрашивают. Дмитрий Дмитриевич отвечает: «Я — композитор». Двое поглядели на него, переглянулись, а потом инженер сказал: «Ну, ладно, не хочешь, не говори»...

...Когда в стране нет Бога, народу одних вождей мало. И существует в людях сверхпочтение к писателям, композиторам, художникам, ибо они — созидатели. Перепадает почтение и актерам, но актеры с экранов телевизоров и кинотеатров более земные, а ближе всех был и есть Володя, певший на всенародном языке всенародную беду. И он как все пил горькую, а это сближало еще больше. И говорили в народе: «Ты сидел! Значит — наш!». А то, что Володя на самом деле не сидел — принималось недоверчиво: «А как же «феня»?», — спрашивали, забывая, что вся страна шестьдесят пять лет говорит на воровском жаргоне, даже когда говорит на чистом литературном языке.

* * *

Я думаю: добрых людей на свете — полно. Не счесть и не перечесть на белом свете добрых людей. И на каждом континенте их — тьма, и в каждой стране — сколько хочешь. Нет, не сколько хочешь, конечно, но много, а чтобы сразу вас не испугать общими рассуждениями, начну с того, что возьму быка за рога и воскликну: «А не хотите ли, друзья мои, послушать кое-что про Аркадия Исааковича Райкина,?!». «Почему именно про Райкина? Да потому, что уж кого-кого, а Райкина Аркадия Исааковича мы знаем как облупленного, уж он у нас на виду, уж про него-то мы знаем точно, что он всю свою жизнь боролся со злом, со злоупотреблениями, с ложью, с большим человеком за — маленького, что не боялся он изобличать прямо в глаза тоталитарную систему, за что и получил по заслугам: звание народного артиста СССР, звание лауреата Ленинской премии, две квартиры: одну — в Ленинграде, другую — в Москве. Две прописки: одну — в Москве, другую — в Ленинграде, а двух прописок даже у членов ЦК КПСС — нету. Вот и попробуйте, скажите хоть что-нибудь против власти, которая за подаренную ей водородную бомбу академика А. Сахарова прогнала из Москвы в Горький, а Райкину, ругавшему ее прямо в глаза, да еще и публично, — мало Ленинграда — так еще и Москву получай и валяй дальше в том же духе!..

Чтоб было вам сразу интересно, чтоб завлечь вас, начал я про Райкина, и продолжу с вопроса: «Добрый человек Аркадий Райкин? Или нет?». И сам отвечу: «Аркадий Исаакович — не добр! И — не зол! Он — человек, служащий своему таланту. Человек талантлив и служит своему таланту — это же

так понятно, ну, а если нет, — жаль, ведь это же так просто. Александр Исаевич Солженицын — добр? Или нет? И он, служа таланту своему, неоднократно, по его собственным признаниям и в «Архипелаге» и в «Теленке», душил в себе добрые движения души, служа тем самым не человеку Солженицыну, а делу, которое тот делает, но в результате, но в сущности, но в итоге, — «что в лоб, что по лбу»... но я ведь про Райкина хотел говорить.

Помните программу «Времена года»? Был я ее директором и проводил гастроли этой программы в Москве. Летом. Но не как обычно в «Эрмитаже», а в помещении театра имени Владимира Маяковского. И здесь за два с половиной месяца познакомился я довольно близко с худруком ленинградского театра миниатюр А. Райкиным. И с главным режиссером театра А. Райкиным. И с актером ведущим этого театра А. Райкиным. Нет, музыку и декорации писал не он. И текст он покупал на стороне, а вот репетировал сам. И репетировал страшно: до изнеможения каторжного, до умирания на кушетке в гримуборной, до приступов безудержного гнева — молчаливого, до белизны меловой лица, когда руки напрягаются и мелко трясутся...

А вот после репетиций — откуда что берется: тихий-тихий человечек, голос — стертый, сутулость, и костюм висит на нем, и оглянется вокруг беспомощно — ну, прямо дитя заблудшее. Ему машину предложишь, просто хоть силком его в машину заталкивай. И так — изо дня в день. Правда, когда он был на гастролях в Болгарии, побил лицо в кровь своему директору Григорию Давыдовичу Тихантовскому за какую-то дерьмовую болгарскую валюту, за гроши какие-то, ему не причитавшиеся. Удивительное дело, ибо был Тихантовский легендарно добрым и хорошим человеком. Ленинградцы это могут засвидетельствовать, но, может, переутомился Аркадий Исаакович, да и не удивительно: так работает человек, так работает. И ведь — за троих. А если еще учесть работу, когда сатирик начинает бороться с сатирой! Например: набор актеров в труппу, это ли не труд? Поэтапная каторга, а не работа. Первый этап: человек Райкин рекомендует главрежу Райкину, а тот в свою очередь отзванивает худруку Райкину, и в труппу принимаются жена и родной брат артиста. Опять же худрук и главреж под влиянием ведущего актера не берут талантливых артистов, а берут — бездарных. Это — основной критерий, помимо родственных отношений, но этим и любое демократическое государство и граждан его не удивишь.

И с талантом очень бывает нелегко, ибо не всегда его разглядишь!

Аркадий Райкин



Аркадий Райкин

И случилось такое, что главреж и худрук Райкин дали маху и взяли в свою труппу молоденького мальчика Вадю Деранкова, а тот, подлец, возьми и окажись талантливым. Что же произошло, это же срамотища! После Самого выходит в рядовой интермедии какой-то шпендрик, замухрышка, заморыш, а в зале — хохот до слез, до икоты, до того, страшно сказать, что начинают сравнивать какую-то рядовую кочерыжку с Самим. Что ж такое получается? Еще в оркестре звучит тема: «Это было летом, летом, на асфальте разогретом возле входа в старый парк, я стоял мрачнее тучи, вдруг услышал я певучий, нежный, чистый, серебристый, милый сердцу голосок» — это ж его, райкинская тема, можно сказать, золотая жила сатирика — смех сквозь слезы, — а на нее рушатся обвалы хохота! Чужого!

Помыслить даже, чтоб талантами сравниться — упаси Бог! И речи быть не может! А значит, дело в тексте, текст смешной сопляку подсунул худрук и главреж Райкин. Артист Райкин взбешен: текст отобрать и дать другой, несмешной. И подсовывают несмышленышу загробно несмешной текст; однако, на следующий день выходит щенок на сцену с загробным текстом, и зрители — влежку, животики надрывают и аж стонут. Артист в ошпаренности, в гневе, артист рвет и мечет и приказывает главрежу и худруку гнать щенка взашей из театра. Но не все так просто: у худрука тоже ведь начальство есть, которое, правда, после того как сатира райкинская процежена и отлажена, любит его, худрука Райкина, и готово его баловать и пестовать. И увольняют Вадима Деранкова. В трудовую книжку ему записывают: «уволить по собственному желанию», а на самом деле причину искали недолго, нашли и указали ее Ваде в частной беседе, а причина та... вот вы сроду не догадаетесь, вот, убей вас, не додумаетесь, вот что хочешь с вами делай, не допрете, ну, ну же!!

...Причина оказалась такая, что несмотря на то, что «Деранков» — на «ов», оказался он ...евреем, а их в театре и так полным полна коробочка: худрук Райкин — еврей, главреж Райкин — еврей, артист Райкин — еврей, его жена, его брат — евреи, его дети, хотя в данном театре они не служат, — тоже, дак сколько ж можно?! Ну, артист Райкин — не в счет, ибо он будет народным СССР, героем соцтруда и ленинским лауреатом.

Так что выгнали Вадю «по собственному желанию», но артист Аркадий Исаакович Райкин в этом деле ни при чем, потому что в той стране, а скорее всего, не только в той, талант борется за свое единоличное место под своим персональным солнцем, за свою исключительность, за свою неповторимость, творческую и человеческую, за свои весомость и зримость, и если в этой

борьбе таланта с окружающей средой государство на стороне таланта — он, талант, — друг и слуга государства до гробовой доски, а вот если государство не помогает таланту, они взаимоотталкиваются и разводятся, расходятся, расстаются, и иначе не бывает.

Должен быть сатирик добрым человеком или злым? На этот вопрос нелегко ответить. Добрый сатирик — беззубый сторожевой пес. Злой сатирик — то, что надо! Но сатирик — человек. А что же человек?

Мы сидим с Аркадием Исааковичем в ресторане «Балчуг». Были в Лаврушенском переулке, но не в Третьяковской галерее, а в охране авторских прав: Аркадий Исаакович заскочил к директору. Зачем, не знаю, но после зашли мы по-соседству в «Балчуг» перекусить. Райкина узнают повсеместно, и это — очень трудно. Не только для него, но и для его спутников. Вокруг все глазеют, и наползает на нас со всех сторон шепот: Райкин, смотрите, Райкин.

Популярность актера — тяжелая часть его ремесла. Я думаю: популярным артистам надо платить за вредность.

Обслуживают нас мгновенно. И — как вежливо! Фантастически вежливо, но когда наступает пора расплачиваться, и я достаю деньги, Райкин проверяет счет и говорит мне, не понижая своего негромкого ленивого голоса: «Рубля на чай вполне достаточно!» — Ему жаль моих денег. В этот же день за час до начала концерта он заходит ко мне и просит бесплатно шесть билетов. То, что ему полагалось бесплатно на сегодня, он взял еще вчера. Я говорю, что бесплатных мест больше нет. Он говорит, что надо «загнуть» платные билеты из брони. Это — жульничество, и он это знает. Но ему не жаль денег Мосэстрады. В принципе — мне тоже не жаль. И я «загибаю» шесть билетов. Райкин записывает номера мест, сворачивает бумажку и пишет на ней фамилию: директора гастронома номер один, «Елисеевского», Юры Соколова. Юра — мой приятель, но даже сатирику Райкину нужны деликатесы, которых нет в обычной продаже. На другой бумажке Райкин пишет фамилию «Соловьев». Это тоже мой знакомый из министерства торговли. Сатирик Райкин что-то добывает в министерстве торговли. На третьей бумажке он пишет: «Захаров». Этот деятель мне знаком. Это полковник МВД, заместитель начальника отдела ОБХСС СССР по делам полиграфии и искусства. И этот тоже нужен сатирику Райкину, которого знает вся страна, включая Политбюро в полном составе. Ну, зачем ему ОБХСС?!

И снова о Райкине — человеке. Ведь, наверное, Райкин-человек бегает по учреждениям, чтобы помочь уборщице получить комнату, чтоб осветителю добавили зарплату, чтоб иного-

роднему писателю-сатирику устроить столичную прописку, чтоб... но стоп! Я увлекся, ибо именно Райкин всего этого не делает, хотя другие, скажем, Сергей Михалков, очень даже делают, а Райкин на мелочи не разменивается, он довольствуется тем, что дает нам поглядеть на себя в те полтора-два часа, когда он громит сильных мира сего, которые в ложах заливаются от смеха, аплодируют и дают ему звания...

Аркадий Райкин — скучный, но, видимо, добрый человек, и поэтому у него было сто инфарктов. Ну, не сто, так девяносто девять. Как только на уровне ленинградского обкома «рубят» ему новую смешную шутку — инфаркт, в крайнем случае, — микро. И сразу по всей стране шум и гам. Наверху пугаются народных волнений и шутку разрешают. Наверху рассуждают примерно так: чем нам революцию получить, пусть уж лучше он нас покритикует. И он критикует... аж начальников третьего ранга, а не дворников, как вся остальная советская сатира.

А. Райкин — лицо советской сатиры, лицо в маске, я имею в виду не те маски, которые он напяливает, и не те, которые срывает, а ту единственную, которая — лицо сатиры. А сатира нужна советской власти позарез. Для примера расскажу, что вполне бездарного Юру Благова приняли в Союз советских писателей за одну строфу, которую на каком-то партийном съезде процитировал Хрущев. Строфа имела примерно такое содержание: что, мол, нам нужны Салтыковы-Щедрины и Гоголи, чтобы нас не трогали. Юра Благов срифмовал эту примитивную муру, и она на весах Политбюро потянула как две обязательные книги, которые требуются для приема в члены союза.

* * *

Как и все советские граждане, я впервые познакомился, конечно, заочно с Марком Бернесом, посмотрев фильм «Человек с ружьем», где он сыграл роль «положительного» заводского приблатненного паренька. Себя сыграл Марк, распевая песенку Арманда «Тучи над городом встали». С этого фильма началась всесоюзная слава киноактера и шансонье советской модели Марка Наумовича Бернеса. «Письмо в Москву», «Любимый город», а после — военные, из кинофильма «Два бойца» — «Шаланды» и «Темная ночь» Никиты Богословского. Подпевала Бернесу вся страна. Конкурент «Леди» (Утесова) по безголосости, Бернес, опережал его по обаянию и популярности, да, у «Леди» был «джаз», зато у Бернеса—умная, но больная жена Паола и—«мозги». Любил он говаривать: «Голоса у меня нет, но зато—мозги». Обладая потрясающим актерским обаянием, Бернес, в сущности, всю свою жизнь так на нем и «ехал». У него,

кроме свирепого самолюбия, не было ничего от большого актера: не было любви взахлеб к ролям сыгранным, не было недостижимой, через всю жизнь, мечты о ролях несыгранных, не было в нем ничего значительного, исключая обаяния. Но был он бизнесменом и гордился этим. Обожал «делать дела». Ручаюсь, что не было, нет и не будет в этой стране человека, который сумел бы выманить, выпросить, выторговать, а после втридорога перепродать столько легковых автомашин, сколько их «достал» и «загнал» Бернес. А его многолетние торговые связи с Югославией! Он торговал с этой страной почти как государственное учреждение. Дважды в год выезжал в Белград туристом и притаскивал оттуда по полвагона шмотья, а все югославы, приезжавшие в Москву, знали, куда надо пойти, чтобы получить советских денег вдосталь и не по грабительскому курсу Госбанка СССР. Уголовные статьи о спекуляции к нему отношения не имели. Все ему прощалось, как впоследствии Магомаеву и Сличенко, только надо помнить: Бернесу его коммерческие дела прощались и при Сталине, но не с Югославией, конечно.

Был он шансонье Божьей милостью. Самым большим в СССР. И, пожалуй, неповторимым. Эта штука — неповторимость — и есть именно то, что делает людей искусства великими. А нет неповторимости и — не то. Окончательно и до его смерти подружились мы с ним после двух ссор, а надо сказать, что человек он был, мягко говоря, тяжелый, но все перекрывало обаяние. Первая ссора произошла у нас с ним на почве ансамбля: он, не служа в Мосэстраде, получил от Барзиловича* право на собственный ансамбль, но так как Марк часто снимался в кино, его музыканты месяцами сидели без зарплаты, и вот однажды я взял его ансамбль и отправил на гастроли. А тут возьми и заявись со съемок Марк. Узнал, что ансамбль отправлен мной на гастроли, и поднял скандал. Скандал совпал во времени с заседанием коллегии министерства культуры СССР, и вот Бернес, с которым мы в то время были друзьями «не разлейвода», облил меня грязью на коллегии. Благо, Фурцева знала цену человеку-Бернесу и хорошо относилась ко мне, а не то — быть бы беде. Вторая ссора была тоже некрасивой: Марк уговорил меня организовать ему пополам с покойным Огнивцевым из Большого театра (с тем, что был внешне — копия Федора Ивановича Шаляпина) ряд «левых» концертов по Московской области. Тут надо сказать, что слыл Марк очень мнительным. Каждую минуту норовил посчитать пульс, хотя сердце у него было, как у быка. Мнительным он стал после смерти первой жены, погибшей от рака. (Сам Марк, умирая очень тяжело от рака легких, кричал, корчась в болях, что заразила его жена, и, к стыду

* *Н.П. Барзилович — директор Москонцерта.*

Любя, но и поддевая, его часто называли: «Марк Себенаумович Бернес»



Марк Бернес с детьми

своему, проклинал покойницу, которая сделала все, чтобы Бернес стал Бернесом). И вот на концерте в Электростали, вдруг, сосчитав пульс, когда у зрителей в зале были оторваны корешки билетов — левых, Марк заявил, что выступать не будет. А зритель пришел только на него — Огнивцев был для них всего лишь приложением, не больше. Бернес надел пальто и пошел к выходу. Дело становилось угрожающим, запахло уголовным преследованием для Огнивцева, директора клуба, музыкантов и для меня. Уговоры не помогали, Марк упрямо продвигался к выходу; тогда я встал перед дверью и сказал, что если он немедленно не снимет пальто и не пойдет выступать, я не стану ждать, когда зрители приведут милицию, а сам пойду и расскажу все. Естественно, я не собирался этого делать, но Марк испугался. Остался, выступил, но мы долго не разговаривали.

Через полгода встретились в Новосибирске, помирились и больше уже до его смерти не ссорились, но я не знаю ни одного человека среди его приятелей, с которым бы он раньше или позже не разругался вдрызг. Характер был у него тяжелый — это факт, но сейчас, оглядываясь назад, должен заметить: страна эта была не для него. Вот насколько для евреев Райкина и Утесова эта страна со всей ее советской властью — дом родной, настолько для еврея Бернеса она была чужой. Впрочем, для русского Холодилина Александра Александровича и десятков тысяч русских интеллигентов эта страна, точнее, страна вкупе с властью, еще более чужая, чем для Бернеса. Сейчас, живя в США, думаю: вот страна для Марка Бернеса. Так и вижу его обаятельное лицо в кривой усмешке, так и слышу его: «Ого! Это — товар! Это — да!».

Когда Ян Френкель принес ему последнюю его песню, а именно, «Журавли», Марк послушал ее и сказал: «Это — да! Это — товар!», а после погрустнел и сказал: «Промежуток малый? Место для меня?» и начал считать пульс. Это было при мне. Я вместе с Яном принес Марку эту песню, потому что по дружбе сокращал кучу гамзатовских куплетов до трех и менял джигитов на солдат. В стихах начиналось: «Мне кажется порою, что джигиты...». И кто бы стал в России петь про джигитов?

Если быть точным, сокращали мы Гамзатова вдвоем с Игорем Шафераном, джигитов убрал я, но и оба мы не дождались слова «спасибо» от ленинского лауреата Гамзатова. Я уже не говорю о деньгах. Однако, я все равно рад, что приложил руку к этой потрясающей песне, не советской, а русской, и — общечеловеческой. И надо было Марку так точно кончить свою жизнь, так точно угадать в тот малый промежу-

ток, который в нашей жизни и в нашей смерти уготован для каждого, но только избранным удается предугадать и увидеть его при жизни.

Песню делали пятеро, но страна услышала ее от Марка, и называют эту песню в народе — бернесовской. Вместе с «Темной ночью» и «Шаландами», «Журавли» — эпоха великого шансонье Марка Наумовича Бернеса. Петя Алейников говорил: «Если бы нас с Бернесом не было в советском кино, нас надо было бы выдумать». Неудачная перефразировка, но — правда: нельзя себе представить советское кино тридцатых-пятидесятых годов без этих двух актеров. О Пете Алейникове я еще расскажу, а с Марком попрощаюсь. Не знал я и не ведал, что придется мне с ним не только знакомиться, но и прощаться заочно, прощаться и жалеть, что не Марк — хозяин и певец в каком-нибудь шикарном русском ресторане Нью-Йорка. Марк Бернес и Нью-Йорк прекрасно бы друг друга дополняли, но ничего не поделаешь: и Марка — нет, и Пети Алейникова — нет, а Юрий Андропов — есть. Все — наоборот.

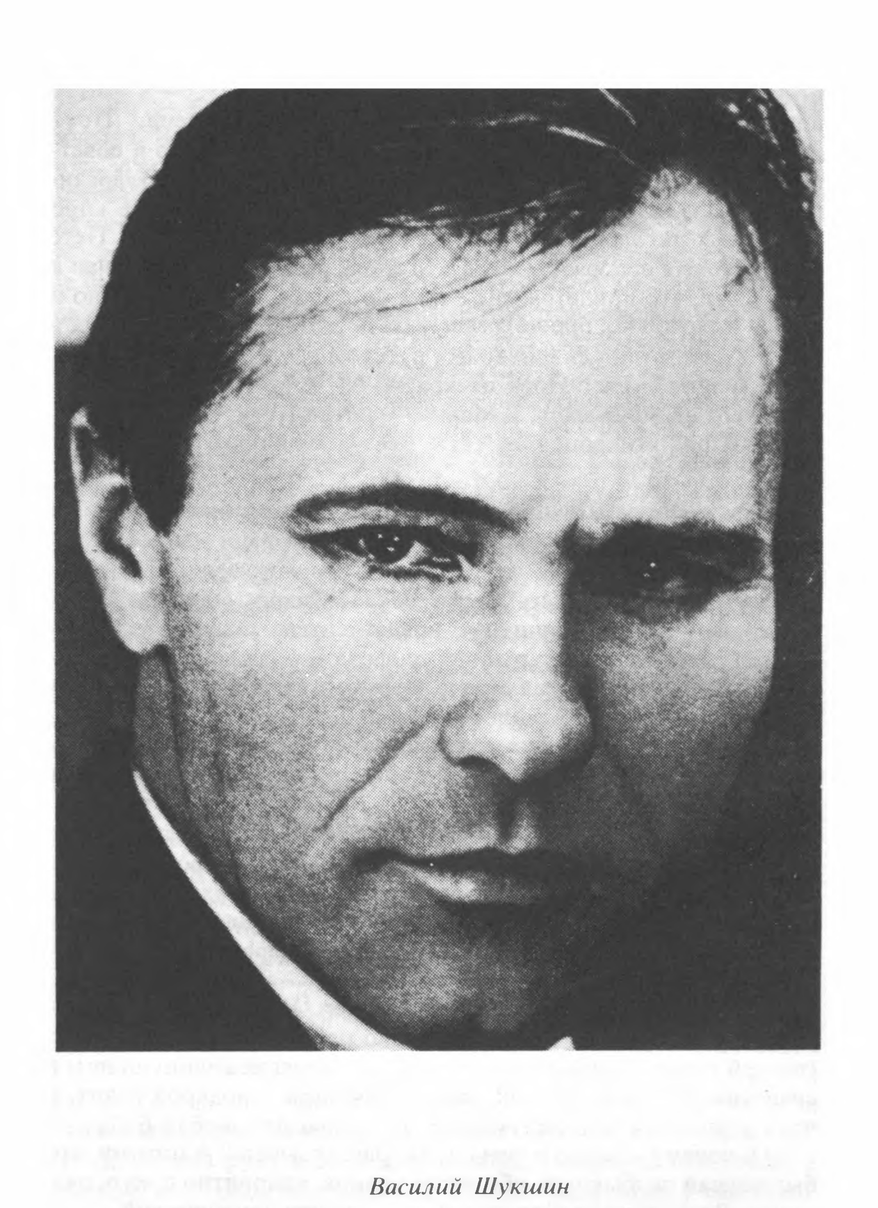
* * *

Мы с Васей Шукшиным в гостях на станции «Отдых». В Подмосковье. Был у него тогда «сухой период», и мы поехали к его приятельнице. У нее дача возле дачи одного известного московского строительного профессора, Михал Палыча Калинушкина, — вот уж типичный представитель советского восхождения в верха путем партийно-профсоюзно-сволочной деятельности, а внешне — славянин с шармом: высокий авантажный блондин, косая сажень в плечах. Мужицкое хобби у него — чаровать пожилых жен своих непосредственных начальников. Так сказать, восходил человек к вершине «по грудям». Он и помог Васиной знакомой отстроить дачу — кирпичи и прочее.

Сперва — электричка, после — пехом километра четыре, а жарища стояла дьявольская. Сосны, пыль, дымы, грохот со стороны путей. Прошли через станцию — мышеловка, но с забегаловкой. Вася косится на меня. Я — не вижу. Прошли, миновали, проскочили, слава Богу. Он идет и оглядывается. По-моему, играет роль и злится, что я не реагирую.

Вася тогда уже два сборника издал. Или — один, а возможно, и — три, не помню. И в кино набрал силы и славы. Но главней всего — обаяние: тут уж с ним никакие калинушкины в сравненье не идут. Мужик, хам, табачищем и водярой разит, а чуть улыбнется или задумается и — навылет любая баба...

Я почему именно о том случае рассказываю? А потому, что был случай необычный, ибо тогда возник, непонятно с чего, разговор. Даже и не любопытный, а — почти пророческий.



Василий Шукшин



Киноактриса Лидия Федосеева, жена В. Шукшина

Пришли мы к знакомой дамочке. Советский бомонд: тралевали, а не хухры-мухры. Стол ломится, а за ним — два жлоба здоровенных, пялятся на Васю. На меня — ноль внимания. Со жлобами две дамочки и еще одна, подруга хозяйки. Вроде как роли расписаны, и напитков разнообразных — тяжелая батарея.
Вижу — Вася отмокает. Уже и слюну глотает. Сейчас — взаправду. Ни на кого не смотрит, а — на стол, на бутылки.

Ну, пили-ели, как обычно. Разговоры — тошнотворные, похожие на творческую встречу. Как вы начали, как вы кончили. Вася уже развеселился, расхамился. Говорит: «Я еще не кончил. Я еще и не начинал. Я еще собираюсь, но с кем? С кем?!» — орет, смеется, и жлобы смеются, а бабы хихикают. Смущаются, значит. А сами только что в штаны ему не лезут. А он поддает и поддает, и вот он уже в стадии, когда он — не ебарь, а алкоголик.

К вечеру его развезло, и даже женщины поняли, что толку от творческой встречи не будет, но мы-то приехали не на день, все еще впереди...

Дали нам комнату на верхотуре. Не то мезонинчик, не то чердачок, но хорошо, прохладно, продувает. Я спать хочу, а Вася как лег, так почти протрезвел и пристал ко мне. Он в таких случаях приставал не просто, а зло. С чего его понесло, но только вдруг заговорил он про Польшу, про то, что евреев из Польши выдворяют. И не выдворяют даже, а уже выдворили, и все было тихо и шито-крыто. Что ему вдруг взбрендили евреи польские? И он сказал монолог. Я за ним не писал, но после сто раз повторил нашим дружкам, среди которых добрая половина — евреи. И запомнил со ста раз, да...

«...Они, бля, — мудаки. Им же ихний Маркс говорил чего-то насчет того, что евреи в каждом деле — дрожжи, но марксисты эти сраные не верят Марксу, потому как он-то сам еврей, верно, слышишь? Я так думаю: евреев надо иметь в любой стране по определенной норме. Скажем так: на сто прочих — одного жида. Ты не обижаешься? Ну, и молодец. Я же любя. Хотя меня и считают антисемитом, хотя я и есть антисемит, но говорю дело. Ты думаешь, что антисемит не может про евреев дело говорить? Может. Ненависть и любовь самые глупые и самые умные, и самые зрячие эти... ну, как, а черт, ну, ладно, слышишь? Ты запомни — польские мудаки евреев погнали не без наших отечественных долбоебов. Это наши долбоебы эксперимент проделывают: как оно повернется без жидов, а повернется хуже некуда, потому валить не на кого будет — раз, и еще ихних баб оплодотворять некому будет... Все нации внутри себя кровосмещаются, а тут жиды — не хотится ль вам пройтиться там, где мельница

вертится? Под подол, в кусты, и готов гибридик, помесь жучки с внучкой, слышишь? Вот ты попомни, наши пиздорванцы с мавзолейчика наделают еще дел. То кукуруза, то евреи, то спутники, мать их за ногу, слышишь?..»...

Я засыпал. В саду стоял гуд: жужжали жуки, трещали кузнечики, звенела темь. Вася бубнил, а я уже не улавливал сути, и на том заснул.

Прожили мы у знакомой три дня, уехали, к тому разговору не возвращались, хотя про евреев так или иначе говорили постоянно. Да и нет на Руси нынче ни одной компании интеллигентской, где бы не говорили про евреев. И это — знаменательно. Теперь и Васи Шукшина нет, и вот-вот что-то будет и у наших долбоебов, а поляки уже получили задачу, да... Вася мне незадолго до моего отъезда сказал, хотя мы с ним к тому времени расплевались: «...Жалко, что мотаешь. Знаешь, как это бывает: не тебя терять жаль, а молодость нашу шебутную. Нити к ней рвутся больно, а может, и тебя жаль... Помнишь, я тебе про жидов польских толковал. По пьяни. Да ты не думай, я все помню, хотя и по пьяни. Лучше помню, чем трезвый. Оттого и пью? Вполне возможно. Так вот, наши долбоебы достучались, дятлы: водка дорожает, евреи уезжают — быть беде...».

Мы после этого разговора еще виделись, а уже в Нью-Йорке я узнал, что погиб Вася. А потом смотрел на Бродвее, в занюханном закутке, «Калину красную». И плакал навзрыд. Рвались нити, да так, что хотелось завыть... У меня тогда случился самый острый приступ ностальгии. Хуже, чем когда узнал про Высоцкого, хотя они оба — самоубийцы. Оба. И обоих их толкали в спину. Поторапливали. Мне Вася на каких-то похоронах сказал: «Каждой сволочи хочется сказать речь на свежей могиле хорошего человека!» ...Вот так-то вот, бля...

* * *

Я буду возвращаться. Слава тебе, Господи, хоть на бумаге возможно возвращаться... Мария Владимировна Миронова, одна из самых ярких актрис в стране. Ну, сколько их у нас было и есть? Раз-два и обчелся: Раневская... да нет, не стану перечислять, ни к чему это.

Был я у нее и у Менакера директором коллектива, по-западному, — менеджером. А весь коллектив — Мария Владимировна, Александр Семенович и Федор Александрович Липскеров.

...Как-то едем мы вчетвером на такси «ЗИЛ» в Люберцы. Выездной концерт. Мы втроем — сзади, она — с шофером. Слышим, Мария Владимировна достает водителя: «Ну, купите,



Андрей Миронов

купите, выиграйте! Аааа! Не можете, а вы купите!».

Я поинтересовался, о чем речь. Миронова промолчала. Ответил шофер: «Да вот товарищ Миронова рекомендует мне «Волгу» купить»... Оказывается, мы проезжали мимо огромного щита «Накопил, «Волгу» купил!»...

* * *

Был ли я счастлив в те годы? Приучал ли себя к счастью? Хотел ли научить себя счастью? Видимо, все вместе. И все же, если честно, я был счастлив... молодостью, бурной деятельностью. В моей маленькой области администрирования эстрады я занимался спортом. Мне нравилось обходить законы ради спортивного интереса. И мне повезло в том, что я жил среди жизнелюбивых, ярких и интересных людей...

Была весна тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, и советская власть, не покладая рук, готовила пышное торжество — свое пятидесятилетие...

Деньги отпустили лишь подлатать кафтаны Москвы и Ленинграда, однако, бумагу не жалели, и полетели во все главные города директивы. В Ростовский обком попала бумага, а в ней было предписано одеть как положено и направить в столицу на празднования ансамбль Донских казаков, сохранившийся под директорством еврея Луковского в Ростовской филармонии, где денег — шаром кати, а казаки — без сапог и порток, при одних саблях.

Луковский — в обком к «Первому», а тот ему: «Где хошь денег бери, а чтоб казаки были при штанах хотя бы. Иначе чего я тебя держу?!». И прав «Первый» — на кой хрен ему еврей-директор, если тот сам денег добыть не может?..

Не дал обком денег, и Луковский поехал в станицу Вешенскую шапку ломать, да только затеял он зряшное дело: Михал Александрович Шолохов сам почти два миллиона должен в Литфонд СССР, где не могут сыскать несколько тысяч подремонтировать дачи Пастернака и Чуковского. А Шолохов должен и отдавать не собирается. В самом прямом смысле показывает фигу, когда с ним заводят разговор о долге, а недавно, собравшись творить, Брежнев указал: «С Шолохова долг не взыскивать!».

Луковский прибыл в Вешенскую поутру, а ему сообщают, что Михал Александрович отбыли рыбку удить. А шолоховская рыбалка — сказочное дело. Сам выплывает часиков в пять, а «черти» подсадные — часа в три. «Черти» рассаживаются по бережку в кустах, камышах, ивняке, — прячутся, опуская мерзавчики — стограммовые бутылочки водки — под воду. «Дядька-

Черномор», ведущий ладью шефа, знает все «чертовы места». «Сам» закидывает удочку, и там какое-то устройство срабатывает так, что чекушка сама к крючку цепляется, а мне еще говорили: «черт» подныривает и «накалывает» чекушку, — «Сам» ее вытягивает, хохочет, заглатывает, и так — до полудня...

Короче, денег Шолохов Луковскому не дал, и поехал Артур в Москву, которая, став родиной трудящихся всего мира, не верит не только слезам, но и вообще ничему, кроме валютного чистогана...

В Москве Артур сходил в оба министерства культуры (РСФСР и СССР) и выяснил, что денег у культуры нет и не будет. Даже для казаков.

И поехал Артур с горя в Зеленый театр ЦПКО имени товарища Горького — куда ни плюнь, туда или сюда, повсюду одни писатели, живые и мертвые.

За кулисами театра мы встретились. Я там ждал Муслима Магомаева и его аккомпаниатора Чингиза. Мы собирались поехать в безкабинетный ресторан «Баку» на улице Горького (Опять!!!), а там у Муслима был кабинет в помещении бухгалтерии, которая расходилась к пяти, а мы начинали наши загулы к десяти: кончали их иногда через сутки, и тогда дирекция ресторана «Баку» давала работникам бухгалтерии отгул с сохранением содержания.

Артур увидел меня, рванул и сразу — ныть: — Помоги, Христа ради. Я, рассказывая о Сокольском, вспомню о шутке его с Христом и евреем. И тут — еврей Артур просит Христа ради. Я ему: — Сперва распяли Христа, а теперь?! Он замахал руками: знаю, знаю... Что он знал? Про Сокольского или про Христа? Я-то помог бы, когда б хотел. У меня все эстрадные кассовые гастролеры, хоть на дворе и советская власть, в горсти, но к чему казакам помогать? Они наших родных революционеров нагайками, студентов — нагайками, а я помогай!

Артур наседает, тут кончил петь Муслим, вышел, Артур на Мусю делает стойку... Увидев Муслима, ожил, косит глаз, намекая: «Вот кого бы заарканить!». Это и дураку понятно. Муслим тогда был в стране гастролером номер один. Вне конкуренции был, но за жалкие государственные гроши петь не хотел. И правильно делал. Я это сейчас пишу, и тогда громко при Фурцевой говорил. Не хотел я помогать Артуру и казакам, но вдруг меня осенило: случай соблазнительный и спортивный — натянуть нос ОБХСС и министерству культуры, ибо в России и до сих пор после драки кулаками не машут. Только лишь бы не дать им кончик, чтоб посадили. Я говорю Артуру подождать, тащу Муслима в угол и спрашиваю, сколько он хочет получать за сольный концерт на стадионе. Он, наглец, и секунды не думая, ляпает:

«Шестьсот!». А имел он право получать за сольный концерт рублей пятьдесят, не более того. Я ему говорю, чтоб без меня ехали в «Баку», а я подъеду позже.

Они уехали, а я сел с Артуром на скамеечку и на пальцах объяснил, что он должен делать. Он оживился, прояснился.

В ту же ночь он умчался в Ростов и к утру, когда подъезжал к Ростову, у нас загул был в самом разгаре.

Через день звонит мне счастливый Артур — у «Первого» все прошло, как я и предсказывал «по нотам». Он подписал разрешение платить Муслиму шестьсот за концерт. «Первый» был рад: избежал неминуемых расходов на казаков и получил крупный шанс отличиться и еще вырвать у филармонии от сборов кое-что для других нищих организаций области. Ростовской! Богатейшей когда-то! Кстати, тогда союзный министр официально получал тыщу, а Муслиму за час — шестьсот!

Ну, раз пошла такая пьянка, я по тому же сценарию сделал еще три города: Донецк, Черновцы, Краснодар.

Тут была одна заковыка. Бог одарил Муслима многим: играл Муслим Листа и Скрябина вполне прилично, рисовал талантливо, но был глуп. И это оказалось бедой. Он числился в Бакинских опере и филармонии, носящих имя его деда, солистом. Я мог его использовать с Бакинского разрешения, а попроси я у них разрешения, они потребовали бы от доходов свою часть пирога, а у Муслима с ними — кровная вражда. Я понимал, что должен им сказать, но Муслим, в принципе покладистый, здесь встал на дыбы: «Хуя! Свиньи! Сволочи! Все отменю!». Дураки упрямы.

Но и этого мало: в Монреале должна была начаться выставка. Муслим назначен главным в культурной группе Азербайджанской республики. А репетиции группы совпадают с днями концертов в Донецке, где «Первый» мощный, а нынче и вообще член Политбюро, кажется. Было ясно — Баку узнает о концертах Муслима, но дело закручено, отступлений не было.

Я взял на этот месяц отпуск — юридический маневр: во время отпуска я имел право работать по договорам. И я подписал договоры с четырьмя городами. Каждый город платил мне по сто пятьдесят рублей, как ...режиссеру-организатору. Эдакая ильфо-петровская свинячья курица — режиссер-организатор, но в связи с вечными провалами российских филармоний Александр Александрович Холодилин, близкий друг Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, а за ним и Глеб Александрович Щипалин, муж Эрдели, нынче зав. отделом ЦК КПСС, тогда начальники Главискусств, утвердили только мне одному эту липу. Я мог находиться в городе день, но если я организовывал в нем концерт на стадионе — сто пятьдесят: хорошая и любимая на

Руси цифра сто пятьдесят... с прицепом, без прицепа, с закуской и без... Маячит Русь не Москвой, не Питером, а городами Золотого Кольца в вечерних сумерках: плывут сами по себе речки-речушки, качаются церкви-церквушки, усталые бабы плетутся с работы, из вечных очередей, тоска смертная, и лишь пьяные рушат тяжелое царство, а из унылых серо-черных репродукторов несется песня Арно Бабаджаняна на слова Роберта Рождественского в исполнении Муслима Магомаева: «А эта свадьба пела и играла, и крылья эту свадьбу вдаль несли, широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли» — разухабистая, пружинистая песня в глухомани затхлой...

В той усталой, унылой, убогой земле какая свадьба, которой места мало и на земле и на небе? Впрочем, я не прав. Каждой советской свадьбе места мало. Кроме свадеб среди элиты... А я слышу изо всех песен на русском языке одну: «Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я» — эта песня в яблочко, это — исконный и во веки веков российский шлягер...

Ростов начался с нервотрепки. Уже стадион был набит доотказа, а Магомаев не прилетел из Кишинева. Вчера он пел там для Фурцевой. Молдавия была ее избирательным округом. Больше по расписанию не только из Кишинева, но и вообще в Ростов самолетов не планировалось. Что делать?! Скандал на всю страну. Луковский — бледный, я, наверно, тоже. И вдруг — «ангел» бежит: приземлился одномоторный военный самолет, а в нем—Муслим с Чингизом. Много позже мы с Муслимом при аварийном полете в Тамбов отобьем зады на таком же самолетике, а сейчас гляжу: идет бледный Муслим, а уже петь надо. Лариса Мондрус, певшая с Валерием Ободзинским в том же концерте — мои кадры — мгновенно замазала Муслиму исцарапанное женскими коготочками лицо. Коготочки — народной-распронародной Марии Биешу, получившей в Японии первую премию за роль Чио Чио Сан — вот уж не мадам Баттерфляй. Муслим мне ночью показал спину. Биешу — художница-абстракционистка, чего только не навыцарапала на бедной спине Муси. Африканские страсти, да и только. Почему-то строчки Агнивцева припомнились: «...Потягаться в деле страсти, черт возьми, конечно, можем...».

Муслим просит меня: «Может, можно спеть под фонограмму?». Я аж задохнулся от злости: «За шестьсот рублей открывать рот и не петь!». Спел Муся живьем «на ура».

Концерты по всем городам шли триумфально. Я уехал, а приехала для охраны Муслима Мила, его жена. При ней все всегда было спокойно. Но грянул гром. Узнал Баку, позвонил в ЦК, ЦК — в министерство, а там — Василий Феодосиевич Кухарский. О нем когда-нибудь еще. Он многое и многих в русском

искусстве изничтожил. Он и Шостаковича душил, и Высоцкого, и Галича, да и тысячи он душил, хромой бес.

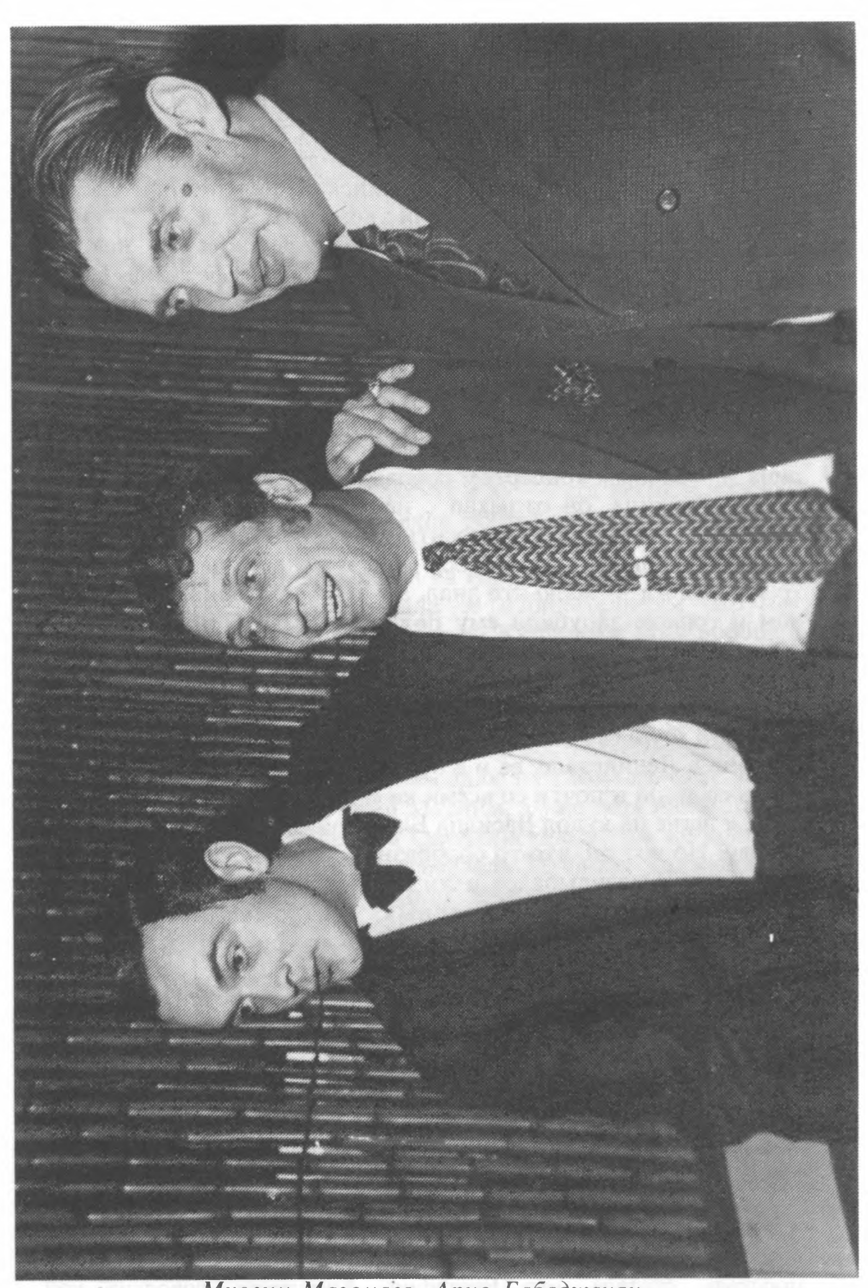
Фурцева отдыхала в то время в санатории «Совмина» в Сочи, куда прилетели и мы с Муслимом после Черновиц.

Тут — стечение обстоятельств. За день до нашего прилета Фурцева поручила директору Сочинской филармонии Семену Инкину организовать шефский концерт. Имя и фамилия у директора — подозрительные, еврейские, а нет, не еврей он, и упорно говорят: военный дружок Брежнева. Не дурак, не умный, хитрый, может выпить, может нет, голыми руками не возьмешь, в сочинском горкоме делает, что хочет. Инкин артистов любит, они его — нет. В результате он меня встретил с распростертыми объятиями. Помогай!

Ну, всех я уговорил: Муслима, угрожая карами за стадион, Мулермана — надеждой на ставку, Шубарина — сольным концертом соблазнил. Но было «но»: Фурцева хотела Райкина, он отдыхал с ней в одном санатории, а она сочла: негоже министру просить. Инкин к Райкину тоже отказался подступаться. Пришлось мне. У меня на него была нехитрая отмычка — мало кто знал, а я знал, что ленинградские обком и горком зарубили ему полпрограммы. Поймал я стоинфарктного Аркадия Исааковича на пляже, где я, неинфарктный тогда, и пяти минут не мог выдержать, а он — ничего. Пришлось париться и объяснять, что нужно всем его выступление. Всем, и ему. Что Фурцева может помочь пробить программу. Он мне: «Да они в Ленинграде, да и в Москве кладут на вашу Фурцеву», — он со мной и почти со всеми на «вы», чтоб на голову не садились, а легче на купол Василия Блаженного усесться, чем ему на голову. Но вот он, что-то сообразив и взвесив, подобрел вдруг, растрогался, разулыбался и согласился, но оговорил: будет делать все шесть «зарубленных» интермедий, а это — час. А там еще Юра Силантьев со своим оркестром. Ужас, но что делать? Ударили по рукам в прямом смысле, а у Аркадия Исааковича на лице мысли шевелятся под загаром. На концерте узнал я, что это были за мысли: он пригласил на концерт жен Патоличева и Суслова.

И впрямь — после того концерта всю программу ему разрешили. И Фурцеву не спросили — она была резко против одной интермедии и что? Прав был Райкин — верхние на всех и на все кладут...

Дня через три одна из близких подружек Фурцевой, Надежда Апполинариевна Казанцева, великолепное, в прошлом, колоратурное сопрано, встретив меня в буфете гостиницы «Приморская», сказала, что Екатерина Алексеевна довольна концертом и благодарит меня. А я-то думал: как довести до сведения



Муслим Магомаев, Арно Бабаджанян и Роберт Рождественский в кафе «Арарат» в Москве на Неглинной улице

министра, что концерт делал не Инкин, а я. Ему-то плевать, а мне после стадионов — позарез надо...

В этой повести советская власть в необычном ракурсе, в ней нет лагерей, нет колхозов, нет промышленности. В ней, если по чести, и не идеология, а бюрократический цирк. Тут и классического искусства, о котором пишут всерьез, нету, ибо его и во всей стране, кроме двух столиц, нет вообще. Уж кто-кто, а я повидал сотни концертов, где в пустых залах играли музыканты мирового класса. От Ростроповича до Рихтера. Народу не до них, и не потому, что народ темный, а, скорее, потому, что ему не до музыки, а до: где бы чего достать, где чего выбросили, где чего дают и — быть бы живу...

Поворот событий произошел ближе к поздней осени, после выставки Монреальской. Не помню до или после торжеств, но помню, что вызвал меня Кухарский. Он — зам. Фурцевой «по музыке». А в музыку входила и вся эстрада вместе с жонглерами. Они работают под аккомпанимент, а это — какая-никакая, музыка. Секретарша меня впускает, вхожу и вижу: у стены напротив стола Кухарского стоят, как ожидающие расстрела, Муслим и Чингиз, а справа на диване сидит начальник союзного главискусства Завен Гевондович Вартанян. Кухарский жестом указует и мне место у стены. Встаю. И тут закрутилось: заместитель министра культуры, хам из хамов, начинает разнос с Чингиза: «Ты, ты! Мы тебя еще с Бейбутова приметили, жулик! Вы с Рашидом жульнические дела устраивали и снова за свое! Но ваше время ушло (имелся в виду расстрелянный хозяин Азербайджана Багиров). Получишь низшую ставку и в Баку. И ни шагу. Отныне ты живешь не в СССР, а в А-зер-бай-джа-не! Все! Жулик!». И — не переводя дыхания, Магомаеву: «А ты? Дядя — полпред республики! Тебе все! А ты! У тебя совесть есть?! Шестьсот рублей за десять песен. Я в месяц семьсот получаю».

Тут разобью рассказ. Уж очень соблазнителен случай. Есть в СССР детский писатель Эдуард Успенский. Автор «Чебурашки» и «Крокодила Гены». Писал он с Феликсом Камовым. И со мной кое-чего написал. Немного. Были мы приятелями. И вот с ним история. Вызвал как-то зам. министра культуры, кажется, Зайцев, к себе на прием провинившихся сатириков. И начал каждого отчитывать. Дошла очередь до Успенского. Замминистра говорит: «Как же это, Эдуард Николаевич, высмеивали вы министра, что много он получает. А разве ж много? Вот я — его зам., получаю четыреста рублей, а...». Эдик, маленький, с хохолком, как у Рикки, вскакивает и перебивает зама: «А паек?!». Мертвая пауза и совещание закончилось. Тут уж кстати: тот же Эдик на-

писал первый сценарий для первой елки в Кремле. Принимала сценарий на читке комиссия, а в комиссии — комендант Кремля генерал Веденин. У Эдика в сценарии были пираты. Когда чтение закончилось, взял слово Веденин и сказал: «Это что ж такое, товарищ автор?! Вы ж пиратов в Кремль ввели! Куда ж это годится?». На что Эдик с хода ему ответил: «А чего вы их боитесь, товарищ генерал, они ж, ненастоящие!». Этот Эдик прислал мне свою книгу «Избранное» года два назад. И подписал её. Я подумал: или — не повзрослел, или — сумасшедший, или — ? Этот автограф среди фото поищите, кому интересно...

Кухарский сообщил Муслиму, что год запрещено ему концертировать, а будет он петь только в опере Бакинской. А Муслиму петь в опере, как мне. Голос через яму не летит. Только сборы...

И ко мне: «А ты — в соответствующие организации. С тобой — особая статья!» — и глядит на меня, вызверился. Все молчали, я молчу, а он мне: «Ну, что молчишь? Слов нет?!». А мне только намек, меня тронь за ключик, я с полоборота завожусь: «Я? Василий Феодосиевич, а в чем, собственно, дело? Я никак не пойму». Говорю и гляжу на него невинно. Он аж дар речи потерял от подобной наглости, а я — и завожусь, и — память об удачном концерте в Сочи за спиной:

— Какой ты ни страшный зверь, Кухарский, но все же вечный зам. А юридически у меня все в ажуре. Вроде, преступник, но нет, погоди...

«Ты что не знаешь, почему здесь?» — спрашивает зловеще. «Знаю, но не понимаю, в чем наша вина?». В ответ рычанье, я продолжаю: «Мы ж все по закону, по договорам...». Тут вскочил крошка Вартанян: «Какие законы! Какие договора! Шестьсот рублей за выступление! Федор Иванович у царя столько не получал! А вы! Банда!». Я подумал, что Шаляпин у царя получал кууууда больше, но не в царе дело. Увы, царя нет, увы, капиталистов нет, а есть, увы, вы, разбойники...

«У меня и бумага законная», — говорю, а они на меня вылупились, как на сумасшедшего. Возникла пауза, и я на какой-то миг испугался, что они санитаров покличут, и отправят меня в психушку. Ведь и вправду похож был я на сумасшедшего: разрешение на каждую копейку и для великих исполнителей давали они, именно эта пара — хромой блядун и хитрый армянин с музыкальным акцентом — был он какой-то музыкант-неудачник, как впрочем, сотни начальников в культуре и в ЦК КПСС. Щепалин Г.А. — начальник художников, неудавшийся скрипач: может, это он и направил бульдозеры на картины, на него похоже — тихий, обтекаемый российский интеллигент, чехов-

ский, но с червем. Они там собрались, «спецы по Чехову». У Леонида Ильича бессменный помощник по культуре Георгий Петрович Бердников. Труд о Чехове писал литературоведческий. Переиздается сей труд ежегодно. Там культуртрегеры в полном порядке. Я вот удивляюсь. М. Ростропович и Г. Вишневская все время жалуются на министерство культуры, а ведь знают стопроцентно — кто есть кто, и Кухарский — прохвост, верно, но под Бердниковым же он, а что-то я не слышал ни от кого про Бердникова. А ведь я под ним работал много лет, когда был он замминистром у русского черноземного человека — министра Алексея Ивановича Попова...

...Бумага и впрямь была у нас от министра культуры Азербайджана, а он для этой пары не выше министерского дворника на улице Куйбышева.

Хромой вышел из-за стола, ковыляет ко мне, а я смотрю на него и думаю: «Нет, бабы его любят, может, и за должность, но ведь и в штанах надо же что-то иметь для стоящих баб, а он почти всех солисток в оперных театрах перетрахал. У них с Холодилиным была негласная договоренность: Александр Александрович покойный обслуживал русских и эстрадных певиц. И — оперетту. А классику — Кухарский».

Подходит он ко мне и на «вы»: «Можете вы мне сию бумагу фантастическую показать?». Я: «Конечно!», — и лезу в карман, достаю подлинник, но копия есть, ибо я эту шпану знаю наизусть. Бумага с печатью гербовой, с личной подписью бакинского министра, и в ней о том, что Магомаеву разрешается получать за сольный концерт двести рэ. Это в то время, когда народная, спавшая с Кухарским, могла получать ну, сто двадцать, не больше. Они оба в ор, в истерику впали, начали грозить азербайджанцу, а после на меня. А я им: «Завен Гевондович, я знаю, что двести многовато, но бумага же законная для Муслима. Он же у того министра служит...». «Многовато!» — завопил Кухарский, но я продолжил: «Муслим по этой бумаге зимой сто концертов сделал на Дальнем Востоке и деньги все пропил и проеб!». Пауза воцарилась мертвая, а надо сказать, что когда Кухарский орал, он сыпал на нас матом, а, получив бумеранг, онемел, но сообразил и по деловому ко мне: «Двести не шестьсот!», а я: «Верно, но по вашему же приказу, Василий Феодосиевич и Завен Гевдонович, вышло у нас шестьсот...». Они дара речи уже напрочь лишились... «То есть?». А я продолжаю нежно-нежно: «Был ваш приказ, что артисту, выступающему на стадионе номером, платить три ставки, вот я взял и умножил двести на три. Получилось шестьсот...».

Нас выгнали из кабинета. Муся был белый, Чингиз крупно

дрожал, а я только в коридоре ощутил слабость в коленках. Как с переэтого.

Через неделю позвонила мне Люда Зыкина и сказала, как доложила: «Паша, у нас вчера был девишник. Екатерина Алексеевна сказала, чтоб спал спокойно. Целую» — и повесила трубку. Дело было не в Фурцевой, хотя и в ней, но есть и в беззаконном государстве некое подобие закона: был я прав, раз не виноват был, раз обошел закон, не задев ни буковки, не качнув его, не оцарапав себя. Они и сами все ловчат, а законы у них все кретинские: с помощью «законов» все уже угробили: колхозы, промышленность, и искусство, но все ж пробивается то здесь, то там хоть что-то, но и это объяснимо: семидесяти лет маловато, чтобы уже совсем заглушить, затушить, задушить русский народ до конца.

Муслим девять месяцев не концертировал, но грянул пятидесятилетний юбилей ГПУ, ВЧК, НКВД, КГБ и позвонил Муслиму зам. КГБ по опасности, пригласил, сказал, что концерт будет транслироваться по телевидению. Муслим ответил, что он всей душой, но Кухарский запрещает, а зам. сказал: «Товарищ Магомаев, мы можем этого Кухарского сами послать к ебеней матери, но может, вам доставит удовольствие самому это сделать, так мы санкционируем...». Это — гэбэшный юмор. Муслим выступил. Был огромный успех, и Кухарский ему даже и не напомнил об этой истории вплоть до красноярской эпопеи. И вышло: крупно погорел лишь Чингиз, завязнув в родных горах, где рояль нужен горцу, как корове седло...

А я нынче из моей эмиграции гляжу в те годы и смешно мне, и грустно: страсти-то были грошевые, впрочем, и жизнь каждого стоила там грош. Вот теперь, здесь бы, карты в руки, но...

Сейчас бы банк сорвать, да козыри там поистраченыпорастрачены, черт побери... Годы, здоровье, фарт, хотя коли могу живым по живому писать — игра на кону, а память — круг заколдованный: написал я это после звонка жены Мусиной Милки Фиготиной, дочки моего старого товарища, композитора Бори Фиготина. Он, мудак — там, я, мудак — здесь. Милка работает на радио «Свобода», а там работала на радио «Несвобода», но в жизни все так: есть одно, нет другого, счастье — шар, ни одна половина в отдельности ничего не стоит... Хотя... Имея здешнюю половину, имеешь шанс, — а значит, — надежду...

* * *

Разговаривая с Милой Фиготиной, мы вспомнили Роберта Рождественского и Арно Бабаджаняна. О Роберте потом, об Арно сейчас.

Арно Бабаджанян намертво связан с музыкальной мафией, стерегущей кормушку-корыто гонораров за песни, а это — самое калорийное корыто в стране, кроме, может, корыта самолетостроителей и ракетчиков, но у этих — секретность, а у песенников — слава.

Арно, как любят определять разделение в музыке партийные чиновники, музыкант серьезный. То есть он способен написать нечто умное. Горные тропинки мыслительного аппарата жены Бабаджаняна, Терезы, направили Арно к песне, то есть к богатству. План Терезы был прост. Она знает русскую пословицу: «Что корове можно, то ослове—тпру». Знает она также, что психология советских вождей развивается по двум линиям: немного от Библии, немного от русского народа. Отсюда супруги и вывели, что Арно может писать в ритмах, недозволенных другим композиторам-песенникам. Арно написал в СССР первый шейк и сгреб кучу денег. Первым написал твист, да еще и о Москве. На слова Лени Дербенева. А потом написал действительно прекрасную песню «Не спеши», с действительно великолепным поэтом Женей Евтушенко, что бы о Жене ни болтали там, и здесь, в эмиграции. Потом с Женей же написали они песню с пружиной, с разгоном, с заводом, а именно — настоящую цыганскую, и юный Муслим Магомаев раскрутил эту песню на всю страну за один выход в эфир. Там среди кучи нот и слов был потрясающий образ в тексте. Редкий для песни, ибо зрительный: осенью в парке лежат перевернутые лодки, как пилотки задремавших солдат. Образ — выстрел.

Арно разрешают в жанре песни все еще и потому, что он уже двадцать пять лет числится почти смертельно больным. Это — выдумка Терезы. Армянский юмор. Райкин — инфарктник, Арно — чуть ли не лейкемист. Выглядит он, как огурчик. Тьфу, гнусное выражение: огурчик зеленый, прыщавый, то ли дело помидорчик...

Я заговорил про Арно еще и потому, что последняя моя история в России была связана с ним.

В 1971 году я надумал написать либретто для оперетты. Взял за основу три сказки из «Тысячи одной ночи» и пригласил в соавторы Игоря Шаферана и Леню Дербенева. Потом мы с Дербеневым отправились к Арно. Тереза, гостеприимная, как мало кто из жен богатых людей в СССР, накрыла стол. И мы принялись под «диэту Арно» уговаривать его писать музыку к ненаписанному либретто. Заявку мы с Леней набросали тут же на бумажной салфетке. Чушь какую-то. Арно — человек слова. Почти всегда. Мы из него согласие буквально вырвали, и наше счастье, что Тереза заняла нейтральную позицию, скептически

поглядывая на наши рукопожатия и похлопывания друг друга по спине, как закрепление сделки. Тереза со своим скептицизмом оказалась права, хотя оперетта не состоялась не из-за лени Арно, а в связи с моей эмиграцией. После того, как сговорились мы с Арно, министерство культуры выдало нам авансы: Арно — тыщ пять, нам — по семьсот пятьдесят рэ. Только стало известно, что я подал документы в ОВИР, мне позвонили из министерства и пригласили зайти. А там предложили вернуть аванс, что я и сделал немедленно, рассказав об этом Игорю и Лене. Игорь — еврей стал бледным и назавтра бегом отнес деньги. Леня сказал: «Придется им у меня аванс отнимать силком». Когда я рассказал о деньгах Арно, он минут пять хохотал, а потом сказал: «Ты — еврей — это очень хорошо. Я — армянин — это тоже очень хорошо. Ты уезжаешь — это твое дело. Я остаюсь — это мое дело. А деньги? Деньги — русские, а так как ты уезжаешь из-за русских, а я остаюсь из-за русских, — все верно: у тебя надо деньги отобрать, а мне надо их оставить. Если они не будут платить армянам за то, что мы остаемся, мы тоже уедем!..». Я возразил по дурости, что уезжаю не из-за русских — сам русский больше, чем еврей, а из-за советской власти. Арно поглядел на меня с жалостью, как на идиота, и сказал грустно: «А я про что?»...

При нашем разговоре присутствовала музыковед Нина Абрамовна Лебедева, работавшая главным музыкальным редактором в министерстве культуры сто лет. Порядочная женщина, она была болтлива, и через два-три дня о нашей беседе стало известно сразу двум министерствам. Об одном — вы догадываетесь. Второму — естественно, министерству культуры в полном составе.

Незадолго до отъезда я встретил Арно в управлении по охране авторских прав. Он туда ходил редко. Я начал с ним прощаться вполголоса, а вокруг в подвальном коридорчике народу полно—выплатной день был. В ответ на мой полушопот разорвалось: «Прощай! Прощай» — орал он, — и пояснил: «Чтоб никто не мог сказать, будто еврей снова подговаривал армянина уезжать, а армянин слушал еврея», — и закатился в приступе смеха, потом вытер слезы, полез в карман и вытащил пачку сотенных — тысяч десять, потряс пачкой в воздухе и сказал на публику: «За мои херовые песни эта прекрасная страна платит мне баснословные деньги. С такими деньгами за такие песни никто не уезжает: ни армяне, ни русские, ни евреи, а лишь дураки», — и он ткнул меня в грудь длинным пальцем...

Никто не смеялся. В коридоре в основном были люди, кто получал сто рублей в месяц, а с такой зарплатой в СССР

смеяться на подобные шутки не рекомендуется. И — не хочется, а уехать — кишка тонка...

Я рассказал эту историю еще и потому, что в ней новая грань: люди популярные, знаменитые, из мира искусств, если они по главной линии — партия, ЦК, Политбюро, Брежнев — лояльны, то им разрешается иногда вольное словечко. Я думаю — это не случайность. Поэтому Андрей Дмитриевич Сахаров им страшен, но и полезен. Либералы на Западе, качая головами, глубокомысленно заявляют: «Да, сослали в Горький, но не в Сибирь же, как раньше. И не в тюрьму, а в отличную квартиру. И это — факт биографии советской власти. Там налицо признаки демократии!»

Ох, батюшки, туда бы этих либералов без американского гражданства... Хотя... Скоро можно будет и с американским...

Вот я пишу об артистах — мужчинах и женщинах, а сын принес из школы журнал: на обложке портрет Брук Шилдс... !!!

Говорят о преимуществе капитализма над социализмом. Говорят — наоборот, но я за полвека советской власти ничего подобного не видел. ...Когда секс исподтишка, ворованный, как тонкая техника, когда «секс» — ругательное слово, когда русские в кино целуются, как якуты, нюхаются, обнюхиваются, вынюхиваются, — Брук Шилдс не было, нет и не будет... А жаль. Так жаль, что и слов нет. Пусть не мне, но ведь кому-то могло бы и при социализме эдакое достаться.

Могло бы достаться, да родиться бы не смогло, а родись чудом — не выросло бы...

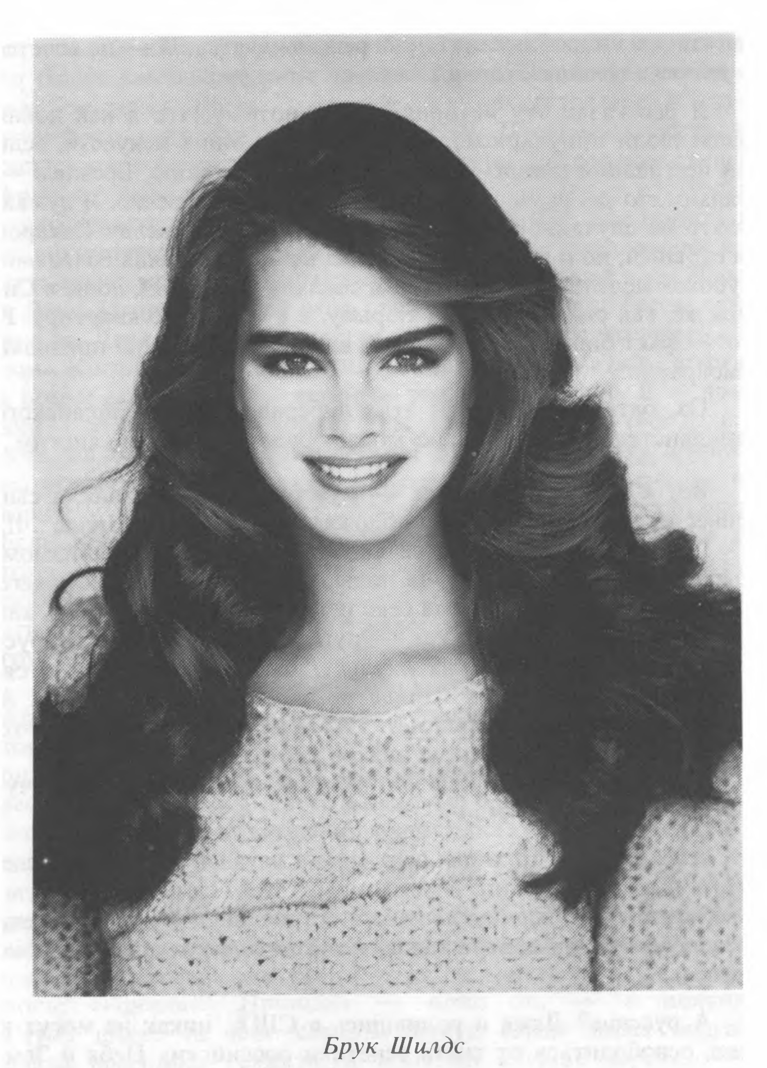
А евреи? Да это ж для социализма научная фантастика, сделать и вырастить такого еврея, как мэр Коч. Нет, не такого умного, не такого обаяшку, не такого острослова, — такие и среди нас случаются, наверно, а такого *естественно раскованного, свободного...*

А русские? Даже и родившись в США, никак не могут и здесь освободиться от гнета генетики российских Неба и Земли...

* * *

Умер Кирилл Кондрашин. И похоронен на кладбище под Амстердамом. Похороны прошли торжественно, и автомобильное движение было перекрыто на полтора часа.

Когда я прочел сообщение о смерти, сразу достал его письмо ко мне, отправленное из Израиля, где он был около двух



Брук Шилдс



Мэр Нью-Йорка
мистер Коч

лет назад на гастролях. В письме — ничего особо интересного. Я бы сказал точней: ничего интересного, кроме одной фразы: «Имеешь ли ты какие-либо контакты с нашим Каретным?». Меня вопрос удивил. Уж не ему ли легче налаживать контакты? Так, примерно, и ответил, напомнив, что у него на Каретном — сыновья, у меня — дочь, у обоих — бывшие жены, значит, контакты официальные — всего лишь письма.

Не так давно он был в Нью-Йорке, но мне не позвонил. Не позвонил и еще некоторым нашим общим знакомым. Почему? Не знаю. Кирилл был человеком неожиданных, порою странных решений. Для меня большой человек Кондрашин начинался за дирижерским пультом, однако, это мое личное мнение, с которым многие могут не согласиться. И все же: я знаком с Кириллом Петровичем Кондрашиным тридцать три года. Мы не были друзьями, а были, пожалуй, приятелями. Было нечто, чего не перечеркнешь: тридцать три года то регулярных, то с разрывом встреч и разговоров. Он страстно любил музыку и женщин. Я думаю, что эти две великие любви и спасли его, и сделали его большим музыкантом, и привели его к эмиграции, а точней — к бегу.

Кондрашин был крупным, интересным мужчиной. Его любили женщины. Я не знаю точно начала его карьеры музыканта, но стал он дирижером Большого театра совсем молодым, сразу после ухода из театра директора, профессора Орвида и прихода — Леонова. Мать его долгие годы была скрипачкой Большого театра. Воспитал его и сделал из него музыканта дирижер Хайкин, но Кирилл об этом говорить не любил. (Людей высокой одаренности очень трудно судить по обычным стандартам. Конечно, можно «пришить» Кириллу неблагодарность, ибо когда Хайкина перевели из Ленинграда в Большой театр, начав передавать ему оперный репертуар, тем самым забирая оперы у воспитанника — тот взбунтовался, но об этом чуть ниже).

Здесь надо сказать честно и сразу: Кирилл Кондрашин был слабым оперным дирижером. И это его спасло. Будь он средним, не было бы блестящего интерпретатора Чайковского, да разве только Чайковского? Будь он средним оперным дирижером, не было бы в истории музыки нашего века имени «Кондрашин». А теперь есть прекрасный симфонист. Но лучше по порядку.

Как я уже говорил, мы познакомились с ним в сорок седьмом году, в октябре. Дело было так: готовилось торжественное собрание московского партактива по поводу тридцатилетия октябрьского переворота. Происходить оно должно было, как и все подобные торжества, в Большом театре: концерты по поводу дат всегда посещались Сталиным, а поэтому подобные представле-

ния были однотипны, обложены идеологией и охраной, нафаршированы восхвалениями, которые были и есть — самовосхваления без зазрения совести.

Администратором таких концертов, а концерт был обязательным десертом после собрания, назначался на заседании ЦК КПСС всегда министр культуры, тогда — начальник управления по делам искусств. В те годы пост этот занимал Михаил Борисович Храпченко. В пару к нему выделялся Апостолов, зав. музыкой ЦК, невысокого роста мужичок, внешне ужасно похожий на Чонкина, но с бритым черепом. Отличался он от Чонкина лишь тем, что когда-то был военным дирижером. А у военного дирижера, если есть чувство ритма, уже — сверх головы. У Апостолова не было чувства ритма, поэтому он оказался хозяином советской музыки. Вся идеология и состав концерта разрабатывались этими двумя деятелями, причем Храпченко был умницей. Их предложения поступали на специальную комиссию ЦК. После согласования и утверждения программа передавалась обратно дуэту Храпченко-Апостолов и те «спускали» ее нам, в Мосэстраду для исполнения. Директор Мосэстрады, Бурштейн передавал это дело моей коллеге по бюро открытых концертов Ире Головниной, которая, как рассказывают, и посейчас работает у Демичева помощником министра.

Головниной помогал я. Подготовка началась с первых чисел октября и все расписание Большого театра, точнее его репетиций, а к концу месяца и спектаклей, подгонялось под необходимость тех или иных репетиций концерта. Вот тут и состоялось мое первое знакомство с Кириллом. Знакомил нас Храпченко. Кирилл едва подал мне руку. Тогда он еще по-советски относился к администраторам, которые здесь на Западе — импрессарио и менеджеры — почтенные, уважаемые, необходимые люди. Надо сказать, что Кирилл жил, прожил и умер человеком советской психологии, что еще вовсе не определяло его любви к советской власти: вколоченное в нас напоминает, порой, неизлечимую болезнь, о которой ты знаешь, но ничего не можешь с ней поделать. Советская власть в человеке, как «беда, которая всегда с тобой», перефразируя Хемингуэя.

Наблюдая за репетициями с певцами, я видел, какой он был «неподвижный» дирижер. Вроде, он и не забегал вперед, и не отставал, но каким-то образом ухитрялся «омертвлять» вещь. «Омертвление вещи» и есть самое немузыкальное в музыке.

Наше первое знакомство, как первый блин, вышло комом. Конфликтным. На концерт был приглашен Александрович. Но сколько арий пел на репетиции Александрович, восходящая

звезда, столько раз их браковали. И меня гнали на радио за другими аранжировками, оркестровками, вариантами и т.д. Кондрашин, когда после очередной неудачи Храпченко начал выговаривать ему, свалил все ...на меня, я-де, принес не те партитуры, я-де «принес мало скрипок», а «чего-то — много», но Храпченко отлично понимал, что к чему. Кое-как выбрали «Арлекина» и «Рафаэля». Когда Александрович предложил «Рафаэля», министр наморщил лоб и сказал: «Да, да, но напомните мне, что там такое». Александрович промурлыкал «Страстью и негою сердце трепещет». «Ага, ага» — сказал министр. Лепешинская, имевшая в театре право голоса, сказала «Да», а Апостолов сморщил нос, словно хотел чихнуть. Это означало у него согласие... Вышел в связи с этим конфликт из-за арфы. Александрович, привлекая в сообщники Антона Аренского, начал требовать арфу на сцену. Ему пообещали, но у арфистки оказался зеленый пропуск, действительный только для оркестровой ямы. У всех солистов были красные пропуска, но за ними неотступно следовали «тени» — гебешники...

Кондрашин продирижировал весь концерт, кроме двух балетных номеров и я, находясь за кулисами, слышал, как каждый вокалист, выходя со сцены, ругал дирижера последними словами. Александрович, одно имя которого вызывало овации, ушел под жидкие хлопки, да и они были продолжением сталинских.

Прошло несколько лет. В театр пришли Мелик-Пашаев и Хайкин, и у Кирилла начали отбирать оперы. Однажды, озлившись, он сгоряча написал заявление об уходе и отнес в дирекцию, где ожидал уговоров, но... заявление было удовлетворено «со скоростью света». И остался Кирилл не у дел. По тем временам, да и по этим — трагедия.

Началась тяжелая гастрольная жизнь по стране, где порою «люкс» был грязней свинарника, ресторан набит алкоголиками, а есть в нем — нечего. Я не додумываю, а знаю, что глаза у Кирилла Кондрашина начали открываться именно на периферии. Надо объездить страну, чтобы понять смысл «социализма». Мстислав Ростропович тоже прозревал, когда ездил по российским областям. Мне рассказывал директор Омской филармонии Юра Юровский, мой тридцатилетний друг, как смотрел Ростропович, впервые попавший в Омскую область, на нищету сибирской деревни, на весь этот ужас, на керосиновые лампы в семидесятых годах, на отсутствие радио, на непролазные дороги. И совсем необязательно попадать в лагеря, чтобы понять суть безумия, именуемого «построением социализма и коммунизма». Можно прозревать и «на свободе», ибо главный фокус советской власти заключается в том, что ни один человек на территории СССР не живет на свободе, а просто людей переста-

вляют, как слагаемые: известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется.

Кирилл, работая с трудными оркестрами, взрослел, созревал, он был из той породы, которая прорастает сквозь асфальт, сквозь камень. Постепенно он становился великолепным аккомпаниатором, потом — симфонистом. В стране «наивысшей культуры» всего-то, по-моему, пять или шесть симфонических оркестров, не считая столичных, и все — один другого хуже, но чем труднее попадался оркестр, тем «заводней» становился дирижер: выжимая из оркестра все, он выжимал из себя больше и больше, благо было что выжимать. И первые открытия нищей страны даром не проходили. Что бы он ни играл, в нем зрело чувство протеста.

Кондрашин был трудным человеком, но я не знал легких людей среди ярко одаренных. Легкие люди тем и отличаются от трудных, что последние — неистово и неустанно несут груз своего дарования, таланта, гения. Кондрашин был крикуном, чаще — тихим, но крикуном. На глазах в человеке происходила переоценка ценностей. Происходила больно, потому что — глубоко. Он с каждым днем поднимался вверх, это было тяжко, но тот, кто не останавливается в пути — достигает цели. Случай ждет на перекрестках тех, кто в движении.

Больше двадцати лет назад мы с Кириллом Петровичем Кондрашиным поселились в одном доме в Каретном ряду. Это был дом Большого театра... Я к нему заходил редко. Он ко мне— чаще. Одно время просто часто, в связи с гастролями. Мы то и дело встречались в разных городах и, как правило, не успевали договорить. Помню один разговор в Хабаровске, после безобразного концерта местного симфонического оркестра. Кто был солистом не помню, но сохранилось в памяти, что солист был великолепный, а концерт — ужасный. Кондрашин у себя в номере рвал и метал. Он кричал: «Разве их можно винить? Они получают по сто — сто двадцать рублей в месяц. Они голодают. Голодные музыканты и пустой зал! Да они ненавидят музыку! Как в том анекдоте...» — он посмотрел на меня, а я молчал. Вид у меня, возможно, был глубокомысленный, а на самом-то деле я, поездив по нашей земле двадцать с лишним лет, порой по десять месяцев в году, все это знал наизусть: и пустые залы на концертах Чайковского, и полные на дешевых эстрадных концертах, и голодных музыкантов знал, а про одного голодного обязательно когда-нибудь расскажу, как продолжение истории Кирилла, хотя эти две истории не связаны, а противоборствуют — фамилия голодного скрипача из Ярославского симфонического оркестра — Альберт Иванов, нынче зав. отделом ЦК КПСС. Знал я на переферии все, что поражало, убивало, возмущало и перекраивало

таких людей, как Ростропович, Кондрашин, Баршай, и сколько их, прозрев, все еще цепляются за абстракцию «родина». Тогда как наша родина давно уже оккупирована. А эмиграция — подполье для тех, кто хочет бороться. И — рай для тех, кто хочет свободно жить...

Кирилл приходил ко мне по вечерам. Мы сидели на кухне. Или у меня в комнате. Часто молчали. Чаще говорили. О чем? О чем говорят люди, любящие одни и те же вещи и ненавидящие одни и те же вещи? Мы говорили о политике. И о женщинах, конечно. О музыке — меньше, ибо я не был готов, да и сейчас не готов всерьез говорить о музыке, хотя люблю ее, слышу превосходно, как говорили, чувствую, но для разговора о музыке с музыкантом всего этого недостаточно.

Мы говорили о передачах «Голоса Америки», «Свободы». Кирилл был осторожен в разговорах, хотя он мне верил на сто процентов.

Это уже были годы, когда Кирилл ухватил судьбу за бороду. Состоялся Второй конкурс им. П.И. Чайковского, когда перед самым конкурсом заболел дирижер, народный артист СССР, постановщик «Сусанина», ленинградец Абрам Стахевич, и Александр Александрович Холодилин, хорошо относившийся к Кириллу, предложил его кандидатуру. Врагов было много, времени — мало, а Кирилл стал блестящим аккомпаниатором. А тут еще — срочная дружба народов, детант и Кириллу «дали» Вэна Клайберна. А Вэну Клайберну дали первую премию. И Клайберн открыл Кондрашину все светофоры, в том числе и на Запад. Знание своей страны изнутри — трагедия для любого мыслящего русского человека, но оно смягчено незнанием Запада.

Всякий человек в той или иной мере — эгоист. Это не требует ни пояснений, ни оправданий, ибо это есть. Но и эгоисты глубоко переживают за своих родных, за свою родину. Эмоциональные эгоисты переживают втройне...

Мы с Кириллом часто говорили о том, что в России любые перемены — крушения. Даже перемены в лучшую сторону. Ибо, говорил он, в том-то и фокус, что никто не знает, где лучшая сторона России...

Он говорил, что был бы счастлив открыть хоть что-то у Малера, Чайковского и Шостаковича. Малеру он откровенно завидовал. Тому, что тот был гениальным композитором и дирижером. Он считал, что самые вершины музыки все еще неприступны: Бетховен, дирижирующий, как Бог, или Бог, сочиняющий, как Бетховен — это Музыка.

Кирилл не был самокритичен. Однако, понимая это, уте-

шался тем, что все не признают самокритики. Он говорил: «В искусстве нельзя сомневаться в себе. Засомневался, и тебе крышка». Я возражал, говорил о несчетных вариантах «Войны и мира», а он умно возражал: «Надо уметь отличать самокритику от поиска. Разве я не репетирую по сто раз? Это — мои варианты, но это не сомнение в себе, не самокритика. Самокритика это для моих сотоварищей». Сотоварищами он называл членов партии, к которой принадлежал, но шли годы и в его устах «сотоварищи» звучало все более сардонически, а иногда — с откровенной ненавистью.

Он был злым и умным. Я это сочетание люблю. Да, эти два качества часто ходят парой.

15 октября 1973 года. Я пришел на Каретный, где уже не жил, прощаться с дочками, с друзьями. К Кондрашину не зашел, но, уходя, встретил его во дворе. Мы сели на скамью на взбеге асфальта над подземным гаражом, где летом высаживались чахлые цветочки и жухлая трава росла, а сейчас не было ничего, просто — пустой каменный мешок. Мы сидели на скамейке, он смотрел на меня, мимо меня, возможно, уже тогда дозревая и планируя свою жизнь на пять лет вперед. На пять — да! Но не на восемь, ибо восемь лет назад я уезжал, а не так давно умер Кирилл Кондрашин. Он умер, а я вижу его в Свердловске, — взмокшая нейлоновая рубашка на широкой выразительной спине, отталкивающие от себя нечто, напряженные пальцы, еще — шевелюра... ежеминутные остановки оркестра, замечания вдоль и поперек репетиции, переходящие в лекции о высших материях...

Так и хочется сказать ему: «Прощай, Кирилл!», но я не говорю прощай. Как не сказал Высоцкому. Кстати, они были знакомы. Я их познакомил давным-давно. Песни Высоцкого Кирилл, по-моему, не слишком-то любил, но были у них с Володей какие-то другие дела. Какие, не знаю. Володя написал песню. Нет, не «Где твои семнадцать лет?», а песню о Каретном ряде, где жили мы с Кириллом. Слов не помню, но песня есть, и думаю, они сейчас встретились: у них наверняка есть о чем поговорить...

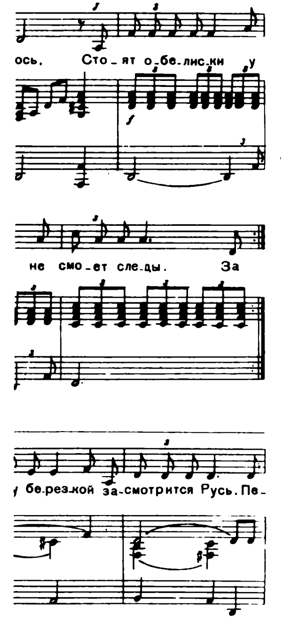
Два человека-полукровки, два русака умерли на коротком промежутке времени в разных странах, а встретились на одном небе, где порой беззвездно, но всегда есть Музыка.

У меня на память от Кирилла осталась песня «Ты Волга — река». Я написал слова задолго до начала эмиграции. Музыку написал Боря Ренский. И я упросил Кирилла продирижировать. Сам собрал скрипачей: один из них, Абраша Капцан, живет теперь в Нью-Йорке.

Кирилл в субботу записал фонограмму, молодая Галя Ненашева спела песню, а Бармалей — Демичев, работавший тогда в ЦК КПСС, приказал песню уничтожить, но «Мелодия» успела напечатать маленькую пластинку. Ее разбили, но с сотню пластинок растащили. У меня сохранилась одна, а текст и ноты журналист и мой собутыльник Витя Марьяновский спустя годы напечатал в журнале «Турист».

После Б.Д. Владимирский, директор студии грамзаписи фирмы «Мелодия», шепнул мне, что Демичеву кто-то подсунул прослушать пленку. Петр Нилыч прослушал, хмыкнул и сказал: «Писал внутренний эмигрант...». Я и до сих пор точно не знаю, что это — внутренний эмигрант.

А вот и она, та самая песня, память о Кирилле на странице журнала «Турист».



Музыка
Б. РЕНСКОГО

Слова
П. ЛЕОНИДОВА

ТЫ, ВОЛГА-РЕКА...

Над синею гладью круты берега,
Течешь бесконечно ты, Волга-река.
Я — легкая лодка, под парусом бьюсь,
Любовью своею я в Волгу вольюсь.

Чиста и прозрачна без края вода,
И вниз по теченью уходит беда.
А в воду березкой засмотрится Русь,
Печалью своею я в Волгу вольюсь.

Стоят обелиски у края воды,
А время, как волны, не смоет следы.
Закаты над Волгой — вишневая грусть,
Всей болью своею я в Волгу вольюсь.

Тревожное утро мне снится в ночи,
Где в мае кричали шальные грачи.
Клянусь, уезжая, что снова вернусь,
Всей жизнью своею я в Волгу вольюсь.

* * *

Я в жизни видел множество русских городов. Сколько-то — американских, несколько европейских, но есть для меня отныне и во веки один — Нью-Йорк. Вашингтон и Москва — провинция, Бостон и Рим — провинция, а Володя Высоцкий как-то выразительно сказал, скривив лицо: «Париж — провинция хуже Тулы!».

И вот я иду почти по самой снобистской части самой снобистской Парк Авеню. Вдали виден золотой ее ложный тупик, на крыше его светится «Пан Ам». Вхожу в подъезд мышиного цвета дома — это цвет автомобилей и костюмов, которые я когда-то хотел, а сейчас мне плевать. Володя остановился у Барышникова, который на гастролях. Портье спрашивает, к кому, я отвечаю, его лицо светлеет, или мне это только кажется. Лифт бесшумен. Створки плавно откатывают, и я оказываюсь в маленьком холле с двумя квартирами. Наугад иду к левой и звоню безответно. Еще раз, и снова безответно. Тогда я зло стучу, и наконец-то, слышу шаркающие шаги. У меня сердце замирает, подсчитываю, сколько лет не виделись, потому что в первый свой приезд в Нью-Йорк он мне не позвонил. Ну, открывай же, Володя, что ж ты мешкаешь, открывай, зараза!

...Какой грохот позади! Миллион голосов, гудков, скрежетов, визгов, плачей, воплей, хорошей-плохой погоды, писем, телефонных звонков, «любвей», разочарований, дружб, разрывов и прочей чертовщины, и все подсвечено софитами Театра на Таганке и Театра Эстрады, а сверху—мрачными огнями Лубянки, и вся страна плывет и качается в кошмарном свете этих фар, и Галилей делает стойку на руках, вдруг засомневавшись, что Земля все-таки вертится, а Гамлет с гитарой в руках, но не с Шекспиром, а с Пастернаком, который — прислонясь к дверному косяку, который — просит пронести чашу мимо, однако, просить в этой стране, не ориентируясь в тысячелетиях, и даже ориентируясь в них — напрасный труд, а после капитан Брусенцов стреляется из-за коня, как пишут в ремарке сценаристы, а Высоцкий, игравший капитана, стреляется, чудак-человек, из-за своей белой России, да так стреляется, что министр кино Романов издает приказ, запрещающий Высоцкому сниматься в ролях отрицательных героев, ибо симпатии зрителей всегда на стороне этого невысокого гиганта, заворожившего страну непонятно чем, взявшего в полон, победившего ее, чего не удалось ни одному вождю и полководцу, может, потому, что они жаждали победы, а он — нет, не оттого, что не хотел, а оттого, что не смел дерзать так высоко, а оно само так случилось и повернулось, а он здесь сбоку припека — пишет тексты, берет в руки гитару, и



Павел Леонидов.

понеслась пресловутая тройка куда кривая вывезет, и она вывезла...

...Дверь не настежь, а приоткрылась: за ней Володя — бледный, бусинки пота на лбу, взгляд вызывающий и испуганный, как когда-то: ночью вызывала меня его мать, я мчался, грузили его в мою машину, и вез я его в Люблино, он — то мешок ватный, то во дворе клиники припускается бегать по снегу: както в лунную ночь в легкой рубашке бегал час, а я и трое санитаров его ловили. В машине ехал полутрупом, утром звонила мне Антонина Ивановна Воздвиженская, чудная женщина, главврач той больницы, прежде главврач известной больнички на улице Радио, где откачивали многих знаменитых советских алкоголиков, где и мне довелось полежать перед самым ее закрытием — она располагалась возле хозяйства покойного академика Королева, оттого и перевели ее в Люблино. Звонила Антонина Ивановна и говорила, что Володя требует: «Домой!». И Любимов требует его в театр — так оно сцеплялось — его страсти с нуждами театра, а после и с нужностью, необходимостью позарез в нем всей страны схлестывались и тянули его на дно...

Володя мечтал о персональной палате его имени. Он мне говорил: «У Есенина в Корсаковке была же ведь...». Конечно, была. Он меня в ней навещал. Тогда я в ней лежал. Но моего имени палаты не будет, а Володиного имени будет еще и театр, и палата, и многое другое, думаю я, и даже уверен — надо России стать не Россией, чтобы не увековечить Володю. Он пел: «И мне не жаль распятого Христа» в одном варианте, а в другом : «И очень жаль распятого Христа». Кто-то скажет: «Менял на ходу убеждения, продался и прочая!». Нет. Он — Россия, которой то жаль распятого Христа, а то — не жаль.

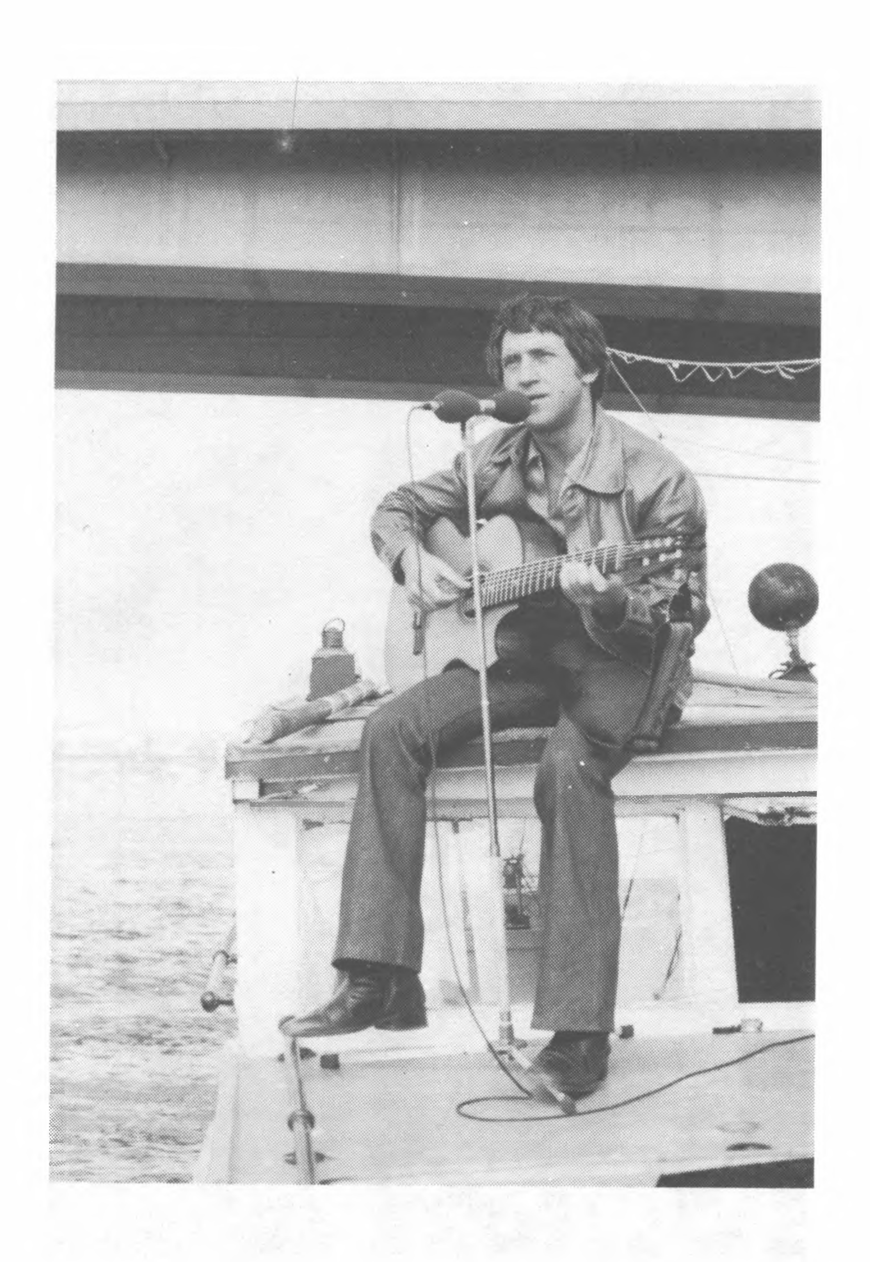
Я стою перед приоткрытой дверью и не вхожу. Тогда он распахивает дверь, и я вижу совсем маленького Володю в белых трусах с выключенным лицом, со слезами на глазах и это, вижу я, не пьяные слезы, а сам он немного пьян и не в себе, возможно, оттого, что вхожу не я в нью-йоркскую квартиру ленинградца Барышникова, а входит сюда Володино прошлое, еще светлое, не пьяное, детское, без славы, но с мамой, студия мхатовская входит — уже со стопарем, но без похмелий еще, Пушкинский театр... вот мы в гостиной и я впервые за три года оказываюсь внутри актерской квартиры. Скромно: диван, кресла, дверные проемы в спальню, правее — на кухню, полочка с книгами, на журнальном столике книга Панова с дарственной надписью Барышникову — я прочитываю, ибо книга лежит раскрытой и форзац с надписью сам себя подставляет моим глазам. Мы садимся и попадаем в безум-

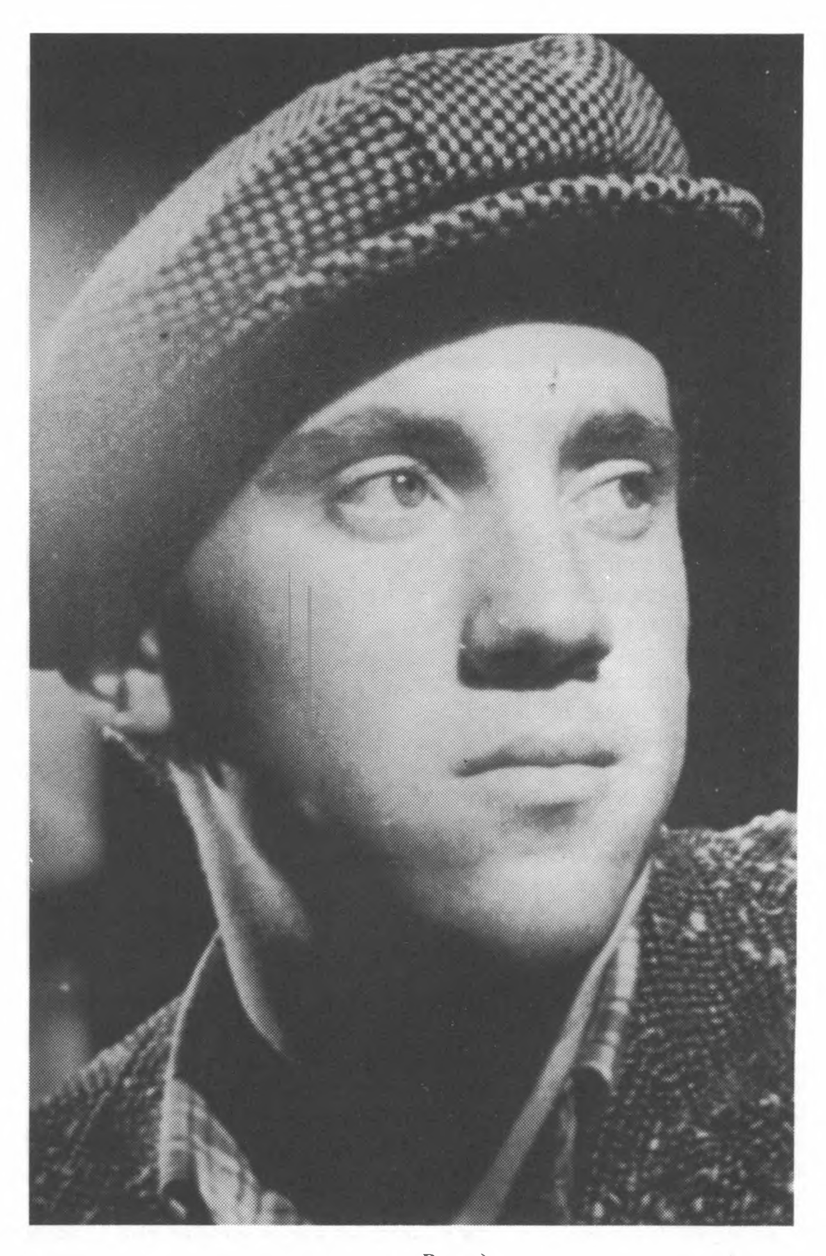
ную карусель вопросов-ответов. После Володя взрывается: как это я мог поехать проситься обратно?! Не надо было ехать! Тебя не гнали! Ты греб больше моего! Поехал за свободой, так не позорь свободу! — орал тихо-тихо бледный Володя. Что с ним стало за четыре года? Он словно раз и навсегда озяб, а ведь совсем недавно мы вместе с ним орали на Семена, его отца, моего дядю, в день, когда советские танки подмяли Прагу. Семен, сияя глупыми синими глазами, сказал: «Верно! Надо бы еще за одно и в Румынию войти!», и мы с Вовой заорали наперебой, а Семен сделался белый — в генеральском доме были тонкие перегородки, — и начал шептать: «Тише, ради Бога, тише!». А на войне этот еврей ничего не боялся, а его родной брат, артиллерист противотанковый Алексей, вообще был героем.

— Да, ты знаешь, что ты сделал? — теперь-то, когда он мертв, я все могу говорить, рассказывать о нем все могу. Ну, не все, но многое. И я могу сказать: никогда бы он не эмигрировал! Ни-ког-да! И ни-за-что! А меня за слабость, пожалуй минутную, прощать не хотел. В первый приезд в Нью-Йорк не случайно мне не позвонил. А во второй не выдержал, кровь-то не водица. После, когда приедет он в Нью-Йорк с концертами, оставит мне тыщу долларов. Гроши, но ведь и оставил он их не как деньги, а как знак: прощено все! Мало кто его знал по-настоящему. Может, Марина, потому что первая жена, Люся, умная и длинная, — не знала, оттого и потеряла. Был он человек — весь внутри, весь — без остатка внутри, а в песнях и в театре выплескивал пену. Он, когда думал, копал глубоко, это я сейчас начинаю понимать. Песни его все — от недостатка времени: удобная форма успеть высказать хоть что-нибудь. И чтобы услышали — это его слабость, это от актерства. Человек желал думать, актер — показывать: здесь его личная трагедия, пусть и не гамлетовская с первого взгляда, а вышло — гамлетовская, но если разобраться — это еще за счет времени — глубже гамлетовской, когда после реанемации, буквально с того света вытащили его, а он снова за старое, ведь он из того рода самоубийц, которые идут к цели двумя параллельными прямыми, не пересекаясь: одна — делу, любви, искусству, друзьям, другая — смерти. Наша тетка Лида в тридцать втором году, когда мужа ее, впоследствии главного режиссера Мосэстрады Леонида Михайловича Лера, юриста по образованию, втянули на работу в ЧК, в первую же ночь после первого дня работы мужа вытащила из его брюк револьвер и застрелилась. А ведь был это тридцать второй год, когда почти никто ничего не знал. Правда, она была кокаинистка...

— Ты хочешь? — Володя идет куда-то вглубь квартиры.

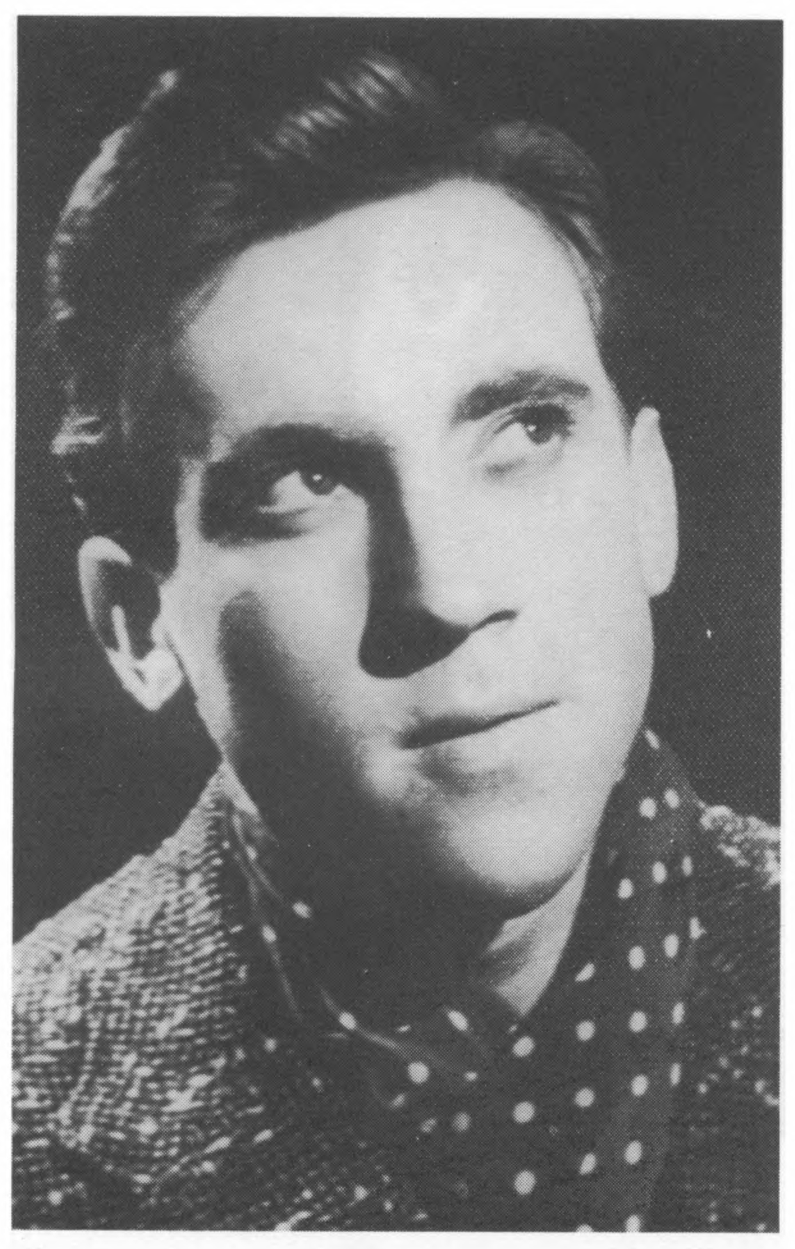
— Я — не хочу, больше никогда не захочу, — говорю я,





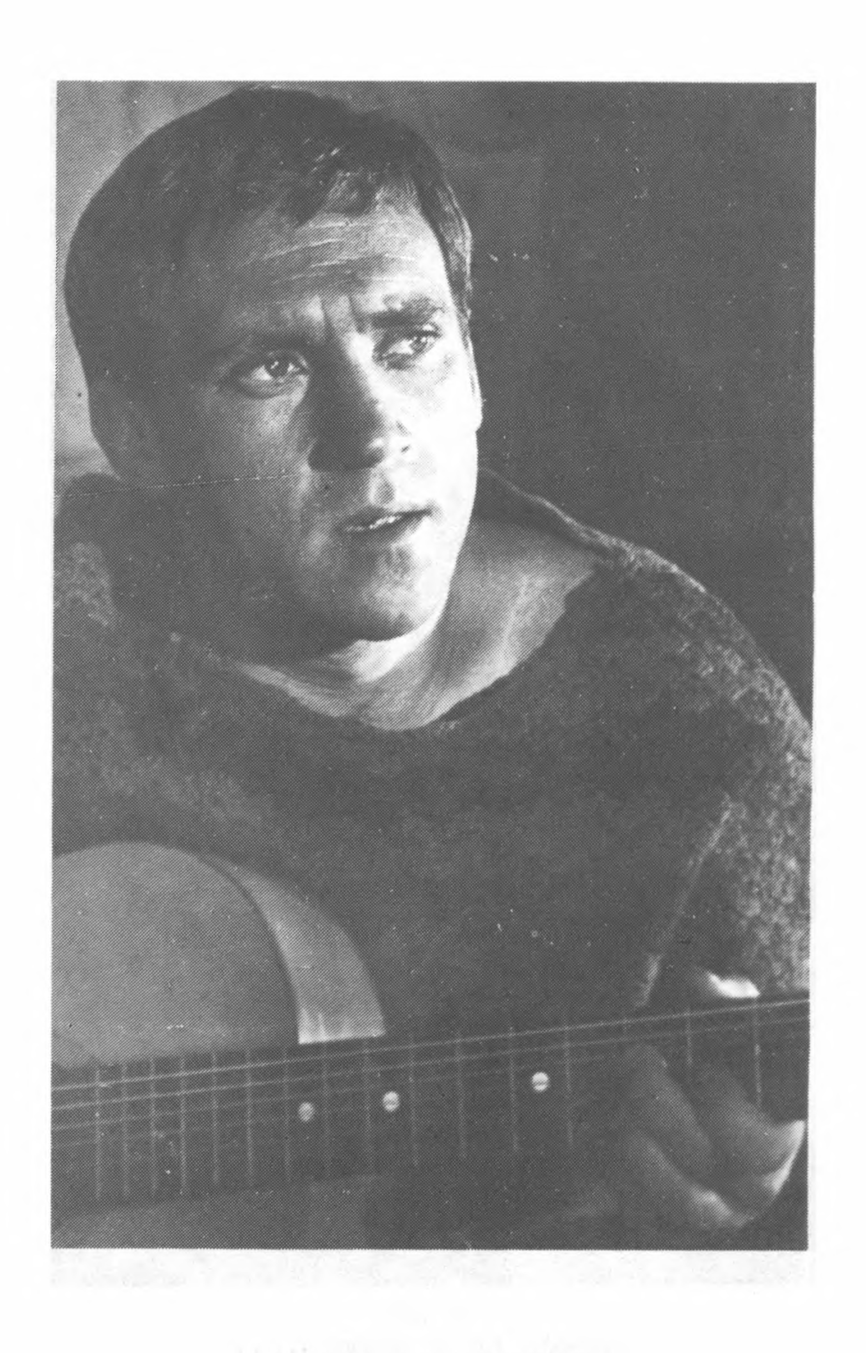
Володя

театр им. А.С. Пушкина



Володя

Студент школы-студии МХАТ





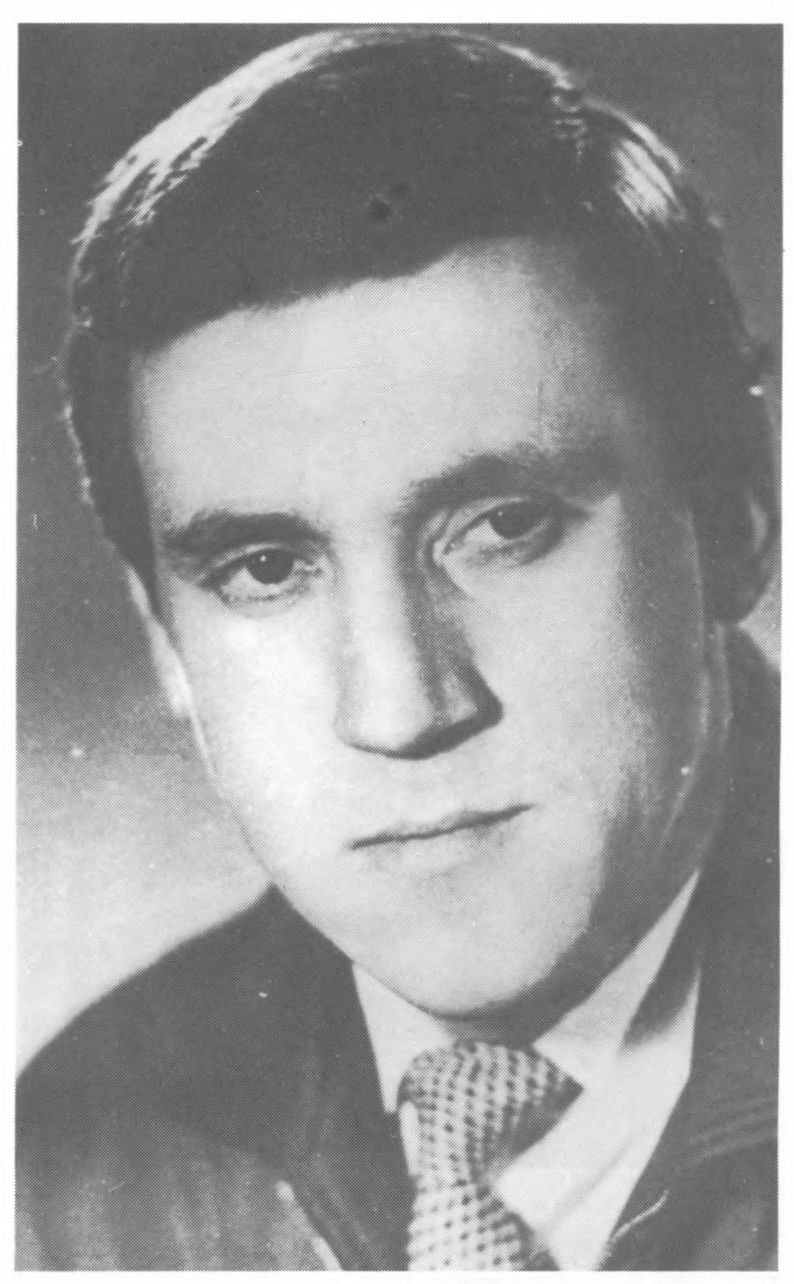
Володя на Большом Каретном



Михаил Барышников, Марина Влади, Владимир Высоцкий.

С разрешения Михаила Барышникова





Володя. Театр Миниатюр



смотрю ему в спину и думаю, что часа через два-три он будет готов. Слышу, как в коридорчике перед кухней, открывается дверь холодильника, слышу позвякивание горлышка бутылки о стакан — руки трясутся — и бульканье жадное...

В Куйбышеве в каком-то году, не помню, но давно, страшно давно это было, организовали студенты клуб хитрый на самоокупаемости, с идеей приглашать крупных ученых для информационных лекций и платить им из денег, которые студенты сумеют заработать, организовывая концерты. Ребята там попались битые: получив разрешение обкома, то были хрущевские времена, они отправились в Москву. Двое. Одного звали Толя: белобрысый русак с мальчишеским чубом, как я понял — талантливый математик. Глаза серые, неоправданно серьезные на мальчишеском лице... Ребята пришли ко мне. Кто-то в Куйбышеве дал им мои координаты. К Володе пробиться было труднее, это они знали. Идея их заключалась в следующем: им нужен был всего один день. На этот день они собирались снять Дворец спорта — тысяч шесть мест, — и сделать концерт Высоцкого. Я усомнился в том, что они сумеют получить разрешение, а когда они сказали, что разрешение обкома почти в кармане, я дал им несколько советов: во-первых, если дело выгорит, чтоб они объявили в этот день не один, а сразу три концерта: в 12 и в 4 часа дня, и в 8 часов вечера. Кроме того, я объяснил им, если слухи об этом «мероприятии» дойдут до Москвы хотя бы за четыре-пять дней, — концерты отменят. Поэтому, учил их я, надо объявлять концерты только в учебных заведениях и в научно-исследовательских институтах, и не ранее, чем за день, скажем, в пятницу к вечеру. В этом случае машина доносительства и запретительства не успеет сработать: побояться куйбышевские деятели беспокоить высоких московских деятелей в субботу, а в воскресенье — будет поздно. Я с ребятами все оговорил и пообещал позвонить, как только выясню, когда у Володи будет свободное воскресенье. Однако все воскресенья оказались занятыми. Были спектакли, если не вечерние, так дневные. Володя только что вышел из запоя. Деньги ему были нужны, а еще нужнее ему было выступить перед такой массовой аудиторией, но стеснялся он просить Любимова снимать спектакли или ставить дублера, хотя дублер у него был тогда почти во всех спектаклях великолепный, Коля Губенко. Я позвонил директору Дупаку. Он был у меня в долгу. Не раз я вытаскивал Володю до срока из Люблино, когда надо было театру. Дупак поговорил с Любимовым, и они дали воскресенье. Я позвонил ребятам, и дело закрутилось.

Был морозный февраль с ветерком, достававшим до нутра. Зимняя ночь замела небо и землю колючей мглой, и в вагонные

окна видны были лишь хрупкие мгновенья телеграфных столбов. Мы ехали в Куйбышев в мягком вагоне. Володя был мрачен и молчалив. Я с тревогой посматривал на него: обычно перед любым концертом — за деньги, без денег — все едино, ведь концерт же, концерт! — он радовался, как мальчишка.

Сейчас он не спал, тупо смотрел в окно, молчал и только желваки ходили, и это было «предшествующее» его состояние, которое начиналось с самопогружения. И лишь гадать можно, что он обнаруживал при самопогружении, но что-то тяжкое обнаруживал. У него была как бы двойная память, нечто похожее на фотоналожение, знаете, когда один снимок накладывают на другой. У него было свойство переживать абстракции, в полном смысле этого слова. Я уже не говорю об умении сопереживать: все его военные песни — рассказы отца, но главным образом, дяди Леши, который командовал с первого дня войны самым самоубийственным подразделением — противотанковой батареей. Это — страшней штрафбата.

Володя мне напомнил своим умением сопереживать на высшем пределе и в унисон, великого скрипача, сопереживающего великому композитору. Не дирижера, а именно сольного исполнителя: Володя плохо чувствовал любой ансамбль — это был его главный недостаток актера и огромное достоинство творца-человека.

На перроне куйбышевского вокзала, несмотря на гнусную погоду, — столпотворение. Оказалось, что выйти из вагона нельзя. Нельзя и все. Толпилась не только молодежь, толпились люди всех возрастов, и что удивительно, — масса пожилых женщин. Уж они-то почему? После я понял, что это — матери, погибших на войне не мужей, а сыновей, молодых мальчиков, помахавших мамам на прощанье, думавшим, что едут немножко пострелять. Извините меня, пожалуйста, за банальные слова, но без них здесь нельзя: я такой неподдельной, всенародной любви, как тогда в Куйбышеве, больше никогда не видел. Говорят, тот же массовый приступ любви повторился на его же похоронах в Москве...

Город бурлил. И это в воскресенье, в девять утра. Мы сразу поехали во Дворец Спорта, чтобы проверить аппаратуру. Вокруг Дворца огромная, плотная, молчаливая толпа чего-то ждала. Чего именно, было непонятно, потому что в один субботний день все билеты — тысяч восемнадцать — были проданы. Толпа ждала чего-то конкретного, это было видно по ней, потому что советские, привыкшие ждать хоть чего-нибудь, хоть малость какую неконкретную, толпятся как-то иначе. Сейчас люди топтались целеустремленно, целенаправленно и — через одного — держали в руках магнитофоны, а это наводило на

мысль о записях, но как же с билетами? Мы с Володей не знали, что Дворец Спорта имел наружную трансляцию. Она, эта наружная трансляция, и оказалась подводным рифом, который вспорет брюхо нашему гастрольному налету.

Аппаратура оказалась в порядке. Ребята во главе с Толей, белобрысым, с серьезными глазами, потащили нас в чей-то дом, в огромную, видимо, начальственную квартиру, где всех хозяев заменяла худенькая бледная девочка на вид лет шестнадцати — на самом деле ей было двадцать два. У девочки после полеомиэлита отнялся таз, и она «каталась» по квартире в коляске. Толя пригласил всех к столу, ломившемуся от закусок. За ним была еще одна ловушка: когда сели, девочка посмотрела на Володю молящим взглядом и попросила, чтобы он выпил за ее здоровье — она, бедная, не знала о его беде, о его запоях, — а он, плохое настроение вернулось к нему, сразу же согласился, и я даже ахнуть не успел, как он скороговоркой бормотнул тост и выпил стакан водки. И это было все! Точнее, это было начало, но начало очередного конца. А девочка засияла глазами и стала всех нас потчевать едой, не ведая, что сотворила зло, добрая душа, — может, и в этом ерундовом эпизоде на фоне истории нашей, тоже зернышко разгадки, потому что многие нации не ведали, что творили, но так не ведать, как русские, могут разве что еще евреи. И уже больше — никто.

Концерт мы начали с опозданием на двадцать минут. Зал гудел. В нем было холодно, но мы надеялись, что шесть тысяч человек успеют минут за десять надышать и тем самым поднять температуру. Володя вышел на сцену в свитере. Крошечный на огромной сцене, он подошел к краю рампы и кому-то улыбнулся. И помахал рукой. Это было не в его привычке, он любил говорить с залом, мог — воевать, мог — хамить, но никогда с залом не заигрывал и ни за что не заискивал перед зрителем: считал это ниже актерского достоинства. Я недоумевал недолго, потому что Толя, собравшийся идти в зал и стоявший за моей спиной, шепнул: «Это он Наде, той девочке, у которой мы завтракали». Ее коляска стояла в центральном проходе на уровне первого ряда...

— Ты знаешь, а я в прошлом году опять побывал с концертами в Куйбышеве. Возил меня Вася Кондаков, ты его помнишь?

— Помню, — говорю я Володе, ибо никогда не забуду Васю Кондакова, прекрасного администратора, который из принципа не хотел работать на советскую власть. На актера, пожалуйста, на эту власть — ни за что! Недавно мне рассказали, что ему дали двенадцать лет, так что по полученному сроку «он опережает любого диссидента», на голову впереди идет.

— Помнишь Надю, девочку после полеомилита? — Володя еще в норме, но уже белеет.

— Конечно, помню. Ну, как она? — меня интересует многое другое, мы не виделись годы, мои дочери остались там, мои друзья остались там, однако, сейчас с Володей можно говорить только на его темы.

— Она? Она — хорошо... Нету ее больше, Нади. Знаешь, она мне все эти годы писала. Я ей ответил раз пять, не больше. А в позапрошлом году писать перестала. Так я затосковал. Позвонил Толе, он теперь Анатолий Константинович, доктор математических наук. А он мне сказал, что с Надей плохо. Умерла Надя. Покончила с собой. А я тогда подумал: может, это — не плохо, а — хорошо. Связанность, скованность, невозможность двигаться свободно!.. Он встал и снова пошел в коридорчик.

В квартире Барышникова чувствуешь себя приятно, потому что окно гостиной — даже не помню сейчас одно окно в гостиной или два, но не суть важно, сколько окон, — выходит во двор, в тень, где выметены даже осколки свирепого дневного солнца. Снова слышу из коридорчика позвякиванье горлышка бутылки о край стакана. И снова — бульканье — это тоска пытается выбраться из тисков.

— Она выбросилась из окна. Подкатила к окну на коляске, на руках подтянулась на подоконник, откуда в этих ручонках сила, и скатилась... Всмятку...

Пауза. Володя сидит с закрытыми глазами и вслушивается в происходящее с ним. Сейчас его мысли отключены, включены рефлексы и щупальцы ощущений. Осьминог ощущений шарит внутри...

— Тоска какая! — он это простонал тихо-тихо, — такая тоска и от питья тоска, и от непитья тоска, зажигаюсь только когда нападу ночью на новую песню. Даже петь становится не интересно. Я Марину люблю... и не люблю, но не в том смысле, что не люблю, как это обычно бывает, а моя любовь к ней больше не спасает ни от чего, а раньше — спасала. Сейчас — не за что ухватиться. Сыновья, и они не могут ничего изменить, знаешь, какая-то подвешенность на чем-то гнилом, на чем-то, что в любую секунду может оборваться, и ты грохнешься, как Надя. Всмятку...

Тогда в Куйбышеве был страшный скандал. Толпа требовала включения наружной трансляции Володиного концерта. Дежурный по обкому сдуру запретил, и в одну минуту среди мороза были разбиты все окна Дворца. Позвонили «первому» за город, трансляцию включили, между первым и вторым концертами окна заколотили фанерой...

На кухне возятся щенки. Мы молчим. Тихо.

Володька тихонько запел-захрипел: «Если друг оказался вдруг...», — помнишь? Я-то помню секретаря райкома, который в порядке партийной бдительности потребовал тексты песен заранее — это был первый в жизни Володи официально объявленный концерт в стране, в Москве, в помещении Цыганского театра «Ромэн», концерт пополам с Инной Кашежевой, а что их объединяло? Разве что пьянка. Инна, говорят, спилась. Она — умней, не принимала сроду антабус, не зашивала ампул, просто пила и писала «никакие» стихи, а могла — отличные, а когда ей говорили, что она может лучше, она отвечала, что лучше всегда хуже и поясняла: ни одного моего лучшего стиха не напечатали, прежде чем обкарнать, а плохие стихи — без замечаний, выстреливают сборниками беспромашно.

Как возник этот первый и последний официальный концерт В. Высоцкого в Москве? Возник — случайно. Прислали в Москонцерт нового директора, худенького, среднего росточка, в очках. Вся его семья — в очках: жутко смешно и трогательно было видеть, когда вечером приходил Ф.К. Шапорин с семьей на концерт — мама в очках, папа в очках, сын в очках и у всех очков одинаковая по фактуре и цвету оправа. И вся семья — тихая при шустрых глазах под стеклами. Был Шапорин с большим блатом в Московском комитете партии—это сразу в коридорах известно стало, и сразу масса зауважала директора, а оказался директор —невредный, ноль без палочки, с «Щепкинским» образованием, неудавшийся актер, отправленный руководить театром в Магадан, а после — вызванный в Москву, дабы возглавить Всесоюзную эстраду. И вот его-то я и решил взять на Бога. Надо сказать, что эстрада в тот, впрочем, как и во все предыдущие и последующие периоды, была в финансовом прорыве, а я — первым в стране начал делать концерты на стадионах.

Забегая вперед, скажу, что потом Шапорин стал директором-распорядителем Малого театра, правой рукой старика М.И. Царева. Наблюдая за продвижением Феликса Шапорина, я впервые очень четко обнаружил и впервые задумался над тем, как повсеместно при советской власти обожают безынициативных людей. Может, и — не при советской, а при другой — тоже, не знаю? А тут новость — его сын эмигрировал, живет в Нью-Йорке.

В клубе им. Ногина на улице Разина, рядышком с гостиницей «Россия», — ее тогда еще только начинали строить, состоялся просмотр концерта Высоцкого. Собрался худсовет Москонцерта — список членов худсовета мы с Шапориным подвергли предварительной чистке: правых на худсовет не вызвали, а относительно левые были доставлены в клуб машинами, чтобы не отвильнули, не отклонились, не отбежали, однако, пронюхал

райком партии (Свердловский), кто-то, видимо, капнул, и прибыл в клуб Ногина некто серый в темном старомодном костюме, с узкоплечей фигурой, на плечах — перхоть, на лице отключенность маскировочная и серьезность аптекаря, составляющего лекарство, в котором один из ингридиентов — мышьяк. Фамилия его была Яснов — тоже маскировочная.

Володя сроду не пел для худсовета. Вышел на плохо освещенную сцену, потоптался, потом говорит: «Вы меня извините, я сегодня не при голосе, вчера в театре два «Галилея» было (по два «Галилея» в день в театре не бывает, но я и сейчас не знаю, соврал он тогда или нет. Скорее всего — нет). Запел и за две-три песни накачал в полупустой зал электричества через край, напряжение в зале нагнеталось с каждым мгновением, хотя пел он самые свои мирные песни — спортивные и из кинофильма «Вертикаль». Чем больше отключался Володя от начальственного зрителя, тем грозовей становилась атмосфера, и тогда, когда до взрыва оставалось не больше куплета, Шапорин сказал: «Спасибо! Хватит!».

Худсовет был бурный, однако, сторонники надежд на лучшее будущее победили. Концерт разрешили с оговоркой, что все тексты будут доставлены товарищу Яснову в райком не позднее завтрашнего утра. На следующее утро я запустил билеты со щитом в театре «Ромэн», а после уговорил Володю, и мы с ним вдвоем направились к товарищу Яснову.

Потом мы пошли с Володей в «Артистическое». Было десять утра. Олег Ефремов сидел там, за столиком прямо напротив входа. Столик сиял белой скатертью, и на ней поблескивал хрустальный фужер огромных размеров и был фужер пуст лишь наполовину — в оставшейся наполненной половине незамутненно светил коньяк, уверен, что — армянский. Мы все тогда пили — армянский. Олег очень любил Володю. Знаю, что и до самой Володиной смерти он любил его. Но странно: никогда не звал Олег Володю в свои начинания. Это мне Володя без обиды говорил, но с каким-то огорченным недоумением. Севка Абдулов, лучший через всю их жизнь Володин друг, знал про все, происходившее в новом МХАТе (Ефремовском), но раз Сева знал и не посвящал в «тайны» Володю, были они, верно, неприятными для Высоцкого, ибо я не знал человека, кто так любил бы Володю. Сева любил Володю больше, чем Марина и сыновья. Разве что — мать, Нина Максимовна, но Сева — еще и понимал Володю, а понимать его — почти невозможно, слишком уж он был глубоководен. Я уверен: где-то лежат и ждут своего часа его записки, заметки, возможно, и пьеса — намекал он мне про пьесу и даже не намекал, а говорил прямо, и в этих,

хранящихся у кого-то бумагах не — «спуск под воду», а — погружение на дно.

Олег допил коньяк и ушел на репетицию, заходили еще мхатовцы «причаститься», присел к столу Леня Харитонов — помните, «если б гармошка умела все говорить, не тая», но это уже другой Леня, обрюзгший и постаревший. Минут через пятнадцать остались мы за столом одни, и тут Володя рассказал, что вчера вечером он выступал за городом в каком-то сверхсекретном научно-исследовательском институте и обнаружил своего нового покровителя.

Новый Володин покровитель оказался генералом Светличным, начальником Московского управления КГБ. Вчера вечером вот в чем выразилось его покровительство: ОБХСС давно следил за левыми концертами Высоцкого, но изловить его было нелегко, так как Володя выступал только в закрытых учреждениях, а пропуска в эти учреждения надо было заказывать заранее даже работникам ОБХСС. Теперь-то, когда МВД возглавляет личный друг Л. Брежнева Щелоков, все стало для МВД легче, а может, и — нет. Так и получалось: пока работники милиции узнают про концерт, пока выпишут заявку на пропуска, пока спецотдел даст разрешение — концерт давно состоится, а ловить Володю после выхода из проходной — дело пустое, потому что такого популярного артиста надо брать с поличным. Самое смешное в этом деле — поймай обэхаэсники Володю и что? Не было бы пользы им, ни в жизнь бы не разрешили вожди заводить на Высоцкого уголовного дела. Позора бы им не обобраться, ибо в театре на Таганке получал Володя вдвое меньше совминовского гардеробщика.

Однако кто-то среди начальства ОБХСС уперся и решили они Володю поймать с поличным прямо на сцене. Может, хотели иметь на него «дубину» устрашающую? Короче, узнали они заранее про вчерашний концерт и заранее же заказали пропуска. Заявка была за подписью чуть не самого министра. Спецотдел подчинялся генералу Светличному, а тот «помирал» от Володиных песен. И решил генерал выручить Володю, а заодно — поиграть с МВД. Тут, видно, сыграли роль еще и межведомственные распри. Светличный распорядился анулировать пропуска работников ОБХСС, а во избежании попытки обэхээсников взять Володю после концерта у проходной, вывезти его с территории научно-исследовательского института на гэбэшной машине, что и было выполнено. Светличный оказался предусмотрителен: когда гэбэшная машина с Володей выезжала из ворот института, Володя и сопровождающий его человек увидели группу обэхээсников с двумя машинами. Те разглядели Володю, кинулись к машинам и уже началась, как в кино, погоня,

но вовремя обэхэсники разглядели номера шедшей на полной скорости и через красный свет машины, посланной генералом Светличным. Разглядели и прекратили преследование.

Володя рассказывал мне эту историю с мальчишеским озорством, но после как-то сразу вдруг посерьезнел и сказал, что Светличный — это как раз тот самый случай, когда «Избави меня Господи от друзей, а от врагов я и сам избавлюсь»...

А выступление его в театре «Ромэн» в последний момент отменили.

* * *

О Лидии Андреевне Руслановой можно рассказывать, а рассказать нельзя. Ее надо было видеть и слышать во время застолья. Для тех, кто ее не знает, сошлюсь на Федора Ивановича Шаляпина, который считал ее уникальной русской народной певицей. А Станиславский говорил, что она — единственная певица, о ком можно, не кривя душой, сказать: народная. И человеком она была воистину плоть от плоты народной, что, впрочем, не помешало ее посадить. А, возможно, и — наоборот, именно это и явилось поводом... Нет, насчет «посадить» в СССР никогда точных критериев нет. Мне говорил в кафе «Националь» покойный Михал Аркадьевич Светлов, что его отделяет от «посадить» одна «Гренада». «Сталину, — говорил он мне, — очень нравилось — «...и яблочко-песню держали в зубах...», Сталин, наверное, думал: «Держали в зубах яблочко, значит, молчали...».

Какой это был год? Не помню, но один из самых первых «вегетарианских», не то — пятьдесят пятый, не то — пятьдесят шестой. В один из дней после ее выхода из заключения я встретил Лидию Андреевну в кабинете директора Гастрольбюро СССР Дмитрия Гавриловича Сулханишвили. Я этот год не помню, а она-то его помнила до конца жизни. В этом я убежден. И Зоя Федорова мне говорила, что Русланова чуть не каждый день по утрам вспоминала день своего освобождения. Заметьте, не день «посадки», а день освобождения. Уж не здесь ли собака зарыта? Я имею в виду долготерпение русского народа. И острую ностальгию русских в эмиграции ...Встретил я Лидию Андреевну в кабинете «Сулхана». Так мы его любовно звали... Да, нет больше «Сулхана», нет и Гастрольбюро — теперь вместо Гастрольбюро — Госконцерт: юридически сменили только вывеску и ряд функций, а практически, только не смейтесь, организация потеряла лицо.

Да, да, даже при Сталине было у этой гастрольной организации творческое лицо, а нынче — нет. Может, оттого, что тогда, при Сталине, руки просто не доходили до эстрады, до гастролей,



Лидия Андреевна Русланова

до филармонических исполнителей? А вообще-то Сталин эстраду терпел.

Ведь это он, еще не сходя во гроб, благословил молоденького Райкина, которого кто-то сунул в правительственный концерт в Георгиевском зале Кремля. На другой день после концерта Райкину дали звание заслуженного артиста РСФСР, а и всех дел-то было: Сталин спросил у кого-то: «Какое звание у этого молодого человека?» — И все...

Очень трудно дать портрет Руслановой. И знаете почему? Потому что я, в отдельных случаях, сторонник тех, кто — против использования определенных слов и выражений, включенных в четвертое издание словаря Даля его редактором Б. де Куртенэ, короче, я — против мата в чужих книгах. Однако, описывать Русланову и не использовать мата — кощунство: так и слышу ее низкое, с хрипотцой, будто пропитое и прокуренное контральто, — хотя она, как и ее подруга лагерная и послелагерная, Зоя Федорова, не курила и не пила,—которое громыхает, громыхает смачный и вовсе не похабный в ее устах мат, да и не мат он, а язык русский — нутряной, метко ложащийся в цель. Рассказы о пересылках, одиночках, лагерях, сдобренные присказками, поговорками, приговорками и матом, — бесконечны. А крупное некрасивое лицо Лидии Андреевны так бурно и умно живет, глаза блестят, и все это, честно говоря, непередаваемо. Мы с «Сулханом» чувствуем себя как бы в долгу у нее за эту радость, длящуюся часа полтора: уже трижды заглядывала в кабинет секретарша «Сулхана», но он бросал в нее свирепые взгляды, и она снова захлопывала дверь. «Под расчет» «Сулхан» рассказал Лидии Андреевне историю, которую знала театральная Москва, а она нет — до лагеря история, естественно, не дошла.

* * *

В министерстве культуры СССР есть главное управление музыкальных учреждений, которому подчинены театры, учебные заведения при театрах, эстрада, филармония и вся без исключения музыка. Это было тогда, это есть и сейчас, с одною только разницей, что во времена, о которых пойдет речь, начальником этого союзного главка был свирепый, с огненно-рыжей шевелюрой, Кабанов — было в нем что-то от свирепости и тупости кабана, хотя был он человеком умным...

На третий день после начала дела врачей Кабанов, по чьей-то подсказке или без нее — неизвестно, вызвал к себе директора Мосэстрады Н. П. Барзиловича и директора Гастрольбюро Д. Г. Сулханишвили. Когда они вошли в кабинет, Кабанов, не глядя

на них, потребовал, чтобы к утру следующего дня они подготовили списки евреев, служащих в их организациях. «И чтобы — по-го-лов-но!».

Вышли из управления Барзилович с Сулханишвили на Неглинную, управление тогда помещалось прямо над «Пассажем», переглянулись и пошли каждый к себе, а оба учреждения — Мосэстрада и Гастрольбюро находились рядом. Мосэстрада — на Неглинной, бок о бок с кафе «Арарат», в здании Щепкинского училища: Мосэстрада — на первом этаже, Щепкинское училище — на втором и третьем, а Гастрольбюро — за углом, на Пушечной, в одном дворе с балетным училищем Большого театра: все будущие балетные звезды каждое утро дефилировали под окнами «Сулхана».

Часа в четыре раздался у «Сулхана» звонок: звонил Барзилович, просил срочно прийти. Когда Дмитрий Гаврилович вошел в кабинет к Николаю Павловичу, тот встал, вышел из-за стола и вместо руки молча протянул гостю список. В списке «Сулхан» увидел всего несколько фамилий: «Миров, Утесов, Менакер, Шуров, Гаркави, Менделевич, Набатов, Рознер». «Тебе надо сейчас сесть и сделать то же самое, понял?» — предложил Барзилович.

Надо сказать, что это было во времена до Митрофана Кузьмича Белоцерковского, будущего директора Московской филармонии, и тогда «вся музыка» работала по стране и за рубежом через Гастрольбюро.

Список «Сулхана» выглядел примерно так: «Ойстрах, Эмиль и Лиза Гилельс, Александрович, Коган, Натан Рахлин — киевлянин, Райкин — ленинградец, Гольдштейн, Рабинович Николай — ленинградец, Самосуд и Элиасберг — ленинградцы».

Явились ровно в девять два деятеля со своими списками в приемную Кабанова. Тот их тут же вызвал. Предстали они «пред его ясны очи» и протянули ему свои списки, он глянул в них и... произошла немая сцена по Гоголю: «Что это?! Я спрашиваю, что это такое?!» — прошипел горластый Кабанов — яркорыжий, стал он красным, даже кумачовым. Перепугались оба деятеля: еще хватит начальника удар, а в руке у него обнаружат их списки, кошмар! А Кабанов снова уставился в списки, шевеля губами: в списках, помимо всего прочего, были и личные любимцы Сталина. Раза три перечитывал Кабанов списки, повертел их, покрутил, прочитал еще слева направо, после — справа налево и заорал: «Что это!». «Это наши с Николай Павловичем евреи» — тихонько ответил Сулханишвили, и была в его голосе нежность, когда он произносил «наши с Николай Павловичем евреи». «А остальные, остальные где?!!» — орал Кабанов, а Барзилович, сделав невинное лицо, ответил: «Остальные? Ос-

тальные у нас не евреи, а — жонглеры». В мертвую паузу вступил сквозь закрытые окна городской шум, потом Кабанов сел и, не глядя на них, показал рукой на дверь: мол, идите. И они пошли...

Во время рассказа надо было видеть лицо Лидии Андреевны: оно переливалось игрой переживаний, сопереживаний и юмора, а по окончании истории была пауза, не мертвая, нет, а после — руслановский трехэтажный, на басовых с хрипотцой нотах, забористый и виртуозный русский народный мат...

Кончилась кабановская история ничем, не успел он уволить евреев из искусства, и случилось это благодаря трагикомической выдумке, героями которой были Д. Г. Сулханишвили и Н. П. Барзилович. О последнем и будет следующий рассказ.

* * *

Николай Павлович Барзилович был с детства артистом цирка. Пожалуй, не с детства, а с рождения, ибо родился в семье циркачей...

Хотя работал Барзилович в эстраде, был ее директором, но в душе оставался циркачом. И это было к счастью для эстрады, которая после его увольнения безостановочно покатилась вниз. Замечу здесь в скобках, что после увольнения отправили Барзиловича главрежем в московский цирк, но артисты цирка... забастовали: было это в хрущевские времена, когда в Новочеркасске забастовщиков давили танками, а вот артистам цирка сошло, несмотря на заявление, сделанное от имени коллектива цирка народным артистом Румянцевым-Карандашом, в котором смысл был определен словами «скурвился в начальниках». «Забастовщики» победили, и был отправлен Барзилович в Литву, а там его полюбили литовские циркачи. В Вильнюсе я разговорился с одним из них — он жив и работает, а потому вынужден я оставить его анонимом, — он мне сказал о Барзиловиче: «Неплохой мужик, но, главное, — нерусский. А это — уже хорошо!». Не любят завоевателей, а потому, вероятно, и не следят за точностью определений. Можно, конечно, было литовцу сказать «не русский», а «советский», можно, да — нельзя. Он, оккупированный литовец, сам — советский, а на Западе и его величают — русским. Заодно.

Внешне был Николай Павлович человеком обаятельным. Было в нем что-то широкое, больше от русского купца, чем от западного импрессарио, однако, умел он разговаривать с Юроком, и Сол Юрок, ухмыляясь, говорил, что всегда был убежден: украинцы лучшие торгаши, нежели евреи. Правда, Барзилович был не украинцем, а белоруссом, но слушал юроковские сентенции с удовольствием. Ему нравилось, что его считали хитрым и умным. И торгашом ему быть тоже нравилось, но

больше всего он любил уезжать на Запад в качестве руководителя группы. Опять же в скобках замечу, что жена его Тоня мне говорила: он единственный человек, который бегает в западных странах не по магазинам, а — по улицам, не интересуется тряпками, хотя одеться хорошо любит. Он, — говорила мне Тоня, — на Западе дышит. Была Тоня акробаткой, умерла молодой, не была умной, а честнее сказать — была глупенькой, а ведь как метко заметила.

В те годы, как я уже говорил, еще не было Госконцерта, а было Гастрольбюро, и платило оно в валюте не суточные гроши, как сейчас, а — зарплату, а что это значит, я вам сейчас поясню на примере: жили-были в эстраде (или на эстраде) акробаты Марченко и Фролов, сейчас, если живы, они давно уже на пенсии, а потому можно сказать и вслух: за одну месячную гастрольную поездку по Греции — поездку возглавлял Барзилович — Марченко и Фролов заработали по триста тысяч рублей каждый. Деньги были дореформенные, но директор эстрады, скажем, получал в месяц три тысячи рублей. Представляете: сто месячных директорских окладов заработал за месяц акробат! А как заработал? Очень просто: на всю полученную валюту купил (купили все участники группы) отрезов, а тогда еще и на таможне советской были добрые детские времена. Сейчас в них, в эти добрые детские времена, и поверить невозможно. А — были.

* * *

Надо сказать: в первые послесталинские годы многие люди искусства заметили, что стало чуть полегче дышать. Оказалось — в России есть воздух, не весь еще выдышали за тридцать пять лет. Выяснилось — воздуха еще много, только дыши. И на Запад за этим можно не ездить, за тряпьем — дело другое, а воздух — и в СССР стал свежее.

В это время в Министерстве культуры появился Холодилин, интеллигент дореволюционного толка, эрудит, музыкант, один из ближайших и интимнейших друзей Д. Д. Шостаковича. Это Александр Александрович — мы его в глаза и заглаза звали Сан Саныч, — вопреки решительному мнению ЦК КПСС, высказанному устами хромого Билли Бонса — В. Ф. Кухарского, своей властью разрешит, прикажет объявить в Большом зале Московской консерватории и добьется первого исполнения «Бабьего Яра» Шостаковича-Евтушенко и будет за это выгнан с работы. Это будет потом, а пока Сан Саныч — страстный поклонник женского пола, но при непременном условии: женщина для него—женщина, если она к тому же—певица. В результате, в конце жизни он разошелся с женой и же-



Николай Павлович Смирнов-Сокольский

нился на певице Тамаре Петровой, но это тоже будет потом, а пока Сан Саныч назначен начальником главного управления музыкальных учреждений. Сразу же после взятия власти он вытаскивает на свет Божий, назначив главным литературным редактором Министерства культуры, Николая Николаевича Степанова, да будет земля ему пухом! Ныне покойный, а умер он, не дожив до пятидесяти, Степанов распахнул окна министерства для «почти сатиры», и она ворвалась в кабинеты, и началась в министерстве борьба за слово и не правды, хотя бы и за слово полуправды, вот в борьбе за это и надорвал себя Николай Николаевич, а скольких писателей-сатириков он вытащил, скольких, по сути, родил, открыв им дорогу. Только с его помощью мне удалось (через репертуар) вытянуть из медицины А. Лифшица и А. Левенбука, из тех же медиков — писателей-сатириков Аркадия Арканова и Григория Горина (Арканов — Штейнбок, Горин — Авштейн). Ему обязана эстрада ростом таких актеров, как Райкин, Миронова и Менакер, Петр Лукич Муравский и других. Дружил он и помогал, чем мог, крупнейшей личности — Николаю Павловичу Смирнову-Сокольскому, тому самому, кто, будучи, естественно, беспартийным, на открытом партийном собрании Мосэстрады, когда обсуждался вопрос о репертуарной политике в свете новых решений ЦК КПСС, сказал и даже не сказал, а швырнул в гробовое молчание зала, битком набитого актерами: «ПОГОРЯЧИЛИСЬ В СЕМНАДЦАТОМ!», — швырнул, встал и, широко шагая по проходу, застланному красной ковровой дорожкой, вышел и хлопнул широкой дверью. — И уцелел. И даже не побеспокоили его, потому что был еще пятьдесят шестой год, время остатков растерянности, когда в каждом отдельном случае старались сор из изб не выносить. Однако, фразу эту помнили всегда и дали ему звание народного артиста лишь за два месяца до смерти. Он мне рассказывал: «Позвонил в восемь утра министр. Говорит, вчера вечером утвердили мне звание в Президиуме Верховного Совета, завтра в газетах будет. Поздравлял, а я ему: «Беззубой белке — воз орех!». И вправду оказалось — беззубой. Так он ни разу и не услышал, как объявляют его со сцены: «Народный артист РСФСР НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ». А был он и впрямь — народным — в истинном, а не надуманном смысле этого слова. Был, когда начинал в «рваном жанре», и когда выходил в бархатной куртке с большим белым бантом на сцену, всегда почему-то огромный, неуклюжий, но одновременно и неотдираемый от нее, неотрывный от нее, неотделимый от русской культуры двадцатых-шестидесятых годов, книжник номер один, как назвал его Виктор Шкловский в присутствии моем и нескольких московских

букинистов, таких, как Исаак Анатольевич Листвой, Михаил Иванович Логинов, Александр Иванович Фадеев, тогда еще совсем молодой, моего возраста, Коля, нынче Николай Николаевич Лебедев. И сказал это Шкловский не к слову, не просто так, а с полным смысла значением, ибо Сокольский был не только и не столько собирателем, сколько человеком, живущим книгой. Что это — объяснить трудно, можно было это осязать, обонять в квартире Сокольского, когда я приходил к нему без звонка, а Софочка (Софья Близнековская — его жена, друг и помощница, которой отказали в создании квартиры-музея Сокольского, хотя не один миллион стоила его библиотека, да и не в стоимости дело: писем, рукописей, раритетов в ней — полно, и все — русская культура, русская история, русская правда, а отказали, возможно, из-за той фразы, помните: «погорячились в семнадцатом!») тут же, чуть не в дверях подносит тебе стопку, не забывая при этом себя и мужа, а он — в кабинете на корточках или на лесенке с книгой: он так умел держать книгу, что ни словом сказать, ни пером описать — любимую девушку так не держат. С венецианским стеклом грубее обращаются. Новорожденного так не несут, как он — книгу!

Все его эстрадные монологи-фельетоны дышали книгой, русской, девятнадцатого века, первой половины — пушкинской, лермонтовской, гоголевской. Скучны были советскому зрителю его фельетоны, бдительному начальству — опасны: ассоциации летучи, да и выхватить, отнять у Сокольского хоть слово — хлопот и скандалов не оберешься.

Пока жил он, эстрада имела защитника в министерстве культуры. И если надо, — выше. А умер, и осталась эстрада беззащитной. Это ему принадлежала летучая и знаменитая в определенных кругах фраза — я ее своими ушами слышал на коллегии, когда Фурцева вызверилась на Михаила Давыдовича Александровича, упрекая его за высокие заработки, говоря, что, мол, она, министр, получает в месяц всего пять тысяч, а Александрович зарабатывает двадцать, на что, встав и оборвав на слове министра, Сокольский своим поставленным голосом сказал: «То-то и оно, Екатерина Алексеевна, что вы свои деньги получаете, а Александрович их зарабатывает!». В таких вот взрывах-фразах — весь Сокольский. К сожалению, — был.

* * *

Тогда набирал силы советский цирк.

Некий еврей, приятель моего отца, талантливейший Арнольд вместе с администратором Абрашей Поздняком, посаженным и выпущенным почти одновременно с Руслановой, с кото-

рой дружил и работал, создали на базе московского цирка известный всему миру аттракцион. Главным действующим лицом в нем стал Кио. Кио умер, но дело его живет в сыновьях. Нынче из одного аттракциона сделали два. Основной возглавляет Игорь Кио. Этот аттракцион стал вдвойне знаменит в хрущевские времена, как в кулуарах цирка, так и в кулуарах ЦК КПСС, когда совсем молодой Игорь «закрутил роман» с дочерью Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. Повторяю, то были хрущевские годы, и дочь третьего человека в государстве была женой артиста цирка Евгения Милаева, который работал в жанре «держателя лестницы», а точнее, он держал на ногах лестницу, балансируя ею довольно искусно, а на ней «работали» более десятка юношей и девушек, его родственников. Работали они на высоте нескольких метров.

Роман Игоря Кио и Галины Леонидовны начался и разыгрывался в ярких декорациях Японии — Московский цирк гастролировал по Японии, и в антураже аттракциона «Игорь Кио» выступала группа Е. Милаева «Акробаты на лестнице». Жена Жени Милаева Галя была оформлена в труппе костюмершей, числилась — костюмершей, конечно же, не выполняя никакой работы. В скобках: понадобилось несколько лет и перестановка действующих лиц на советском Олимпе, — Брежнев стал человеком номер один, и вся семья получила возможность ездить за рубеж, не прибегая к всевозможным ухищрениям. Надо сказать, что отсутствие у Брежнева советского партийного аскетизма — положительный фактор. Любовь к западной одежде, к иностранным автомобилям, к европейским и американским кинобоевикам первого секретаря создали ситуацию, при которой впоследствии стали возможны, как эмиграция, так и ее бесславный конец.

Мне кажется, кое-кому предшествующие мои строки придутся не по душе. А зря. Из двух зол надо выбирать наименьшее, а я убежден, что человек, любящий цирк, я имею в виду не римский форум, где львы терзали рабов, а современный цирк — способен на многое, но, пожалуй, такой человек не нажмет кнопки. Цирк с его атмосферой дружбы, братства, с его реально действующим лозунгом: «один — за всех, все — за одного!» это — здорово, и вот почему цирк — почти всегда дело наследственное, даже революция не смогла уничтожить цирковых наследственных традиций. И раз уж советские вожди не жалуют настоящие музыку и литературу, пусть любят хотя бы настоящий цирк, который хорош еще и тем, что и за шестьдесят пять лет советской власти ни разу, ни одного разу не удалось втиснуть в цирковые программы идеологии: всякий раз, когда в премьеры

впихивали идеологию, она, эта идеология так навязчиво, нелепо и неестественно выпирала, что приходилось ее немедленно убирать. Советский цирк не приемлет советской идеологии, а стоит на мужестве, честности, смелости и не терпит подтасовок. Страховки — сколько угодно, подтасовки — никогда. И это — суть цирка.

Хрущев и помыслить не мог об эмиграции. Не говоря уже о Сталине. Надо отметить и своеобразный, не свойственный советской элите, демократизм Брежнева. Будучи первым секретарем Днепропетровского обкома партии, он благословил брак дочери с артистом цирка. К тому же в те времена — беспартийным. По-моему, Милаев и до сих пор не в партии. Я его об этом не спрашивал, но если вспомнить, что к пятидесятилетию советского цирка ему не хотели давать звания народного артиста СССР и дали лишь благодаря отчаянным мольбам любимой внучки Брежнева, думаю, что Женя и по сегодня — не в рядах партии. А может, я и ошибаюсь, может, не хотели давать ему звания потому, что к тому времени он уже не был мужем Галины, а значит, и зятем Брежнева. История романа Игоря Кио и дочери Леонида Ильича имеет и свое довольно демократическое окончание: в тот момент, о котором я сейчас расскажу, Брежнев был уже генеральным секретарем ЦК КПСС. Никто не знает, что там «накапали» Брежневу, но он, безусловно, и до этого знал о романе дочери. Дочь тогда уже ушла от Милаева, бросив бывшую ворошиловскую квартиру, расположенную с обратной стороны гостиницы «Украина». Квартиру с анфиладой комнат. По советским понятиям это непредставляемо — бросить такую квартиру.

В Сочи в то лето гастролировал Игорь. И Галя была, естественно, с ним. Игорь, несмотря на огромную разницу в возрасте, хотел на ней жениться, причем, не ради карьерных соображений, а по любви. Он мне сам это говорил, и то же мне рассказывал его брат, Эмиль.

И вот тогда в Сочи прибыла оперативная группа штатских. В час ночи группа приступила к операции: трое отправились в гостиницу, где жил Кио. Их снабдили ключом, и им не пришлось стучать в дверь. Они вошли в номер около двух, когда владельцы номера спали. Их разбудили и вежливо потребовали, чтобы Галина Леонидовна оделась и следовала за ними. У Игоря забрали паспорт и разрешили продолжать «отдыхать». Галине сказали, что все происходящее — требование отца. Пришлось подчиниться. Игорю сказали, что паспорт он может получить на следующий день в управлении городской милиции. Заметьте, милиции, а не КГБ. На следующий день в кабинете заместителя начальника городской милиции один из прибывших в

оперативной группе отдал Игорю паспорт и «посоветовал» прекратить роман. Так этот эпизод и закончился. И надо быть справедливым: Игорь после этих событий продолжал гастролировать, ездить за рубеж, процветать. А вот совершенно в невинной ситуации с дочерью Сталина А. Каплер угодил в лагерь.

Я отношу к достоинствам Л.И. Брежнева то, что он любит цирк (Сталин цирка не любил, Ленин вообще не любил ни одного вида искусств). Брежнев не только любит цирк, он в свое время, как я уже рассказал, породнился с цирком, а кроме того, он и по сегодняшний день, я уверен в этом, дружит с артистами цирка, а его ближайший друг — дрессировщик медведей Валентин Филатов. Поэтому я думаю: будет плохо, когда умрет Брежнев. По крайней мере — хуже.

Правда, циркачи ездят заграницу, а это — острие бритвы. Заграница развращает и соблазняет. И толкает циркачей и их друзей на преступления. Когда Леонид Ильич жил еще бедно и был всего лишь Председателем Президиума Верховного Совета, его зять, муж Гали, выехав на гастроли в Италию, купил по дешевке ...500 плащей «Болонья». Ну, и что? Чем это кончилось? Нынче посадили управляющего «Союзного цирка», моего бывшего приятеля, Анатолия Андреевича Калеватова, запутали Галю Брежневу... Но, я уверен, даст Андропов уйти Брежневу чистым, ибо умен и хочет на его место.

* * *

Не стану заплывать в нейтральные воды и вообще философствовать на тему добра и зла — смешно даже и пытаться. Уж какие умные люди возились с этой темой. И — что? — как спросили бы в Одессе.

Нет, я лучше — о джазе, если только его можно назвать джазом. А назовем-ка его лучше «джаз в советской обработке». Поведу рассказ о «джазе» через одного из его создателей и самого популярного в свое время человека на советской эстраде, Леонида Осиповича Утесова. Здесь позвольте мне речь в виде отступления: «Дорогие одесситы! Вы состоите с этим знаменитым человеком в прямых черноморских отношениях. Так, пожалуйста, не обижайтесь на меня за него. Он ведь и мой не то троюродный дядя, не то седьмая вода на киселе. Не знаю, как вы, но я этим не горжусь. Впрочем, гордиться — дело личное, а мое дело заверить вас: все ниженаписанное — голая правда...»

Л.О. Утесову, а по-домашнему «Ледe», под девяносто. Для артиста в СССР это — очень много, но обязан «Ледя» своим рекордом Лазарю Моисеевичу Кагановичу, который не

слишком интересовался музыкой, но был меценатом. Он вместе с Клементом Ефремовичем слыл защитниками искусства. Вот только от кого?

«Ледя» — человек яркий. Безусловно, — был! Извините за умышленно сооруженную в этих двух коротких предложениях путаницу. В любых воспоминаниях о себе и, особенно, не о себе, «есть» и «был» часто умышленно тасуются, чтобы не позволить читателю подглядеть в твой расклад. И меня черт дернул подтасовать колоду, но лучше я сразу признаюсь и откажусь от этого намерения, лучше я сразу напишу: «Ледя» был ярким человеком, но это было тогда, когда по Одессе ходили кожаные рубли и деревянные полтинники, а если точнее, — в начале века. Он был ярким в хоре братьев Зайцевых, а после, извините, одесситы, — начал тускнеть на глазах, и уже в «Веселых ребятах» он предстал перед страной всесоюзно-знаменитым «развлекателем-отвлекателем», он пел о сердце, которому не хочется покоя, а заодно и о стране, где от Москвы и до окраин живут самые свободные и самые счастливые люди. А это ведь были самые горячие, самые урожайные сталинские денечки, когда веселые ребята товарищей Ягоды, Ежова и Берии шуровали в чужих квартирах и душах, но я «Ледю» не виню. И тогда, и сейчас люди делают, что велят. Да только ли в СССР?!

Но все же нельзя говорить об Утесове в отрыве от времени, которое, пусть и с натяжкой, но можно назвать и утесовским, а не только сталинским...

Как страшно, как жутко действуют на любого человека кадры из хроники, когда показывают гитлеровский лагерь Освенцим, а на площади лагеря, на сколоченной из досок эстраде, сидит оркестр из бритых женщин, тоже — музыкантов, каждый из которых — обречен, но они играют Штрауса, и не Рихарда, а Иоганна.

В фильме «Веселые ребята» самым страшным был самый смешной кадр, когда после всеобщей драки, помните, музыканты «джаза», которых за шум выгоняют из репетиционного помещения, на улице пристраиваются за похоронным катафалком и попеременно играют то траурные, то разухабистые и развеселые мелодии...

Первый, посаженный за бомбу, которую он принес в Кремль, чтобы подорвать товарища Сталина», директор моисеевского ансамбля Гриша Майстровой, получивший за это, кажется в тридцать восьмом году, двадцать пять лет, рассказывал мне, в какой он пришел ужас, когда в лагере увидел фильм «Веселые ребята». Причем, перед этим он смотрел фильм на воле. И — ничего. Сидел он на командировке «Бумлага» под Красноярском, где была не жизнь, а — лафа, где работал начальни-

ком КВЧ его друг, тоже зэк, который и пустил его в помещение столовой, расположенной в зоне, где показывали «Веселых ребят» отряду вольнонаемных стрелков. Гриша мне рассказывал, что его во время показа буквально трясло. Это не помешало ему через три года после выхода из лагеря вновь вступить в партию, стать активным членом партбюро «Росконцерта», а что такое партийная активность, вы знаете и без меня. И это — на склоне лет, не поумнев ни на гран, а может, именно потому, что — поумнев: плетью обуха не перешибешь, и живем мы только раз. Разве не так?

«Ледя» получил от Лазаря Моисеевича Кагановича квартиру по тем временам фантастическую. Даже и по этим — фантастическую. Квартиру он получил на Красносельской в нововыстроенном Доме Железнодорожников. В скобках: в шестидесятых годах жил в этом доме один мой приятель — книжник Евгений Владимирович Михальцев, генерал железнодорожной службы, крупный профессор-транспортник, ныне покойный. Так вот, ему тогда же дали квартиру, равную одной трети утесовской. В те же тридцатые годы «джаз» Утесова получил в свое распоряжение два роскошных железнодорожных вагона для гастролей. Тогда же изо всех репродукторов страны зазвучали, завязая в памяти, утесовские песни. Тогда же скребла эфир песня утесовской дочки Диты о пожарном, готовом тушить все пожары...

В тысяча девятьсот тридцать четвертом году, сразу после убийства Кирова, в Ленинграде была объявлена «паспортизация» — женщин с «голубой кровью» в двадцать четыре часа выселяли из города, разрешая им брать с собой килограммовый сверток.

Мужей их поубивали в гражданской, а кого не успели убить на войне, расстреляли или посадили после войны. В день объявления «паспортизации» комиссионные магазины закрылись через час после открытия — не было места, куда ставить вещи. Скупочные пункты тоже закрылись через час по причине того, что кончились деньги на покупку. И тогда — начался грабеж. Рояли красного дерева бросали, необъемные ценности отдавали задарма. Утесов с семьей жил в те годы на улице Маяковского, а наша семья — на улице Жуковского, рядом с ним. В тот день все взрослые члены семьи Утесова разъехались по городу, чтобы и минуты не потерять из тех двадцать четырех часов, данных несчастным на сборы, а новым людям — на их ограбление. Елена Осиповна, жена Леди, принесла в тот вечер целую кучу ювелирных вещей и показала их моим родителям. Я запомнил большую изумрудную лягушку «Фаберже», купленную ею за... двадцатку! На всю жизнь запомнил я эту лягушку. В шестидесятых годах я увидел ее снова. Мама, то есть Елена Осиповна, не-

задолго до смерти подарила лягушку Дите. При мне. Это было на углу Каретного ряда и Садового кольца, где я жил с ними в одном доме. Семья Утесовых владела в этом доме двумя квартирами, сплошь уставленными трельяжами, комодами и шкафами Буля (один шкаф у них — из двух, сделанных Булем Людовику Четырнадцатому по эскизам самого короля. На верхней притолоке шкафа — эмблема Людовика Четырнадцатого — солнце).

Стоят в этих квартирах, кстати и посейчас, чэпенделевские стулья, столы, кресла, висят полотна немцев, голландцев, испанцев XVI и XVII веков, а бриллианты и прочая «мелочь» хранятся в банке, хотя системы хранения в банках частной собственности у граждан в СССР — нет. Надо сказать, и слава Богу, а то ежели бы кто из граждан по наивности отнес в банк на хранение какие-либо ценности, глядишь, и «взяли» бы простодушного беднягу с приговоркой: «вот, мол, чем ты дышишь, братец-кролик!».

Однако «Ледя» не боится хранить ценности в банке, ибо известно там, откуда ценности и за что они у доброго человека, у — их человека. Их человек — этим, пожалуй, сказано все.

Когда «Ледя» был уже на вершине славы, на подмостках появилась и сразу вошла в зенит популярности, став любимицей зрителя, Мария Владимировна Миронова. В первые же годы своей работы на ленинградских подмостках она познакомилась и вскоре вышла замуж за Александра Семеновича Менакера, средней руки куплетиста, но очень талантливого человека. Так и возник дуэт: Мария Миронова и Александр Менакер. Дуэт разродился не только яркими номерами и программами, но и будущей кинозвездой, ныне одним из самых популярных артистов театра и кино Андреем Мироновым, но еще до появления на свет Андрея «Ледя» совершил набег в чужие владения. Не было в набеге ничего особенного, уж, кто-кто, а мужчины поймут, и не стоило бы об этом говорить, да был в этом набеге один неприятный и характерный нюанс, напоминавший грабежи тридцать четвертого года. Был «Ледя» старым и закадычным другом Саши Менакера. Саша дружил с женой «Леди». Роман вспыхнул, как пожар, и очень быстро пропал, как майская гроза, но пропал роман не сам по себе, а с помощью Елены Осиповны. Она сказала Мироновой: «Сожгу лицо кислотой!», а мужу сказала тихо, страстно и лаконично: «Посажу!». Ну что тут сказать? Разве что: «О, времена! О, нравы!». Или: «Вот так они и жили!».

Вот так мы жили в те годы.

* * *

Марию Миронову раздражает советская власть во всех ее проявлениях. Если, скажем, Райкин дружит с сильными мира сего и отдыхает с ними в одном санатории в Сочи

то Мария Владимировна их на дух терпеть не может. Помню: был юбилей завода имени Лихачева (бывшего — имени Сталина). Какой-то болван из парткома завода, а может, и не болван, а диверсант, пригласил программу М. Мироновой и А. Менакера. Когда мы прибыли в Дом культуры ЗИЛа, был антракт. Пьяные косяками дефилировали по фойе. Миронова обрушилась на меня, как только мы вошли в гримуборную. «Я для пьяных свиней не выступаю! Точка!». Мы втроем начали ее уговаривать, и она с трудом согласилась «не выступать, а прогнать программу» в одном отделении. «Прогнали». Был весьма сдержанный успех. Мария Владимировна метала громы и молнии. И тут в гримуборную вваливаются чернокостюмные пьяные руководители завода, возглавляемые секретарем парткома завода — членом ЦК КПСС. Он начинает: «Что ж это вы, товарищи артисты, думаете, что мы щи лаптем хлебаем...». Дальше ему Миронова говорить не дала: «Нет, мы так не думаем, это вы щи лаптем хлебали до, а нынче вы хлебаете не щи и не лаптем, оттого и такие красные ...как ваши флаги...». Делегация отбыла, толпясь в дверях. Миронова разорвала документ, подтверждающий концерт, что означало: денег за этот концерт нельзя будет получить. Разорвав наряд, она сказала, обращаясь к Липскерову и ко мне: «Паша и Федя могут получить деньги у Менакера, а сам Менакер свою зарплату получит у меня!» — и пошла к выходу. Денег мы с Федором Александровичем, естественно, не просили, а вот Менакер за согласие выступать после торжественного собрания получил зарплату сполна. В этом я уверен...

Мы с ней как-то идем по Столешникову. Народу — тьма. Просит милостыню молодая женщина с крохотной, оборванной девочкой. Миронова дает бумажку, десять или двадцать пять рублей, и громко говорит: «Счастливого детства!».

У нее не было и нет чувства юмора. Она — трагическая актриса. А что в зале смеются, так мы ж в СССР — неполноценные, а она — полноценная. Она понимает, где она, кто она, что она, и знает эта потрясающая актриса, что занавес скоро опустится над российской человеческой комедией... Так и вижу: умные, синие глаза, напряженные, беспокойные, очень выразительное лицо, почти всегда чуть-чуть саркастическая и не усмешка, а гримаса. Почему-то просится, вроде и несуразное — вольтеровская гримаса на лице Афродиты.

* * *

«Вьются кудри, вьются кудри, вьются кудри у блядей! Отчего они не вьются у порядочных людей?» — грустно спросил Михал Аркадьевич Светлов. Кажется, Никита Богословский ему

ответил: «У порядочных людей денег нет для бигудей». Я нарочно пишу не Михаил, а Михал, разговорно, ибо сам Светлов не столько в своих стихах, сколько в разговорах. Жаль, не было у него своего Эккермана. А ежели и были эккерманы, так Сталин их всех пересажал, а у них — новый приступ беспамятства, но черт с ним, со Сталиным, со всей этой сумасшедшей жизнью нашей...

Светлов никогда не злился. И не философствовал. Он шутил грустя, и грустил шутя. В паузе между тем и другим пописывал стишата. Именно — пописывал, это его выражение, употребляемое всерьез. Он мне говорил, что боится писать, а потому — пописывает. «Писать боюсь, отписываться страшно!» — сказал он как-то, когда мы столкнулись с ним рано утром в Художественном проезде. Это было начало пятидесятых. Мы жили возле: он — в Камергерском, как он называл Художественный проезд, а я — на Кузнецком, дом четыре, в доме, смежном и слитом с Филиалом Большого театра.

Он вышел за хлебом, я — постоять у букинистического, поймать чего-нибудь редкое по дешевке. Мы стояли, разговаривали. Он купил батон. Ел его, отламывая кусочки и жевал уже и тогда совсем или почти беззубым ртом.

Нас познакомил Яша Шведов. Поэт, книжник, добрый мужик, однако, живший в корпусе «А» по улице Горького, что наводило на разные мысли, но в случае Яши люди эти мысли отбрасывали: он, вроде, был хороший человек и книжник страстный. Четко никто не знал, что он написал, что пишет, но он был автором песни «Орленок». Так он и пропарил над жизнью на этом своем «Орленок, орленок взлети выше солнца...». Увы, орленок и прочие орлята взлететь не успели, а их потомки — ужи, если не сплошь, то — через одного, товарищ Горький, Алексей Максимович... Яша познакомил нас со Светловым так: у Михал Аркадьевича вдруг обнаружилась, видимо, где-то взятая на прочет и застрявшая — у русских интеллигентов, ох как часто, застревают чужие книжки! — книжка Николая Гумилева «Путь конкистадоров». Редкость огромная была, да и есть. Имеется в виду, конечно же, первое и последнее издание отдельной книжкой. Был у Михал Аркадьевича экземпляр средний, не идеальный. Стоил он тыщу—на старые деньги. Я был холодным книжником и должен был заплатить владельцу подобного экземпляра ну, пятьсот максимум. Но Светлов! Я и заочно не мог бы заплатить ему меньше, чем получил бы. При встрече он не заулыбался, а засветился, заискрился, обволакивая чем-то радостным и грустным... Он мне долго бормотал, что книжка не его — кто бы еще сказал?! — но деньги нужны ему срочно, сейчас, «вчера мне нужны деньги», — сказал он застенчиво, а в то

же время в глазах играли в чехарду гномы... У меня в книге почти все люди обаятельные, и я это слово повторяю и повторяю без устали. Это и понятно: большие актеры, те просто не бывают на белом свете без шарма, да и писатели... Нет, среди писателей людей отвратительных, противных и отталкивающих —сколько угодно, и это не мешает им быть зачастую потрясающими писателями. И все-таки, писатель тоже должен обладать чем-то таким, что открывает ему людей. «Плоские люди живут на плоской земле» — сказал я когда-то Вене Рискину, другу Бабеля, Олеши и Светлова, а сейчас скажу, что и на круглой земле живет сколько угодно плоских людей.

Я вот думаю: какое это огромное искусство уметь грустить, не злобствуя. Не скалясь на нашу собачью жизнь. Не возненавидев весь мир. Этот наш пожар обид какой добротой надо залить! А вот нас теперь здесь, в кругах литературных, зарубежных, русских, естественно, заливают не добротой, а помоями. Дешевые, мелкие бизнесмены давят нас: одни—ханжеством и жадностью, другие — одной жадностью. Употребляют нас, не взбалтывая. Во все дыры. Только те, кого знает Запад, как-то живут. Остальным — плохо. Я по природе — крикун, горячка, но отходчивый. Был всю жизнь, хотя меня злили всю жизнь. А тут вдруг завелся, сломался — не могу отойти и отойду теперь уже лишь в лучший мир, а до того продемонстрирую этим жуликам-редакторам, что гнутых и битых им не сломать.

Почему я это все в главке о Светлове? Потому, что он мне сказал незадолго до смерти: «Знаешь, я себе все прощаю, кроме одного: я ни одного раза не плюнул в ответ!». А я — плюну. В ответ, и авансом. И если мы встретимся с Михал Аркадьевичем, я ему скажу: «Михал Аркадьевич, я плюнул. За вас и за себя. Не тем и все-таки тем же, ибо все они одним миром мазаны и разница только в объеме». А он мне скажет: «А может, ну его к черту? Может, не надо было, а?..». А я скажу: «На-до!».

* * *

Году в пятьдесят седьмом-восьмом Барзилович откомандировал меня в программу «Вместе». В этой программе объединились «три кита» — Н.П. Смирнов-Сокольский, М.Н. Гаркави и И.С. Набатов. Программа была скучной. Время было непонятное. Провинция была нервно настроенной, плохо снабжаемой едой, но, конечно, лучше, чем сейчас. Зрители на концерты либо не ходили, либо ходили кое-как.

В Туле, в помещении городского театра, на концерт пришло двадцать три человека. Я их считал по пальцам. А по билетам пришло четыре человека. На сцене людей было в пять раз больше. В антракте захожу в гримуборную, и мне Сокольский рубит

с плеча: «Я — педераст!». Набатов, у них это было срепетировано, говорит: «Почему, Николай Павлович?», а он: «У меня администратор — жопа!». И я, не отличающийся остроумием блещущим, внезапным, отвечаю: «Да, я — жопа!». «Почему?» — вопрошает Сокольский. «Да потому, что у меня артисты — говно!». Сокольский хохотал лет пять и всем мой ответ рассказывал, а два других кита долго на меня дулись. Пожалуй, в этом и был Сокольский. Двое других, умные люди, обиделись, а он — нет, ибо он не просто умный, а блестящий человек, осколок затоптанной российской зари.

С ним я ездил много. Помню, в Саранске — привезли нас на концерт в какой-то сарай прямо с вокзала. Над сараем и у сарая ни щита, ни афишки на наш концерт и большой щит «ТАНЦЫ». Встречал нас занюханный еврей — администратор. Сокольский спрашивает у него, почему нет щита о концерте, а о танцах — есть. Администратор, с акцентом, картавя, скрипит, что не нашли больше гвоздей, прибить щит. Сокольский взорвался: «Христа прибить у вас гвозди нашлись?». Кстати, на щите, где оповещалось о танцах, внизу был написан желтой краской анонс, что скоро приезжает в город единственная в СССР женщина-венеролог Мария Донская. Маша Донская была в то время единственной в СССР женщиной — вентрологом.

Сокольский не был антисемитом. И был им. Он любил евреев, не любя, а точней: он не любил евреев, любя их. Это сложно. В нем было намешано всего. (Я-то всегда яростно против: «Кто-то любит евреев!». «Любит, значит, выделяет их, а это — грязно!»).

Набатов убеждал меня, что «Коля — антисемит!». «Понимаешь, но разве может не антисемит позвонить в четыре часа утра, а я в три еле уснул. Ты же знаешь, как я плохо сплю с женщиной. Когда возле меня женщина, я все время чувствую, что что-то еще не доделано. Да, так в четыре утра — звонок. Снимаю трубку, говорю «Алло». И тут — он: «Илья, ты что, жидовская морда, спишь? А я тут решаю кроссворд...». Какой еще кроссворд в четыре утра?» — спрашиваю, а он: «Тут написано: заслуженный артист УССР, лауреат Сталинской премии...». «Сколько букв?!» — заорал я, решив, что попал в кроссворд. «Три. Первая «хэ». Разве человек, любящий евреев, может позволить себе такое, а?».

Сокольский говорил: «Бей жидов ...после русских!». Он много пил и мало закусывал. Женщинами увлекался, может, в молодости. Любил говорить на эту тему. Любил «посидеть у камелька и поглядеть телевизор». Это означало, что он любил поприсутствовать через щелку, когда кто-то из его приятелей зани-

мался любовью. Однажды огромный Гаркави пустил его поглядеть. В спальне качалось пламя свечи. И вдруг сквозь сопенье раздался голос Сокольского, наполненный и тоскующий: «Ах, как жаль, что я не Гойя!». Как точно! Огромная гора мяса, свеча, стоны, сопенье, хрип... После таких сеансов он грустил. Пил с женой. Она — интереснейший человек. ...Умер Николай Павлович во сне. С вечера пил. И любовался первым изданием гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Экземпляр нашли не на положенном ему месте, а на краю полки...

* * *

Был в эстраде потрясающе тусклый тип, но с таким количеством дерьма, что казался этот тип достаточно ярким. Лгун первостатейный и подлец первостатейный — Николай Андреевич Кустинский. Была у него тихая, забитая, кукольная жена — блондинка, певичка Марина Вдовенко, родившая ему дочку Наташу, ставшую впоследствии киноактрисой и женой космонавта Егорова, украденного ею у подруги Натальи Фатеевой. Кстати, когда Н. Кустинский обзавелся «семейным космонавтом», он мгновенно сменил свои мелкие жульнические дела на крупные и занялся торговлей наркотиками. Чемоданами дома держал сухой морфий, но его зацапали. А лет ему было много. Посадили, он посидел, а после зятек, который любил дочку, вызволил папу, но, увы, лишь из тюрьмы. Жизнь босяка-куплетиста, называвшего себя автором-исполнителем, закончилась, а то, что оставалось, было даже и не доживанием.

Почему среди ярких и больших людей вспомнил я о Николае Кустинском? Да потому, что он был зеркальным отображением сталинской эпохи тридцатых-сороковых годов. Доносчик, он этим гордился. «Коля» жил неподалеку от Сокольского, Набатова, Гаркави, между Бронными, в доме с проходным двором и лет пять брал такси к дому, используя тот же трюк: просил таксиста обождать и смывался. И вот, мне известен первый и, вероятно, последний случай объединения советских трудящихся не из-под палки, а по собственной инициативе. В разговорах за пять лет ограбленные шоферы установили, что обманывающий их жулик есть артист эстрады Кустинский. И вот однажды коридор Мосэстрады забили таксисты. Они требовали директора, и их принял Барзилович. С первых же слов он понял, кто вор, и отдал приказ выплатить обобранным, в счет зарплаты жулика, все деньги. И тут, тоже впервые, я был свидетелем, как советские люди, пораженные доверием к их словам, отплатили Барзиловичу. Никто, ручаюсь, не завысил суммы. Так как Кустинский колесил по центру, суммы назывались не выше десяти рублей, а то и два-три рубля. Рвем глотки о честности, а Барзилович поверил — и результат...

Был с проходимцем случай комический, но тоже типично советский. Персональная пианистка Кустинского Зеркалина написала в местком жалобу, что гастролер принуждает ее к сожительству, грозя в противном случае изгнанием из коллектива и другими карами. Я был на том открытом заседании месткома. Председательствовал Гаркави. Дело разбиралось в директорском кабинете. Часов пять все от мала до велика крыли Кустинского, он с жалостливой и пакостной рожей смирно сидел в углу, а когда накал достиг апогея, и решили изгонять разбойника из эстрады, он скромненько попросил слово и предъявил директору огромную, как простыня, справку о том, что он — импотент! Дело закрыли, хотя все знали, что Коля кто угодно, но не импотент.

У Кустинского дома в кабинете висел плохой портрет маслом Шаляпина, а на нем размашисто: «Коле от Феди. Сентябрь 1919 года». Подпись почерком Кустинского, что не мешало ему гордиться портретом. Ну, что тут сказать? В той сумасшедшей стране еще хорошо, что повесил он, пусть и с фальшивой подписью, но портрет Шаляпина, а не Ленина. А я представляю себе у него на стене, над кроватью, под которой чемоданы морфия лежали, портрет Ленина с надписью: «Коле от Вовы».

* * *

Я никогда в жизни не видел более подвижного толстяка, чем Гаркави. И никогда в жизни не слышал более увлекательного вранья... Нет, слышал — у драматурга Они Прута, и позднее в эмиграции — у Фимы Севелы. Правда, вранье Севелы грубее и теряет от отсутствия интеллекта рассказчика, но фантазия Севелы объемнее его квадратногнездового живота.

Врал Михал Наумович Гаркави самозабвенно и бескорыстно. Впрочем, все подобные вруны бескорыстны, ибо таят скрытую корысть — они верят в то, о чем врут, и, если вы верите им, — они счастливы... Я редко встречал в пятидесятые-шестидесятые годы более неинтересного конферансье, хотя жила еще и тогда яркая память о Гаркави в знаменитой «Синей блузе».

Был он закоренелым евреем-интеллигентом из семьи, обладавшей в трех поколениях правом жительства в городе Москве. Языка еврейского не знал, кроме нескольких ругательств и двух-трех прабабушкиных слов... Мы с ним как-то едем в одном купэ. Идет разговор «на еврейскую тему», мол, какие мы мудаки, что не знаем «лишнего» языка. Гаркави мне бросает, как выпад рапирой: «Пунем!». Я ему: «Азохен Вей!». Он: «Гейн Дрер!». Я: «Тухес!»—и мы смолкаем. Запас иссяк. С нами в купе—Гена Дудник, еще один мудак, из семьи провинциальных евреев. У



Михал Наумович Гаркави

него с «лишним» языком лучше: он его знал и забыл. У Гены огромный нос, средних размеров рот с кривоватыми зубами, но однажды часов в пять утра в Каретном ряду я видел, как Гена в поцелуе засасывал своим средних размеров ртом популярную певицу, и было впечатление, что из его рта торчат только каблучки ее золотых туфель...

В купэ жара, окно не поднимается, Гаркави говорит, что мы с Геной курим, не вынимая. «Вот бы так все делать, не вынимая» — грустит он. И тут же, без разбега и без полосы: «Когда я служил в Малом театре, у нас был...» — Гена обрывает его: «Михал Наумович!..». «Да, да, Гена, я служил и во МХАТе. Станиславский меня уговаривал никуда не уходить, а я пошел в Мединститут...». Тут Гаркави не врет, он, правда, кончил три курса мединститута и потому всю жизнь всем ставил диагнозы. И все боялись его диагнозов, как огня. Он ставил диагноз в зависимости от отношения к диагностируемому в данный момент. Если, скажем, вы опоздали на выход, а потом черт вас дергал сказать при нем, что у вас болит голова, он шаром подкатывал к вам, хватал ручищами за лицо, заглядывал в глаза и говорил трагически: «Срочно в больницу! Скажете, врачи подозревают...», и он что-то зловеще бормотал на латыни.

Он долгие годы был мужем Лидии Руслановой. Потом они разошлись. Она вышла замуж за генерала. Сразу после войны ее вместе с генералом посадили. И не за политику. Выпустили спустя восемь лет. Когда еще она сидела, поползли слухи, что Русланова умерла. Стали приставать к Гаркави. Однажды, разозлившись, он ответил: «Русланова жива. Доступ к телу продолжается!». В жизни его выдумки и репризы были блистательными. Он рассказывал: «Когда я перед самой революцией служил в Харьковском театре, там ставили «Демона». Ну, он, Демон этот, должен лететь, его на веревке тащат, и он летит, и тут музыка кончается... Или нет? Ну, черт с ней! Значит, два работяги тянут Демона, а он застрял, задергался на виду у зрителей, а тут смолкла музыка, и в паузе раздался с верхотуры голос одного из рабочих: «Петька, ткни его в жопу палкой!». И это — в мертвой паузе.

Году в двадцать пятом пригласили меня играть кардинала в пьесе, которая, кажется, называлась «Дочь кардинала». И там по ходу пьесы гвардейцы должны арестовать дворянина в момент его беседы с кардиналом. У театра не было денег на массовку, но у режиссера сын был начальником городской ЧК. Ну, сын по просьбе отца подбросил ему десяток чекистов во главе с их начальником, деревенским бандюгой. Солдаты опоздали, и им пришлось все объяснять на ходу. Значит, я стою с дворянином на сцене, разговариваю и понимаю, что пом-

реж объясняет солдатам, как надо подойти, положить руку на плечо дворянина и сказать ему «Вы арестованы». Все просто, да нет. Вышли эти чекистские гвардейцы строем, чин по чину, но направились не к дворянину. Старший подходит ко мне, кладет руку на плечо и говорит: «Вы арестованы!» Я ему шепчу на доступном для него языке: «Да не меня, болван, а его надо забирать!», а старший разобиделся, забыл, где находится, и заорал: «И тебя заберем! И его заберем! Всех заберем!». Гаркави смотрит на нас подозрительно: поверили или нет. Мы — не верим, но делаем вид. Рассказчик ублажен и продолжает, импровизируя на ходу: «В том же Харьковском театра тогда же. Ставят какую-то галиматью из древнеримской жизни. Я — Нерон, что ли, не помню. Приглашают ту же массовку из ВЧК. Они снова приходят в последний момент. Их быстро раздевают в гримуборной догола и швыряют им все древнее: юбочки, кольчуги и прочую ерундистику, спешат и в спешке забывают натянуть трусы. Их подводят к кулисе и объясняют, что надо подойти к рампе и встать на одно колено... поняли? так они ж без трусов! Ну, подошли они к рампе полностью зажженной, встали на одно колено и... зал грохнул, а женщины — чуть не в обмороке...»...

Гаркави жил на Малой Бронной с Люсей, своей второй женой, тоже русской певицей, но уже — не Руслановой... Михал Наумович старел...

Как-то он грустно сказал Дуднику в Тбилиси: «Когда я служил в местном театре...», Гена перебил его вопросом: «Михал Наумович, а есть ли в стране хоть один театр, где бы вы не служили?!». «Есть!» — с готовностью сказал он: «Большой!», а вскоре в каком-то городе сообщил мне: «Когда я служил в Большой театре». Я ему: «Но вы же говорили Дуднику, что именно в Большом вы не служили!». Он грустно поглядел на меня: «Черт с ним с Дудником, черт с ним с Большим театром. Жизнь кончается, и это несправедливо. Такусенькие живут сто лет, а мне бы по моим габаритам надо, как ворону...». Веселые люди умирают грустно. Исключения — Светлов и Олеша, но, честно говоря, я думаю, что это не исключения, а просто и Светлов, и Олеша были совсем не веселыми людьми, а была их веселость мудростью инстинкта самосохранения.

В Центральном Доме работников искусств стоял гроб. Было много цветов и масса незнакомых, седых, интеллигентных лиц, а в ЦДРИ незнакомые лица — редкость. Были эти люди похожи на зрителей последних концертов Александра Николаевича Вертинского. Возле меня кто-то заплакал. Я оглянулся. Это плакал многолетний директор ЦДРИ, тогда уже директор Дома литераторов Борис Михайлович Филиппов. Он поймал мой взгляд и сказал, кивнув на гроб: «Он мне всегда говорил, что



Альфред Тульчинский

Со мной Володя ездил к моему сыну в роддом мимо Ваганьковки, а в Нью-Йорке взял его за кулисы. Третьей встречи у них не было и не будет, но мы оба каждый вечер слушаем Володины записи…

смерть — несправедливость...». А я подумал: «Все несправедливости происходят вовремя...».

О несправедливостях с собой всегда думать не легко, но, увы, несвоевременная несправедливость — гораздо обидней... Разве не так?

* * *

В старом здании МГУ, неподалеку от юридического факультета, на углу улицы Герцена и Манежной площади, есть клуб МГУ. Его директором лет двадцать пять был мой друг Савелий Михайлович Дворин. Этот человек «выпустил в свет» больше профессиональных артистов и музыкантов, чем любое училище. Сергей Бондарчук нашел в самодеятельности клуба МГУ красивую студентку — актрису Ирину Скобцеву, ставшую его женой. А Ролан Быков взял оттуда же Ию Савину, которая после сыграла с Володей в его лучшем фильме «Служили два товарища». Там же стал дирижером и композитором Толя Кремер и начал свою писательскую и режиссерскую деятельность Марк Розовский. Когда-то Дворин умолил меня освободить Марка от армии — там была какая-то история на юрфаке: то ли Марк не сдал экзаменов и его отчислили, но скорее — был он на заочном отделении, а с заочного брали в армию. И я Марка спасал от армии три года. И — спас. Через горвоенкомат. Умер горвоенком и теперь писать можно. Я делал ежегодно шефские концерты для горвоенкомата. Это были потрясающие концерты, потому что у всех или почти у всех именитых и знаменитых артистов были дети, и все поголовно не хотели, чтобы их дети вместо институтов шли в армию. Они своих детей даже на летние сборы не желали пускать и потому с радостью бежали выступать для московского горвоенкомата, для генерального штаба и московского военного округа. Актеры рассуждали: лучше пересолить, чем недосолить. С советской властью эти старорежимные присказки по поводу недосола на столе не годились. Выбирали пересол на спине. Пусть и на спине, но надежно.

Собственно, не Дворину, другу моему, хотел я посвятить эти несколько строчек, а случаю в клубе МГУ.

Был год шестидесятый, а то и пятьдесят девятый. Дворин в очередной раз подвергся атаке университетских антисемитов из ректората и парткома. Вступился С. Юткевич. Он был режиссером театра МГУ. В ЦК дали команду бить отбой. В парткоме приняли Юткевича с широко распростертыми объятьями. Обе стороны не упоминали ЦК КПСС. Оказалось, что никто и не собирался трогать Савелия Михайловича Дворина, лучшего работника! Уволить его, да Боже упаси! И речи быть не может, чтобы и отпустить его куда, а уж расстаться... Помилуйте!

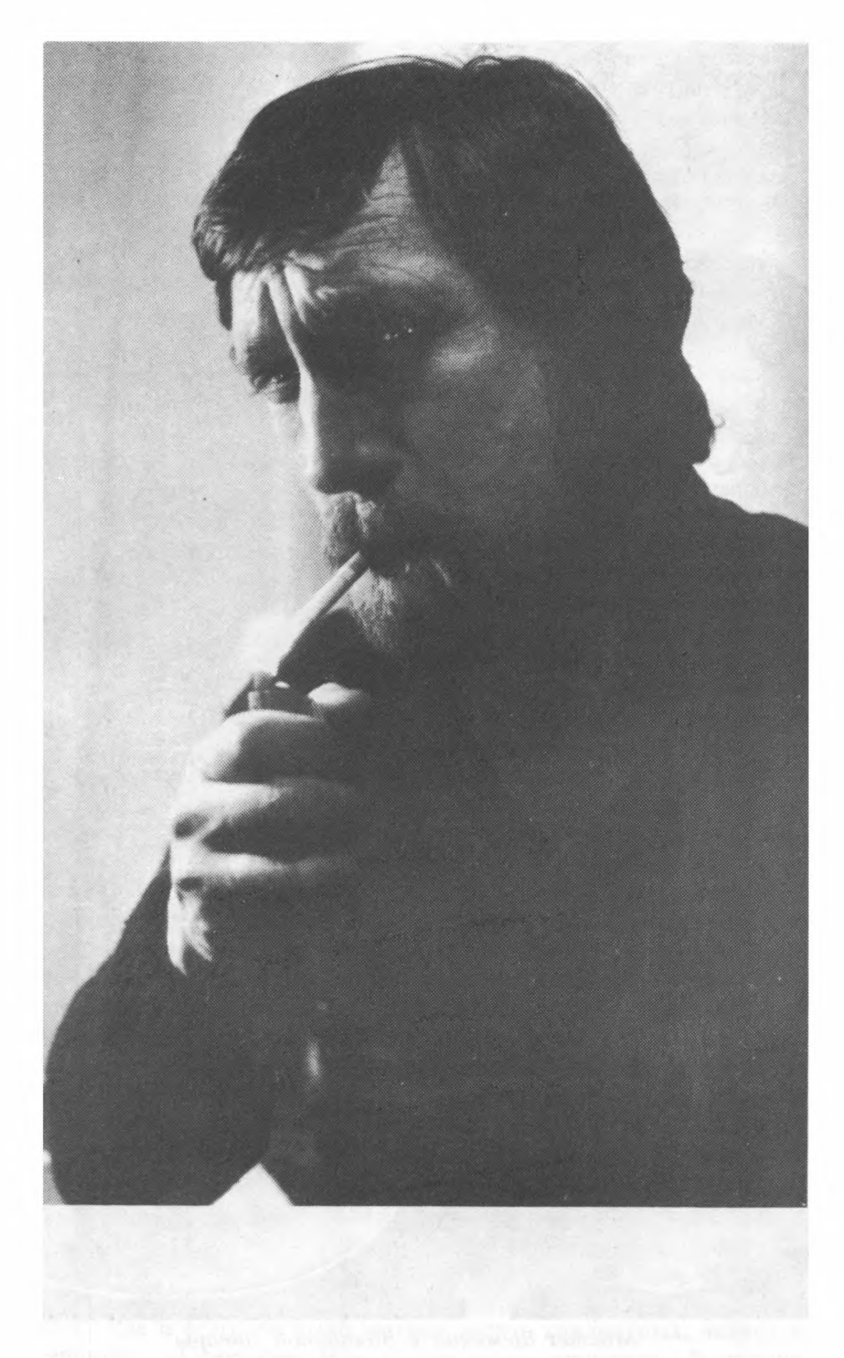
Тут же попросили Юткевича помочь Дворину организовать концерт для иностранных студентов. В клубе у Дворина, но чтоб — ответственно. Юткевич пообещал помочь. Вечером позвонил Савелию, все рассказал, «выматерился», примерно, так: «Ай-ай-ай, какие странные люди, но вполне, вполне...», а после сказал про концерт. И сразу заявил, что помогать в организации концерта не будет. Ну его к Аллаху, концерт этот... Разве, что дать советик, но советик с ключиком: есть во МХАТе-студии на последнем курсе, кажется, в классе Массальского, один студентик. Ну, сам песенки пишет, сам поет их под собственный аккомпанимент. И очень у этого мальчика сочный, яркий и замечательный современный язык, и иностранным студентам будет интересно. Однако, просить студента ему, Юткевичу, не к лицу, да и незнакомы они, а Массальский? Нет, вы уж Савелий сами как-нибудь уладьте. Фамилия? Забыл фамилию, но на «Вэ» начинается... или не на «Вэ», не помню...». Тут в скобках: Сергей Иосифович Юткевич, человек высокого интеллекта и потрясающей памяти, не мог забыть фамилии, и был он предельно доброжелателен к людям. А рассуждал, когда дело шло о рекомендации молодых, так: «Если начнет заинтересованное лицо узнавать фамилию, разыскивать обладателя фамилии, искать с ним контактов — запомнит его навсегда и отнесется к протеже серьезно — зря что ли возился, искал-разыскивал?!». Это не мои домыслы. Юткевич мне сам говорил. Встречались мы с ним достаточно часто, но разговоры разговаривали в странном месте: в переулочке, опускающемся на улицу Разина, у единственного в СССР мастера-переплетчика, который переплетал книги в кожу почти так же здорово, как делали это в старые времена. Он сотни папок для Калинина сделал. Иностранным гостям. Вот у этого Володи Соколова, безногого инвалида войны, в маленькой комнатушке трехэтажной деревянной развалюхи, мы и разговаривали. Сергей Иосифович был страшно нетерпеливым собирателем книг. Он, когда узнавал, что переплеты недавно приобретенных, старинных, естественно, книг, готовы, мчался к Соколову, а Соколов, увы, пил запойно. И мы, ожидая его, говорили часами.

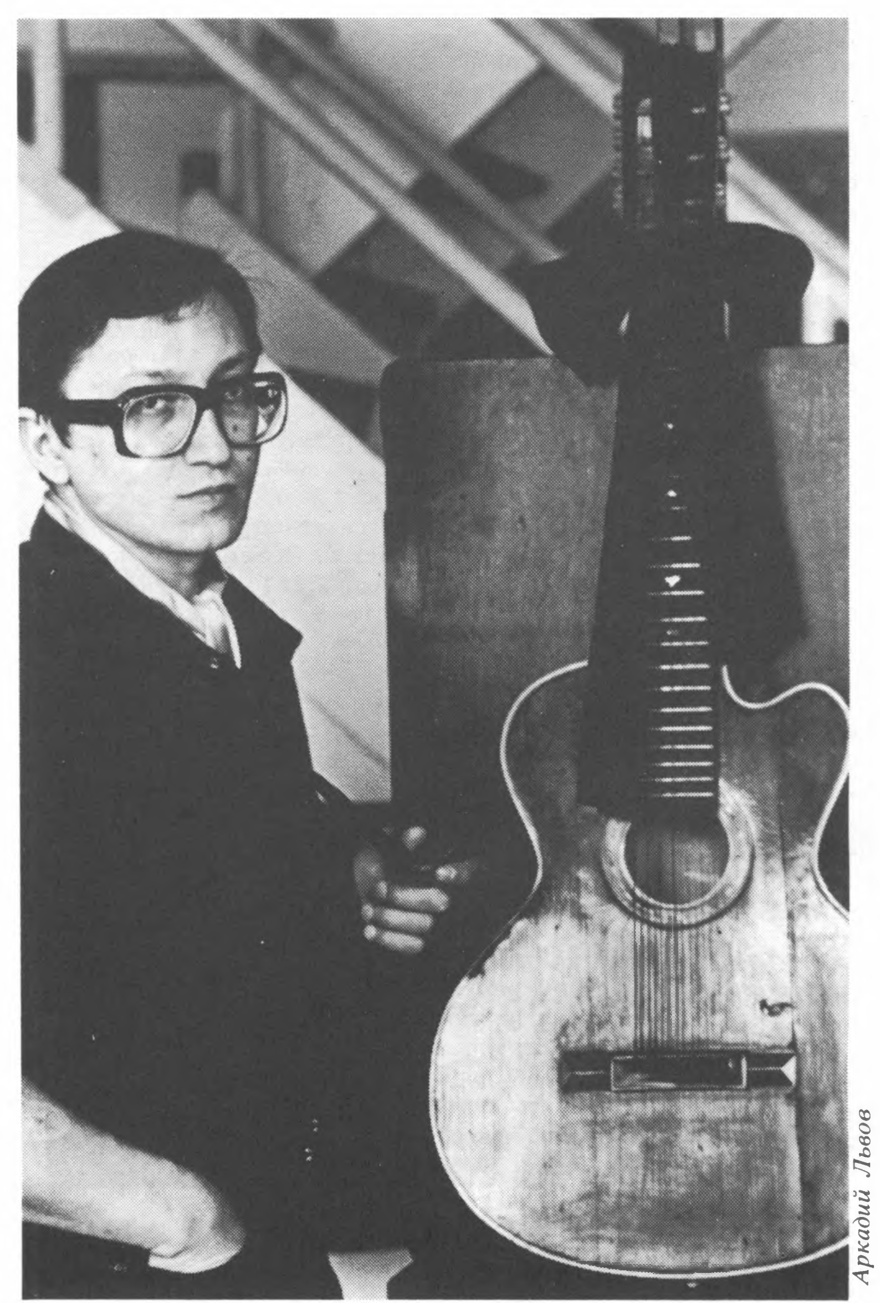
В тот же вечер Савелий позвонил мне, рассказал о визите Юткевича* в партком Университета и о таинственном песнопевце из МХАТА. Он только начал, а я сразу же и допер — ума в данном случае много не надо было: разговор шел о Володьке Высоцком, моем брате... Савелий обрадовался, что все — так просто...

Как же звали Поспелова? Павел Николаевич, помнится. Нет, точно не помню. Дней за пять до того концерта позвонили

---

* Упорно говорили, что С. Юткевич — полковник КГБ. Я не верю. Не ве-рю! А, с другой стороны, — фильмы о Ленине...





Аркадий Львов

Михаил Шемякин у Володиной гитары в своей мастерской в Сохо. Нью-Йорк

Дворину из Девятого управления КГБ (или — МГБ) и сообщили, что будет на концерте сам Поспелов. Управление просило места для охраны и план зала, фойэ, закулисной части и т.д. и т.п.

...Микрофон работал жутко, но полконцерта триумфально провел потрясающий венгр-иллюзионист Пал Патташи (после он остался на Западе). За ним выступил Бернес. Потом танцевал Володя Шубарин. Был он тогда еще в Краснознаменном ансамбле, но уже рвался на эстраду. Кто-то еще — не помню. Может, трио: Цизина, Бегам и Ласс? Три хорошенькие девочки, а скрипачка Раечка Цизина у них была и за администратора, бедная. В стране «великой социалистической культуры» народ просто ненавидит серьезную и прекрасную музыку. Возможно, русский народ ассоциирует нынче всю серьезную музыку с «Апассионатой», которую, якобы, любил Ильич, ничего не понимавший в музыке? Возможно, отсутствие хлеба не восполняется зрелищем музыкантов, воспроизводящих на сцене жестами распиливание леса, а возможно... но чего гадать: я сам видел в Омске на потрясающем по уникальности концерте, где Растропович играл под баян, человек шесть зрителей!!! После этого говорить о том, что из себя представляет национальная культура и любовь к классической музыке у советского народа, — дело зряшное.

Кончать концерт должен был жонглер Миша Мещеряков, работавший в ритме и темпе пульса сошедшего с ума... Перед Мещеряковым на сцену вышел парнишка лет восемнадцати на вид, подстриженный довольно коротко. Он нес в левой руке гитару. Вот не помню сейчас, хоть убей: была уже тогда гитара у Володи на шнуре и через плечо?! Не помню, но помню: нес он ее в опущенной левой руке. Шел опасливо и както боком, потом миновал микрофон — он слушал Бернеса из зала — и встал у края рампы, как у края пропасти. Откашлялся. И начал сбивчиво объяснять, что он, в общем-то, ни на что не претендует, с одной стороны, а с другой стороны, он претендует и даже очень на внимание зала и еще на что-то. Потом он довольно нудно объяснял, что в жизни у человека один язык, а в песне — другой, и это — плохо, а надо, по его мнению, чтобы родной язык был и в жизни, и в книгах, и в песнях — один, ибо человек ходит с одним лицом... тут он помолчал и сказал нерешительно: «впрочем, лица мы же тоже меняем... порой...» ...и тут он сразу рванул аккорд, и зал попал в вихрь, в шторм, в обвал, в камнепад, в электрическое поле. В основном, то были блатные песни и что-то про любовь, про корабли, — не помню песен, а помню, как ревел зал, как бледнел бард и как ворвался за кулисы, где и всего-то было метров десять квадратных, чекист и зашипел: «Прекратить!» ...С этого и началась Володина

запретная-перезапретная биография. Он и до смерти своей не имел ни одного концерта для публики, разрешенного ЦК КПСС. Вот как перепугал он Поспелова, «выдающегося историка», но хотя историк Поспелов всю жизнь подтасовывал историю двадцати веков, включая древние, он учуял неуправляемое будущее, что еще раз доказывает: завтра держится на сегодня и связано со вчера. Володя «пробил» ЦК — ему, скрепя сердце, разрешили пластинки и фильмы, но выпустить его «голого», один на один со зрителем, эта банда так и не решилась.

Володю после концерта караулили иностранные студенты часа два, а мы с ним и с Двориным улизнули через аудитории. Дворин благодарил Володю, жал ему руку, а на меня косил смущенный, добрый и перепуганный глаз. Однако, оргвыводов в МГУ не последовало. Только в студии МХАТа вызвал Володю, не помню сейчас, кто из стариков, и сказал, что он, Высоцкий, учится в студии знаменитейшего на весь мир и почтеннейшего театра и потому должен заниматься, а не выступать с какими-то сомнительными песенками.

По окончании студии его не распределили во МХАТ, но он этого и не хотел. Правда, не хотел он и в Пушкинский театр, мертвый и холодный, который не мог согреться и на таировской памяти...

Начал я говорить, пообещав рассказать про случай, но встреча Поспелова с Высоцким — не случай, а — закономерность. Поспелов или не Поспелов, но обе России, как их, так и наша, не могли не встретиться с Высоцким. Точнее: Россия не могла, похоронив Сталина, не родить Высоцкого. Даже и России нужен баланс, нужны передышки. Эренбург назвал послесталинские годы оттепелью, а мне они кажутся то — похмельем, то — передышкой... Когда думаю о молодости, зову те годы — пе-ре-дыш-кой, когда думаю о Володе и о том, чем все это кончилось, — пох-мель-ем...

* * *

«Знал бы где упасть, соломки подстелил»,—говорят. Есть такая поговорка... Александр Николаевич Вертинский, возвратившись после эмиграции, подстилал коврик перед тем, как исполнить: «Я тоскую по родине, по родной стороне моей...». Так примерно это выглядело: объявлял он «Я тоскую по родине», в зале аплодисменты, а после, когда зал затихает, выходит рабочий сцены и, к общему недоумению, стелит в центре сцены у рампы коврик. По ходу песни в самый патетический момент А.Н. вставал на колени...на этот коврик...

Я это вспомнил к тому, что хочу рассказать о двух людях. Оба — подстилали коврик под свою любовь к родине, причем



Александр Вампилов

Константин Михайлович Симонов был патриотом. Своеобразным. Он в России и Россию любил только за войну и в войне. Он даже не сам героизм и мужество любил... Он подстилал коврик военного патриотизма под свое неприятие России. В нем был океан эмоций и небо равнодушия... Я знал его лет двадцать, нет, больше... Мы с ним познакомились у актера Даниила Сагала. У них была не то чтоб дружба, а нечто вроде затянувшегося знакомства. У Симонова вообще привязанностей было раз-два, а может, и меньше... Дочка Маша? И все? Не знаю... Он был добрым человеком в примитивном понимании доброты. Он мог заступиться за знакомого, предварительно четко просчитав всю ситуацию, если эта помощь ему жизни не осложняла, — пожалуйста. То же и с деньгами. Он давал деньги очень многим. Кому — так, кому — взаймы, но не отдавал ему денег, по-моему, никто, кроме Надежды Мандельштам, а она отдала не долг, а дань своей старомодности, своей интеллигентности дореволюционной...

Вот еще Веня Рискин, этот талантливейший добряк и великолепный нищий, при встрече лез в карман, крича: «Костя, я ж тебе должен!», на что Симонов, неизменно на полном серьезе, спрашивал: «Сколько тебе надо Веня?», и Веня брал у него деньги «в долг» до следующей встречи.

Веня очень негодовал, когда в СССР в охране авторских прав ввели чековые книжки. Симонов и Дыховичный начали давать ему «взаймы» чеками, что было страшно обременительно: надо было ехать в Лаврушенский переулок в определенные дни и там в подвальчике ждать открытия кассы. Случалось, к открытию не завозили денег и тогда давали Вене четвертную в кредит.

Встречал я Симонова и у Алексея Денисовича Дикого. Алексея Денисовича мало знают, а ведь он, может, самый гениальный актер русского театра за последние пятьдесят лет. И режиссер — блестящий. Был он в эмиграции в Париже, вернулся, отсидел, выпустил его Сталин, а после доверил сыграть себя в кинофильме «Незабываемый Девятьсот Девятнадцатый». Алексей Денисович подозревал, что спас его от лагерей и «довел до роли вождя» Алексей Николаевич Толстой. Они друзьями были «не разлей вода». Когда-то были, а в новые времена Толстой платил старый долг. Алексей Денисович получил квартиру в потрясающем доме, почти на углу Пушкинской площади — тогда еще Александр Сергеевич стоял на своем месте, — и улицы Горького, ближе к устью Большой Бронной, напротив бара, где лет десять торговали в открытую и без блата свежими раками и пивом.

Алексей Денисович пил. Чаще — дома и с женой. Жена — крохотная, пружинистая и никто, по-моему, на белом свете не

помнил ее отчества, а все звали ее «Шурочкой». Я пришел к ней прощаться, — Дикий давно умер, — и она встала на цыпочки, обняла меня, подарила две книжки Ходасевича, переплетенные в ситчик с розовыми цветочками, и старинный, ему лет двести, графинчик русского стекла, а после принялась меня уговаривать, приговаривая: «Первое поколение ложится в эмиграции костьми...»...

Я тогда ей не рассказал, а сейчас вспомнил историю Дани Сагала, моего большого приятеля. Он, слава Богу, жив и посейчас, но и посейчас торчит в нем, наверно, его жизнь занозой. Нет, не жизнь — заноза, судьба — заноза и зараза, а было так: в конце двадцатых годов, когда был Даня студентом, учась на артиста, которым родился, получила их семья разрешение на выезд к родным в США. Даня—наотрез отказался. А все— мама, папа, братья — уехали. Сперва переписывались, а после начались сталинские годы и — все! Шло время, затягивало память плесенью, но вот умер благодетель и радетель товарищ Сталин. И поехал режиссер Марк Донской в Голливуд показывать свой фильм «Детство Горького». На одном показе в Голливуде, когда появился на экране «Цыганок», великолепно сыгранный молоденьким Даней, в зале раздался крик: «Сыночек!».

Так мама нашла сына. У нее в США все легли костьми, прожив радостную и счастливую жизнь, и остался у нее в США всего один сын, который доживал, будучи большим и известным кинорежиссером. И вдруг — младший Даня! Началась переписка. Пришел Дане вызов, но, кажется, Епишев, начальник политуправления, сказал: «Артисту театра Советской Армии в США делать нечего!». И не повидались братья. И сын не увидел маму. Правда, на этот раз добрая советская власть за отказ отпустить сына к маме дала Дане роскошную квартиру в высотном доме на Котельнической набережной.

Он, думаю, до сих пор служит в театре Советской Армии, но когда-нибудь ляжет костьми в родную землю...

Нам всем хочется лечь костьми в родную землю: чтобы родное небо над головой, чтоб снежок посыпал нас, чтоб дождички поливали, чтоб куст белой сирени над могилкой, чтоб летняя полуденная звень...

Всем этого хочется. Или — почти всем? Наверно, всем, но уж точно всем хочется жить покуда живешь. Никому не хочется расплачиваться всей своей жизнью за право умереть на родимой стороне...

Алексей Денисович был вторым человеком, подстилавшим коврик под свой патриотизм. Его «коврик» был персидский, тысячелетний, философический...

Он любил Россию после поллитра. Потом наступал момент

— поллитра и ста грамм, когда бледнел он, зверел и впрямь дичал; исступленно шептал, хрипя: «Это — страна?! Это — люди?! Сталин мне доверил сыграть себя, потому что зверя может сыграть зверь. Я так старался, а он не понял... Или понял... Его черт не разберет, но роль эта заслонила меня. Могла убить, а заслонила..!». Трезвый — грустно вздыхал и говорил, что никакие парижи не идут в сравненье с родиной, с Москвой, а Шурочка шептала: «Как врет! Как гениально врет! Как божественно врет!». Он действительно врал по поводу своего патриотизма великолепно, но я не исключаю, что он любил Россию, но, упаси Бог, не СССР.

Впрочем, кто любит СССР?

Заядлый рыбак, забыл его фамилию, приятель Лени Дербенева, поэта, генерал-лейтенант милиции при мне орал по пьяни: «Да если б не Россия, я б этот ебаный СССР лично удавил бы! Своими руками удавил бы эту сучью власть, бля буду..!». Так что, если разобраться, все в СССР ходят с ковриками и жизнь в стране все хуже и суше... Вот написал «суше», а дьявол толкнул память к совершенно дурацкой истории: есть и был Сергей Михалков бабником. В довоенные годы была, утверждают, симпатичной девушкой — трудно поверить — Рина Зеленая. У этих двоих был романчик. И поехали они, за неимением квартиры, за город, в Куркино. И там под кустиками на травке согрешили. Возвращались обратно на станцию и вдруг Рина обнаружила на юбке свежее белоголубое пятно. Увидела и говорит укоризненно: «Сережа!» а он ей: «Изззвиииинниите, это в порошке не бывает!».

Так и жизнь — в порошке не бывает, а потому костьми надо ложиться там, где жил, а не боялся...

Вот написал я: «...жил, а не боялся...», и — испугался. Подумать только! Целая, огромная страна!

Переведите слова: «Я сначала боялся на Первой Мещанской, потом поменялся с одной бабкой и переехал на Новокузнецкую. Теперь боюсь на Новокузнецкой и радуюсь...». Или: «Я боюсь в Туле, а раньше боялся в Кемерово. Хрен редьки не слаще, но в Кемерово бояться повеселей: там компаньона выпить легче найти»... Или: «Я сперва боялся с мамашей, опосля женился и стали мы бояться втроем, а когда мамаша преставилась, мы с женой устроились попросторней и стали бояться вдвоем. Пока не родилась дочка, но она пробоялась год и померла... Или: помните сталинское: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее!». А если это переменить, а? «Бояться стало лучше, товарищи, бояться стало веселее!»...

Это, конечно, хулиганство веселое, а если всерьез, а?!

Куда-то все стремимся и стремимся,
И не живем, а бредим. И боимся...

* * *

Завяз я в памяти, как в московских улицах и переулках. Завяз и не хочу выбираться, как в юности не хотел выбираться из сложной интриги, когда был влюблен во взрослую женщину, муж которой преподавал физику моему двоюродному брату, а брат, в свою очередь, собирался жениться на родной сестре физика, и еще там было что-то — не продерешься. В конце я с той взрослой женщиной переспал, но этому предшествовали научно-фантастические поиски «хаты», и в конечном счете мы переспали у меня в подъезде, на лестничной площадке самого верхнего этажа. Это было в конце войны. До войны или лет десять спустя эта женщина и не поглядела бы на меня, а тогда был голод на нашего брата, а у меня в юности были глаза — хотеньем из них через площадь брызгало, простите за выражение...

Успенский переулок знаете? Наверно, нет. Его даже таксисты не знают. Разве что пожилые и многоопытные, хотя переулок этот прямо в центре. Он соединяет хвостик Петровки и улицу Чехова. Из этого переулка можно было пройти в мастерские Большого театра, те, что стена к стене с садом «Эрмитаж», но, по-моему, их уже нет, да там и была-то лишь малая часть мастерских.

В этом Успенском, если идти с Петровки по левой стороне, стоял и стоит огромный дом этажей на десять-двенадцать, серый, добротный, стройки начала века, с роскошным, облицованным красным деревом и медью, лифтом. Номера дома не помню, а скорей всего и не знал я номера, но на третьем этаже жил в нем старый книжник Николай Александрович Мартенс. Книжник как книжник, да только у него дома я познакомился с Юрием Карловичем Олешей.

Дело вышло простое: позвонил мне Мартенс и предложил Луи Жаколио, шесть томов в издании Петра Петровича Сойкина, а я собирал «приключенцев», да и поторговывал ими. О цене сговорились, и я на следующий день пришел, но не в час, как договорились, а вечером. Захожу в комнату — таких огромных комнат я ни в Москве, ни в Нью-Йорке не видел в частном жилом владении: метров семьдесят-восемьдесят квадратных было у Мартенса, а почему их у него не отняли — не знаю. У вечернего мерцающего окна увидел я человека. У ног его лежала здоровенная стопа каких-то старых журналов. Я вошел, а он то ли не услышал, то ли плевать ему было — скорее, последнее, — головы не поднял. Мартенс чего-то буркнул и достал Жаколио.

Книги оказались в издательских переплетах, идеальные. Красотища! Там «В трущобах Индии», «Грабители морей», «Затерянные в океане», ну, и все в таком же духе. Я, ни слова не сказав, вынул оговоренную сумму. Мартенс мне книжки запаковал — старая школа, когда-то в книжном деле Луковникова работал. Я уже уходить собрался, но тут человек у окна встал, потянулся и пошел прямо на нас, чуть выдвинув вперед правое плечо. Одет он был бедно. Среди книжников такие типы встречаются! Бывает — весь оборван, в комнате — не ступить, а книг на триста-четыреста тысяч. Сам не жрет, не пьет, а достань ему искомое им и вытянет из глубин глубочайших три тыщи, пять тыщ, двадцать тыщ... вот так...

— Николай Александрович, спасибо вам за прогляд. Вы б их еще денек не продавали, а? Я б завтра еще на пару часиков завернул. Уж очень надо, хотя может и не очень, а просто думаю, что очень, и оттого мне кажется: проглядеть мне эти журнальчики нужно позарез...». Все это человек выпалил одним духом, протянул Мартенсу руку, кивнул мне и был таков, а когда ушел он, Мартенс мне сказал: «Ты «Зависть» Олеши любишь?». А я эту повесть не читал, ее тогда достать было не так просто. «Ну, а «Трех толстяков?». Да! Да! Да!». Так вот это сейчас был здесь Юрий Карлович Олеша...».

Сложилось у меня, что с детства привык я так или иначе общаться со знаменитыми людьми. Не было в том никаких моих заслуг, а все было в семье, так что — повезло мне. А может, угораздило? Сейчас уже проясняется это, но выводы делать рано.

Конечно, я хотел познакомиться с Олешей, но с ума тогда не сошел от огорченья, когда б не познакомился, но все в нашей судьбе прочерчено-вычерчено заранее. Пришел я в тот вечер домой и сразу, не ужиная, сел листать-проверять, купленное. И попал: в «Затерянных в океане» — типографский брак. Тридцать две страницы повторяются, тридцати двух не хватает. Звоню к Мартенсу. Он говорит, неси назад, а я назад не хочу, а торгуюсь: брак есть брак. Ну, сколько-то он мне уступил. Такие спорные деньги надо забирать сразу. И я пошел на следующий вечер, забыв, что могу встретиться там с Олешей. И — встретился. И вместе с ним вышли от Мартенса. И прошли по Успенскому к Пушкинской, а после по булыжнику лет прошагали долго... Лет двадцать, а то и больше. Встречались — то часто, то редко. Говорили отрывисто. В смысле — то об одном слово, то о другом — два. Потом вклинился в эти разговоры уже в «Национале» Светлов, а чуть позже — Веня Рискин. Это со стороны Олеши, а с моей — Игорь Шаферан и Леня Дербенев уже позже. А потом с двух сторон — Николай Эрдман...

Внешне я Олешу описывать не стану, а приложу фото. К нему добавить почти нечего, разве что непримиримое выражение лица в скулах, в сжатости губ — непримиримость. Он всю жизнь прожил под самым наиморским флагом «Погибаю, но не сдаюсь». Он по душевной слабости и потрясающей твердости одновременно был не интеллигентом российским, а скорее — разночинцем, а еще точней был он из породы добрых разбойников, рассказывающих похищенным детям волшебные сказки...

Мы пьем на улице Горького в кафе молочный коктейль. Пьем потому, что у него нет денег, а у меня есть. Когда б мы встретились в «Национале», проблем бы не было, он ел бы все, что я закажу, но мы увиделись на углу Художественного проезда, где Яншин уговаривал его пойти выпить. Он пошел со мной, чтоб отвязаться от Яншина. Он мне тогда рассказал, что Яншин где-то когда-то отказался то ли играть в его «Толстяках», то ли — ставить их, то ли что-то еще, но факт — Олеша был смертельно обижен на Яншина. И еще на сто миллионов человек. Но обижался он не на людей, а на человечество, точней, вспоминал о своих обидах, если встречался с тем или иным человеком лицом к лицу. А просто так, один на один, любил все и всех.

Мы едим судак по-польски: он облит растопленным сливочным маслом, в него покрошен крутой желток и обложен он вареной белой картошкой. Олеша сначала съедает подливку с картошкой и желтком, вытирает тарелку хлебом и лишь потом, прицелившись вилкой в судака, восклицает: «Мы с тобой братья по обстоятельствам! Ты попал на крючок из-за того, что хотел есть и был любопытен. Я попадаю на крючок тоже только по этим причинам. Сейчас я съем тебя, а завтра кто-то съест меня!..», — он смотрел на меня в упор и говорил грустно: «Я всегда все неприятное откладываю на завтра, а ведь завтра так близко», — он смотрел на часы, висящие против нас, и добавлял еще грустней: «Завтра на час двадцать ближе, чем сегодня...».

Мы сидим в кабинете директора театра драмы и комедии на Таганке (нынче — Театр на Таганке) Александра Зиновьевича Богатырева. Он пьян и огорчен. Они с Олешей беззлобно спорят. Олеша говорит, что Богатырев пьян оттого, что огорчен, а огорчен оттого, что пьян. Богатырев утверждает, что это все чушь и что он огорчен и пьян оттого, что театр горит. Тогда Олеша говорит: «Оттого, что горит плохой театр не надо огорчаться и пить, а надо радоваться и пить». Богатырев возмущается: «Огорчаться — пить, радоваться — пить? Как это так?!». На что Олеша отвечает: «Саша, пить надо при любых обстоятельствах. Когда люди пьют при любых обстоятельствах, они делаются терпимыми и вообще при любых обстоятельствах

пьют только хорошие и плохие люди...». Богатырев задумывается, чуть трезвеет и спрашивает Олешу: «Что ты имеешь в виду?». «То, что сказал». «Но ты сказал, что при любых обстоятельствах пьют только хорошие и плохие люди, но ведь человечество делится на плохих и хороших, а что означает твое «только»?. Юрий Карлович смотрит с жалостью на здоровенного Богатырева: «Если жить без парадоксов, можно повеситься. Парадоксы — кислород. Ими нельзя дышать, без них нельзя дышать. А не пойти ли нам выпить по этому поводу? За парадоксы, ибо каждый из нас на этой доброй земле с непропитой двадцаткой в кармане — парадокс».

Юрий Карлович никогда не говорил о дневнике, который стал книгой «Ни дня без строчки»: но, видимо, он думал об этой будущей книге всегда. И оттого старался говорить остро. Фразы для записей он, думаю, отбирал из разговоров. Он мог вдруг остановиться и сказать: «Невеселый, это — грустный, верно?». Или: «Оскомина — хорошее слово еще и потому, что чуть-чуть непонятное». Как-то в «Национале»: «Самое высокое в человеке — оставаться добрым, когда ему плохо. Быть добрым, когда хорошо — тоже трудно, но быть добрым, когда плохо — подвиг, впрочем, быть добрым — не быть злым, а это, увы, невероятно, несбыточно, неправдоподобно».

Я мог бы о нем вспоминать без конца, что значило бы написать новую, но менее интересную, вторую «Ни дня без строчки», а это никому не нужно. Олеша сломался рано, верней, его сломали рано, но он жил сломанным и оставался добрым. Он любил больше всего на свете Слово. Он мог взять одно какое-то слово и провести с ним весь вечер. Как с любимой женщиной. Я написал песню. Музыку на нее написал Полад Бюль-Бюль Оглы. Слова этой песни попали в какой-то сборник Академии наук. Сборник о русском языке или по русскому языку. Он вышел перед самой моей эмиграцией. Я не успел его купить, после было не до него, а сейчас не могу названия вспомнить. Я написал песню о словах. Она называлась «Живые слова» и я, когда писал ее, думал об Юрие Карловиче Олеше.

Вот первый куплет:

« Для меня слова не буквы и не звуки.
Я беру слова живые прямо в руки:
Я их трогаю и глажу, разбираю их и даже
Потихоньку их пою...»

Примерно так, но еще нежнее, вдумчивее и любовнее обращался со словом автор «Зависти»...

* * *

Когда в Москве рушили храмы, я был мальчиком и ничего не понимал. После — понял. А вот, когда партия добралась до Арбата, был я взрослым. И возникли у меня щемящие ассоциации: рушат Арбат — рушат старую русскую интеллигенцию. Точнее, не рушат, ибо обрушил ее еще Сталин, а выгребают обломки...

«...Вы, хамы, обезглавив храмы
Своей же собственной страны,
Вступили в Общество охраны
Великорусской старины...»

Это написал Александр Межиров, но он и в самую оттепель отказывался от этих строк, а Москву любил...

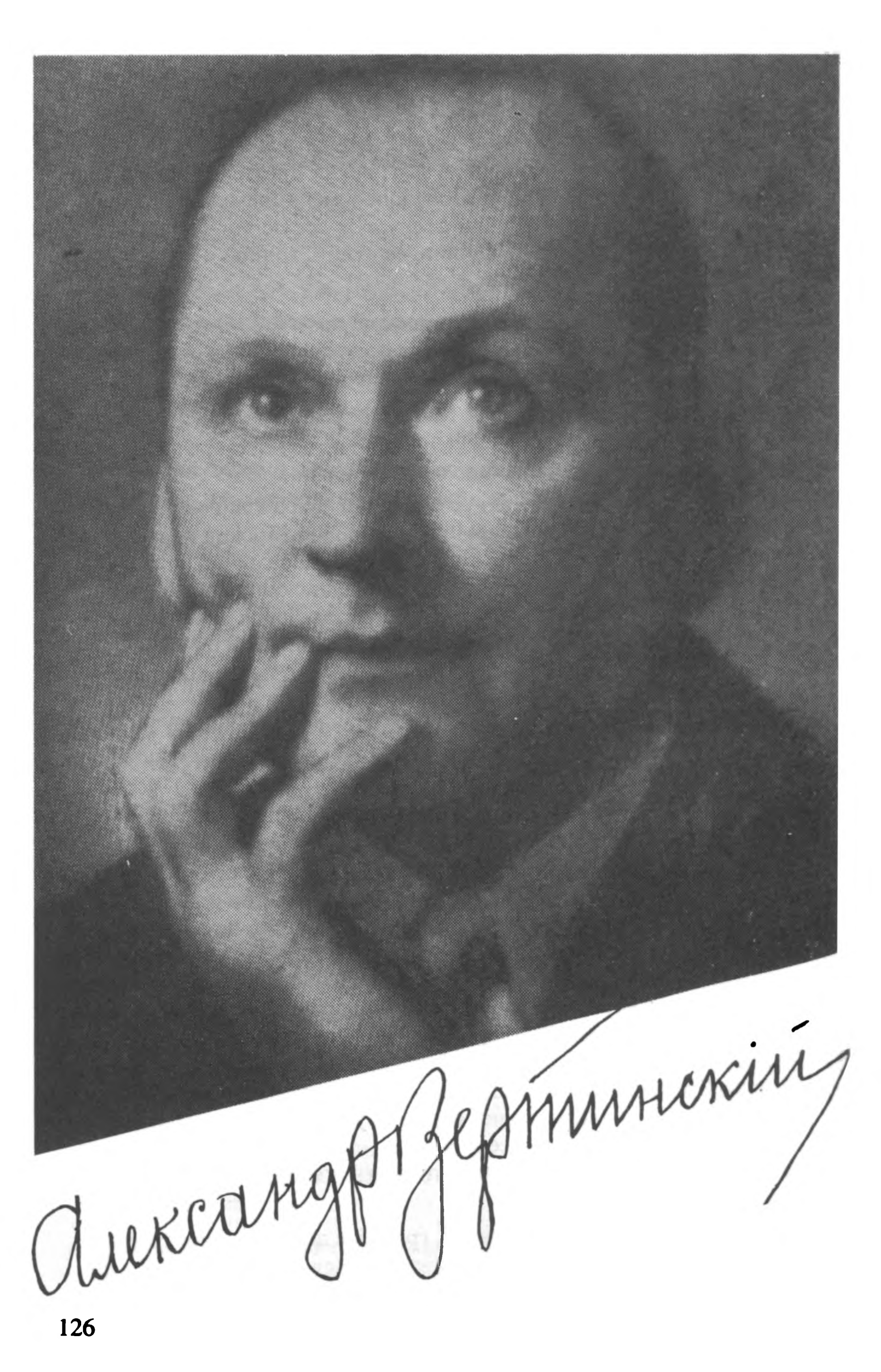
Вообще, то, что делали с Москвой, отражало жизнь страны. Даже и не жизнь, а смерть. Дворянскую Москву не рушили, она сама стаяла и сгинула; православная местами устояла по законам потемкинской деревни, а вот мещанская, словно взахлеб ждала она этот сраный социализм, махрово расцвела, приумножив себя бессчетно... Сорнякам и ночь не в ночь...

А мне — подавай Солянку, Лубянку, Кузнецкий, Сретенку и, конечно, Арбат с «Собачьей площадкой».

И спасибо Булату за песенки об Арбате. И спасибо Володе, он тоже — воздал, но по-своему: «Жил я с матерью и с батей на Арбате, здесь бы так, а теперь я в медсанбате на кровати весь в бинтах...». Володя этим «батей» втащил Арбат в сегодня, где, как после кроволития, — имя да эхо...

Два льва — предчувствуют у серого дома ад, ставший чистилищем в Военной прокуратуре. Там реабилитации несколько лет раздавали. Правда, больше — посмертные. Сейчас двух львов вместе с тем домом обрушили, а вот выдали ли львам реабилитации, не знаю; правда, Арбату — нет: наоборот, именно в те реабилитационные годы его и порешили снести, и тем под корень рубанули остатки великой и малой российской интеллектуальной элиты московского разлива. И выстроили новый Арбат, уродливый, недоношенный, заселенный маршалами и рождественскими. Они дышат Арбатом без пользы. И — не удивительно: необъятную Россию сноси, не сноси — она Россия, а Арбат все ж-таки — улица, переулки-закоулки, люди-людишки — и нет у всего этого силенок противостоять времени...

На Старом Арбате, бывает, грибные дождички воскрешают старину — на минутку, коли зажмуриться и погрузиться в пучину памяти... Еще с десяток деревьев по углам арбатским оста-


Александр Вертинскій

лось с тех проклятых, золотых времен: развесистые клены, одряхлевшие тополя, и помню за старой станцией метро, ближе к кинотеатру — разлапистый, молчаливый, угрюмый дуб...

И кто только не жил на Старом Арбате даже и при Сталине?! Был он цитаделью непосаженной интеллигенции, а я про него написал эти строчки, как предисловие к рассказу о человеке...

Апрель тысяча девятьсот пятьдесят шестого года — убеждают: пятьдесят седьмого, а не пятьдесят шестого, а у меня врубилась шестерка, хоть убей.

Вызывает меня в начале апреля директор Мосэстрады Николай Павлович Барзилович и спрашивает: «Как думаешь, мне тут звонил «Театр Киноактера» и предлагает взять их помещение на двадцать два дня. У них сборы плохие. Цена приемлемая. Возьмем?». «А кого давать будем? Давать некого». «Ну это — твоя головная боль, кого». И арендовали мы театр по-русски, то есть сделали дело, а после схватились думать: Райкин занят в своем театре в Питере, да и не хочет. Утесов — не тянет и стоит дорого. Рознер — мертвое дело. Шульженко — согласится дня на три, а после эти три дня десять раз отменит по поводу менструаций, которые у нее, в связи с характером, случаются по двадцать раз в месяц. Нет, хоть волком вой — приглашать некого. В другой стране просто: позвони, скажем, в Париж мистеру Катокриксу, мы с Барзиловичем его отлично знаем, ибо в те годы он по пять раз в году ездил в Москву «за товаром», и скажи ему: «Нужен нам гастролер и платим нормальными деньгами, а не липой, и что охотня взяли бы мы Пиаф, Монтана или Азнавура...». Но не с нашим свиным рылом звонить в Париж. В Париж звонят лишь «Небожители»...

Я звоню одной милой женщине и прошу ее подарить мне вечер: чай, коньяк, разговоры в новом доме старого арбатского переулка. Маленькая ее дочка пойдет спать, а мы станем с ней перебирать бережно слова. Это ли не занятие, уметь разговаривать... Ведь мы на себя не обращаем внимания: век страшный, люди больше не разговаривают, а спешат, перебивают друг друга, норовят поскорей сделать дело и гулять смело, а разговор? Это ж скрипичная пьеса, и в аккомпанементе — рояль. Разговор — не стрельба в тире. Душа — цель. Хотя и не мишень...

Малиново дует в окна Арбат старинной свежестью, на низком столике — чай, крохотные рюмки коньяка, блюдечко с нарезанными лимонными дольками, а в окне, отрезанная крышей соседнего дома, апельсиновая долька луны... Полулежишь на тахте в гостях у милой-милой женщины и звонишь актерам, пока она

носит в кухню чашечки-блюдечки. «Алло, Марк, здорово! Скажи, ты бы выдержал без антуража двадцать два концерта в Театре Киноактера, чтоб ни разу не считать пульс? Нет? Я так и думал. Ладно. Я перезвоню». Он знает: я не перезвоню по этому поводу, потому что Бернес не вытянет двадцать два аншлага. Он еще не закатен, но уже не зенитен.

Я ломаю голову, а милая женщина все понимает. Она — одна на сто миллионов, которая понимает абсолютно все на белом свете, не понимая ничего. По-моему, это и есть настоящая женщина. Мы с ней когда-то, сто лет назад, любили друг друга три года, а после — все, но осталась дружба... Или — это не дружба, а нечто более неотрывное. Можно ли разорвать внутри суток хоть миг? День был жарким и вечер душен: ночь — духота пополам с прохладой, утро в юной свежести таит вчерашний день... Так — жизнь, так — любовь, но это — не математическая и философическая взаимосвязанность, а всякий раз — личное дело Вселенной...

Милая женщина говорит: «А если Вертинский?». Ах, я болван! Ах, я идиот! Конечно же, Александр Николаевич! Я хватаю трубку. К телефону подходит жена, Лиля, но и он — дома. И я напрашиваюсь в гости. Срочно. Сейчас. Это над рестораном ВТО, подъезд рядом с Елисеевским магазином...

Опять чай и коньяк — милая женщина, Вертинский — не водочная, а коньячная Москва. Мы быстро сговариваемся. Я же с ним работал. До Бареневского. Недолго, но работал. И расстались мы с ним в самых теплых отношениях. И вообще со всеми, кроме администратора Бареневского, он расставался в самых лучших отношениях. Он любил говорить, усмехаясь: «А что может быть лучше лучших отношений?»... Нынче он в Москве дома! Был мир, а стал дом в Москве, окольцованный бульваром, обнесенный Россией. Окончательный и бесповоротный дом.

В этот вечер Александр Николаевич жаловался на «своего администратора» Молотова, который его забросил. Вертинский — эгоист. Он не думает, что сейчас Молотову самому бы администратора, а был Вячеслав Михайлович уполномочен лично Сталиным сделать, чтобы у Вертинского и с Вертинским все было в порядке. Хорошенькая страна, а?! Чтобы с человеком в этой стране все было в норме, необходим второй деятель государства, дабы защитить человека от социалистической плановой стихии...

Александр Николаевич лезет в павловский секретер и, хитро поглядывая, протягивает мне два листа плотной бумаги. Сверху на каждом листе: «Министр иностранных дел СССР товарищ Вячеслав Михайлович Молотов». Или там было «В.М.», не

помню точно. Заголовок: «Репертуарный лист А.Н. Вертинского». В правом углу крохотный штамп секретариата, а ниже на двух листах с тройным интервалом напечатаны названия песен, разрешенных партией и правительством к исполнению. Их — около сорока и нет среди них многих моих любимых, и самого любимого, «Бразильского крейсера», нет. Под вторым листом личная подпись Молотова... И квартиру Вертинскому «организовал» Молотов. И — многое другое...

...В Волгоградской гостинице после концерта—это год пятьдесят пятый — мы ужинаем у него в «люксе». Бутерброды еще из Москвы; у нас Волгоград — первый город гастролей, и мы нынче прилетели. У него молодо сверкают глаза. И он все время смотрит на часы, а когда я слишком уж увлекаюсь коньяком, он останавливает меня королевским жестом: «Стоп!». Я понимаю: к нему придет гостья. Он приглашает только юных девочек, чтоб было, как он говорит, «чуть-чуть больше восемнадцати, чуть-чуть меньше девятнадцати». Он не слишком любит Ильфа и Петрова, но повторяет то и дело диссонансную в его устах фразу Остапа: «Я чту уголовный кодекс»...

На гастролях, когда вечера пусты, он любит рассказывать. Нас в группе трое. Он, его пианист Миша Брохес и я. Мы собираемся в его номере, попиваем коньячок и слушаем: для нас в ржавой железной клетке СССР трели оттуда — волшебство, и мы не перестаем удивляться Александру Николаевичу — как мог он уехать оттуда сюда?! И мне понадобилось более двадцати лет, чтобы понять «Как?!». Я — кролик, а Россия — удав... Да, так мы смотрим Вертинскому в рот, а он прихлебывает коньяк и говорит, грассируя, причем его руки в жизни, как на сцене, — фантастичны, невероятны, неправдоподобны. Один короткий жест — только кисть, только пальцы, — и вот уже описан город, человек. Я не преувеличиваю. Я сравнил бы руку Вертинского со спиной Шаляпина. Или — Толубеева...

«...В Шанхае я работал в большом, ну, кабаре, что ли. Скажем, «Лотос». Со мной вместе, после меня и всю ночь выступал в том же «Лотосе» цыганский не хор, а хорик, а была там чудесная, прекрасная, очаровательная, бесподобная девочка по имени Раечка. Крошка лет пятнадцати. Я любовался ею и мечтал о ней. Грезы и слезы одолевали меня, когда я видел эту всемогущую беспомощность, эту хрупкую, прямую спинку, эти тонкие, ломкие ножки, эту изогнутую, лебединую шейку, державшую хорошенькую головку... Я строил планы и вдруг... вдруг весь хор был посажен в кутузку, так как кто-то из них украл серебро... Прошло месяцев шесть. Иду я как-то по улице и вижу — навстречу мне идет невинная Раечка. И, о ужас! Она — беременна... И я, глядя на нее, сказал себе: «Насрали в душу»...

Это грубое «насрали в душу» в его изложении, в его интонациях было легким, не оскорбительным и чуть грустным: вот была же у человека хрупкая мечта, а на нее — каблуком...

Двадцать два концерта прошли с аншлагами. Словно Москва поняла, что это не гастроли, а — прощание. В фойе театра Киноактера я впервые увидел столько русской старой интеллигенции сразу. Это был булгаковский финал: в фойе — бал при свечах, вальс — необычный, а в тихом шажке, рука об руку: духи летучие из прошлого с ладаном перемешанные. Слова нерусские на русском языке: какие-то милостивые государыни и государи, и тянет по фойе апрельским снегом и последними, гаснущими астрами, а пары шажком-шажком тихо живут назад, молодея лишь выцветшими глазами...

—Ах, Екатерина Ивановна, голубушка, вы ли это? А Петято, Петя, Боже мой, а помните. — А я вас не видела, дай Бог памяти, сорок, нет, сорок три года. Да, да, конечно, конечно, мы все меняемся. Движение — всегда старение. Что, глаза! Ах, да что вы, дорогой мой человек, какие уж там глаза, вот Вертинский — хорош. Строен и подумать только — через страшную гиблую пропасть мало что себя нам возвратил, но и молодости частичку возвратил. Пусть и на миг чудесный... И вот встретились же и мы с вами, а могли... Не могли? Да, не могли, не могли...

Фойэ на концертах Вертинского, хоть и конец апреля, хоть и начало мая — новогоднее — седина снегом на опушке, и прошлое снегом в степи, а русская интеллигенция на последнем прощальном вечере: вальс, вальс, вальс — отпускной бал, отмучавшихся и уставших, переживших, отсидевших и выпущенных — вальс, вальс, вальс... Скрипки по верхним нотам карабкаются ввысь, в поднебесье, черт, хочется плакать, глядя на этих тихих и безобидных зажигателей фейерверков и поджигателей планет, на эту российскую интеллигенцию, дьявол ее забери, прекрасную, чистую, порядочную и такую гремучую...

После антракта усаживаются и когда воцаряется тишина, балконы, бель-этаж, партер и ложи начинают тихонько вальсировать... «Амурские волны»? «На сопках Манчьжурии»? Нет, это Штраус, Рихард Штраус, и не вальс это вовсе, не вальс, не вальс, не вальс...

«Молотовский репертуарный лист» на последних концертах полетел в тартарары. Вертинский пел по заказам зрителей, и я заказал ему на каждый концерт «Бразильский крейсер»: «Вы оделись вечером кисейно, и в саду сидите у бассейна, наблюдая как лунеет мрамор...».

Я каждый вечер мотался в антрактах по фойэ и глазел, глазел и чуть не плакал. Некоторых зрителей примечал. Они приходили по несколько раз, а потом вдруг кого-то из них не обна-

ружив, я испуганно метался и думал: «Они ж такие русские-русские, такие старенькие-старенькие и вдруг..?». Сжималось сердце, как во время ухода осени, но на новую осень был шанс, а на ту Россию шанса больше не было ни у кого... И у самой России...

...В жухлых травах на арбатских пустырях гасла эта российская звездная пыль. Было горько, горше полыни звучала молодость серебряного века: «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Я — маленькая балерина», «Ведь это где-то лето унесло в мечту», «То не ветер в степи молдаванской»...

Когда Александра Николаевича спрашивали: «Это правда, что вас Сталин пустил назад за вагон медикаментов?», Вертинский и при жизни Сталина и после его смерти говорил: «За вагон медикаментов? Нет, Сталин был неподкупен до такой степени, а за Россию вагон медикаментов маловато, батенька. Или — страшно много. Как считать, как считать, дорогуша...».

На двадцать втором концерте было полно. Вспоминая похороны Пастернака, слушая рассказы о похоронах Высоцкого, я думаю: тот последний концерт Вертинского — прощание России с великим актером, поэтом, композитором, бардом. Не он ли русский предтеча Окуджавы, Высоцкого, Галича? Он!

В тот день после последнего концерта я провожал Александра Николаевича вместе с его женой Лилей Владимировной и с Мишей Брохесом. В Петербурге было намечено несколько концертов, один — в доме ветеранов сцены. Первый петербургский вечер,-последний петербургский вечер... Вертинский был гостем местного дома работников искусств. Просматривали плохой фильм «Дон Кихот» с Николаем Черкасовым и с гениальным Толубеевым. Роль герцогини сыграла Лиля Владимировна — Лиля, жена Вертинского. Ей-то с эдаким мужем роль герцогини была, как влитая...

После просмотра пешком дошли до Астории, в ресторане выпили коньяка по рюмке. Поднялись в номер, а в комнатах — жара, хотя на улице прекрасная весенняя петербургская ночь в зачатьи... Александр Николаевич сел в кресло, стянул одну штанину и вдруг почувствовал себя плохо... Успел шепнуть своему администратору, моему многолетнему товарищу, нынче живущему в Нью-Йорке, Абраше Рыкинглазу: «Абрам...там ...стол...-нитро...». И — все...

Ему было много лет, но что такое много лет? Да, и не бывает много лет для жизни. Много лет бывает после смерти...

Провожал я в Питер живого Вертинского, а встретил — в гробу. Гроб был в цветах. Отвезли Вертинского в театр Эстрады, а оттуда — на Новодевичье кладбище. Для захоронения это у вождей — самое почетное место, после Красной пло-

щади. Однако, сам Александр Николаевич выбрал бы Ваганьковку, потому что был дотошен и всегда интересовался, когда звали его в гости: «Кто будет, с кем посадите?». Любил хорошую компанию, а с Новодевичьего, кроме Чехова, Гоголя, да еще нескольких человек, всех повыбрасывали, а на место выброшенных — вождей, тех, кто Россию обрушил...

Спустя месяц я пришел к нему домой. На улице Горького такой знакомый, старомосковский, уютный темноватый подъезд, лифт, пятый этаж... Две длинноногих красавицы-доченьки, Настя и Марианна, мама — «овдовевшая герцогиня»... Большая, роскошная по тем временам квартира, набитая дорогой мебелью, пуста. И теперь уже — навсегда пуста...

Жизнь легко заделывает бреши, пробитые смертью. Однако в каждой стране, в каждом столетьи случаются бреши, которые не заделать, и это прекрасно, ибо они, эти бреши, открывают небо в созвездиях... Гляди-ка, гляди-ка, друг мой, над Россией сияет созвездие «Барды»... Вертинский, Высоцкий, Галич... Гляди, друг мой, гляди и слушай...

* * *

«Все хорошо, что хорошо кончается!»

Можно, конечно, думать и так. А можно — иначе, хотя бы потому, что никто не знает, что — конец, а что — начало...

Когда профессора, доктора медицинских наук, Льва Исааковича Дунаевского выпустили с Лубянки, была ночь. Часа три утра было. Вниз по Кузнецкому мосту клубился синеватый туман. Несмотря на то, что это — Лубянка и МГБ — вокруг фонарей не было. Правильней было бы идти домой по Сретенке, но он пошел вниз по Кузнецкому. Он шел и думал о том, что случилось. Он не знал, почему его арестовали, не знал, кого еще арестовали и уж, конечно, не знал, почему и зачем его выпустили. Знал он только, что так хорошо, как с ним, не обращались в кегебешной тюрьме, наверное, ни с кем. Его вкусно кормили, ему давали любые книги, он лежал, когда хотел, и лишь одна неприятная история с ним приключилась на вторую ночь после ареста. Да и то, знай он какие неприятные вещи случились с его друзьями Виноградовым, Вовси и многими другими, он не посчитал бы происшедшее с ним неприятной историей. Скорее, он посчитал бы это чудом.

Он спал на кровати, накрытой застиранной простыней. И у него была подушка: два его двоюродных брата сидели на Лубянке и сгинули, но третий в сорок пятом — вернулся. Не из тюрьмы, а с фронта. Он и рассказал Льву Исааковичу, что такое советские тюрьмы и лагеря. Был и еще один близкий

профессору человек, который все это прошел и успел рассказать Льву Исааковичу, почем стал фунт лиха на Руси. В тысяча девятьсот сорок седьмом году взяли их обоих, и они пропали без вести. Так что профессору было чему удивляться. Так вот, он спал. И его разбудили. Очень вежливо потолкали в плечо. Лев Исаакович вскочил и угодил прямо из сна в омут жуткого сердцебиения.

Его вели — и не коридорами, а лабиринтами — бесконечно долго. Потом он и его сопровождающий попали в нормальный коридор нормального учреждения. Двери под дуб. Широкая, красная с черным, ковровая тропинка. Мягкие скамьи-диваны по стенам между дверей, бело-желтые шары света высоко, под потолком.

Они прошли весь коридор и там, где казался упор, оказался поворот, а упор сразу же за поворотом — огромной двустворчатой дверью. Сопровождавший его, не вымолвивший и двух слов, молча указал ему на дверь. Лев Исаакович не решился схватить тяжелую бронзовую ручку. Он беспомощно поглядел на молчаливого лейтенанта. Тот открыл дверь.

За столом сидел упитанный человек с идеально безликим лицом. Возможно, поэтому, только уже усевшись напротив человека, Лев Исаакович не то, чтобы узнал его, но ему показалось, что они где-то встречались. Но где? И, словно отвечая на вопрос, неизвестный сказал тихо и отчетливо, и как ни странно, в его голосе послышалась Льву Исааковичу доброта, но это, конечно же, оказалось не добротой, а благодарностью. Но и это — много для подобного учреждения.

— Здравствуйте, Лев Исаакович, — сказал человек. Он и по сегодняшний день остался для профессора человеком без фамилии. Но профессор вспомнил, сидя у него в кабинете посреди ночи, что он спас жизнь его дочери. В самом прямом смысле—спас жизнь. И настала ночь возвращения долгов. Может, кто и не поверит, но и в том учреждении кое-кто отдавал долги. У Дунаевского дважды случилось, что вспомнили и долги отдали, а это был — первый раз.

— Лев Исаакович, — сказал человек, — моя Танюшка жива и здорова. И мы всей семьей молимся за вас, Лев Исаакович. Во имя этого вы — здесь. Вы можете мне не верить, но коли не поверите, — пропали вы. Я — ваш последний шанс. У меня к вам совет: подпишите все, что я вам сейчас предложу, не читая. Подписать — это попытаться спасти жизнь. Не подписать — погибнуть наверняка. Такова нынешняя ситуация. Все, что сейчас происходит, дело рук не нашего учреждения, иначе вас бы здесь не было.

Человек вынул из стола тонкую пачечку отпечатанных ли-

стиков и продвинул ее по полированному ореху к профессору, а профессор — маленький, седенький — еле-еле дотянулся своими, такими с вида обыкновенными руками до пачечки, ибо был он маленького роста, а кресло, в котором сидел — было глубоким. Профессор достал из верхнего пиджачного кармана очки — уже это одно, что оставили ему очки, должно было его успокоить, уверить, что человек говорит правду, ибо очки на Лубянке отнимали в первую очередь — хотел прочитать, а потом вспомнил Танюшку, рыжую, веснушчатую, зеленоглазую, непохожую на отца и очень похожую на отца, мухнул рукой, встал, чтобы дотянуться до ручки, взял ручку и, не читая, подписал каждый листок.

Вскоре его выпустили.

Сейчас он шел по ночной Москве, сверху, со Сретенки, вниз по Кузнецкому. Небо было беззвездным и, несмотря на синеву, бездонным. Вокруг — ни людей, ни машин. После он узнал, что в эту ночь из разных мест и подъездов Лубянки выпустили всех посаженных врачей. Некоторые, как и он, шли пешком, других — отвезли: они не могли идти.

Лев Исаакович был рад тому, что идет пешком. Он не хотел приходить домой ночью, а хотел скорее — в больницу. Поэтому поймал такси и назвал адрес: Басманная больница на Ново-Басманной. Шофер больницу знал. Они попали в «зеленую улицу» на Садовом кольце, у министерства путей сообщения свернули влево и под горку прямо скатились к больнице, на полной скорости, миновав Гослитиздат, где работал друг Льва Исааковича — Котов.

Лев Исаакович зашел во двор больницы.

Все, описанное выше, я узнал из уст профессора Дунаевского. Я имею в виду «все», что произошло до, а в четыре часа утра или около того я, страдая от бессоницы и от болей, бродил по весеннему рассвету, закутавшись в два дырявых халата — больница «Басманка» была и осталась городской, и в ней были и есть по сей день дырявые халаты, дырявые простыни, дырявые холодные одеяла и удушающий, как иприт, тяжелый и ощутимый на вкус и цвет запах урологического отделения. Я бродил по двору, согнувшись в три погибели и вдруг в оттаивающей ночи увидел знакомый силуэт дорогого моего доктора, профессора Льва Исааковича, и хоть в газетах его имени как отравителя не было, — спасибо все той же рыжей Танюшке — но все мы знали, что Лев Исаакович там, откуда не выходят. И вдруг — он!

Я побежал к нему навстречу. Между нами были родственные отношения. Он так меня жалел, с этой моей почкой, что чуть не погубил, тянул три года, откладывая операцию, надеясь на стрептомицин и чудо. У меня в одной почке

было два диагноза: оба — требующие удаления почки, но один оставлял надежду обойтись без операции, а второго он тогда не знал. Второй установили без него, когда он был уже на «том свете». И вот обнимает меня, вернувшийся с того света. У него все то же небольшое лицо, испещренное морщинами, светлые небольшие очень добрые глаза и неизменная «Беломорина» в зубах. И за «Беломорину» тоже спасибо рыжей Танюшке. И за то, что, по-моему, единственного, не били его, все той же рыжей Танюшке — спасибо.

Он хотел чая. Умирал — так хотел чая. Тетя Ксения, его любимица, нянечка второго этажа, где лежали мужчины, была заядлой чаевницей. Как раз в эту ночь она дежурила. Она напоила его крепчайшим чаем, а пока она готовила чай, Лев Исаакович просматривал истории болезни. Человек пятнадцать лежали еще с тех времен, когда его взяли. Половину из них он прооперировал, а он принадлежал школе врачей, относящихся к своим больным, как к родственникам.

Напившись чаю и накурившись, он прилег на диван в своем крохотном кабинете. И начал рассказывать, как его взяли, а взяли его тоже не традиционно, а по-особому. Пришли в больницу часа в два, не шумели, не учиняли обыска ни в кабинете больничном, ни дома, тактично разговаривали. Не отнимали ни ремня, ни шнурков. Ничего не обрезали, только обыскали и забрали деньги, ключи, документы, точней, водительские права, папиросы и зажигалку, мой подарок. После, спустя минут тридцать, принесли несколько пачек «Беломора» и (!) спички...

Я не могу написать, рука не поворачивается написать, что тот человек, который помнил добро, был хорошим человеком. Но к профессору Дунаевскому он отнесся по-доброму, что, безусловно, не мешало ему быть убийцей. Ведь в те годы до такого кабинета можно было добраться только по трупам. Других путей — не было. Поэтому и благодарен за профессора рыжей Танюшке.

Но рассказ я начал не ради того, что написал, а ради того, что напишу. А напишу, что, если вы помните, вскорости после освобождения врачей министерство государственной безопасности и министерство внутренних дел объединили, и Берия стал министром, а в июле его расстреляли. И стал министром Сергей Николаевич Круглов, первый заместитель Берии, генерал-полковник.

Был август, и двор «Басманки» отцветал ярко. Начинался листопад. Двор — почти квадратный и от того, что его стискивают корпуса, в нем душно днем и ночью. И вот как-то в середине дня во двор въехала длинная машина, видимо, «ЗИЛ», или

был еще «ЗИС», и остановилась возле входа в приемный покой. Из машины вышли два молодых симпатичных человека и, никого ни о чем не спрашивая, прошли прямо к урологическому отделению — старому грязному трехэтажному кирпичному зданию. Молодые люди вошли в отделение и попросили нянечку, выдававшую халаты (а зимой принимавшую верхнюю одежду) сказать профессору, что его хотят видеть по важному делу. Молодые люди вели себя предельно вежливо. И тихо.

Нянечка прошла в кабинет профессора и доложила о пришельцах. Лев Исаакович, как правило, принимал всех. Особенно в дни, когда по утрам не было операций, и он не слишком уставал. Он сказал, что молодых людей надо пустить.

Им выдали по рваному, стираному-перестиранному халату, они откровенно брезгливо накинули их и прошли в кабинет. Войдя, предельно любезно представились по именам, а когда получили приглашение сесть, один из них сказал: «Лев Исаакович, мы из МВД...»

У меня, — рассказывал у себя дома мне и своей дочери Лев Исаакович, — давление поднялось до потолка, и я почувствовал себя дурно. Я встал, потом сел и потом повел себя вообще, как болван. Я начал на них буквально орать, по-моему, в первый раз в жизни, я орал, что у меня — больные, что у меня — дела, что у меня — семья, но все было напрасно. Мило улыбаясь, эти двое буквально выдавили меня из кабинета. Усадили в машину, и мы покатили. Мне, дураку, вспомнить бы, что я лет пятнадцать был консультантом в клинике МГБ, но я-то себе после того ареста зарок дал: туда — ни ногой, ни за какие коврижки. Конечно, больные есть больные, и все-таки те больные не могли быть для меня больными. Мне Вовси такого порассказывал про этих больных!..

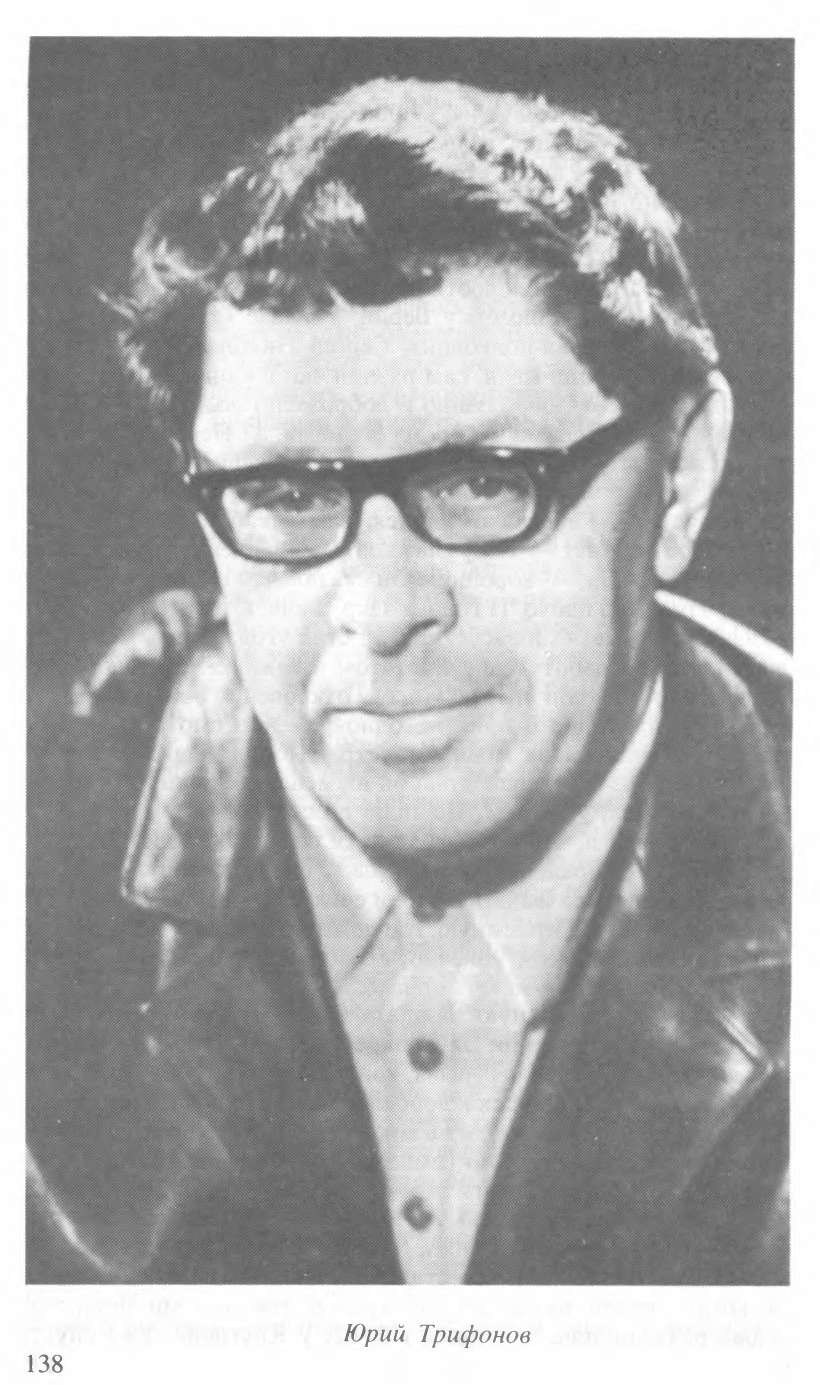
Приехали мы на площадь Дзержинского, машина обогнула площадь и подкатила к подъезду, что напротив площади. Вошли мы; вокруг всюду, кроме потолка — ковры, да какие! Нога в них тонет. Портрет Дзержинского. Ни Ленина, ни Маркса, ни Энгельса. Никого на стенах, кроме Дзержинского. На лифте бесшумно поднялись мы с молодыми людьми на третий или четвертый этаж. Выходим из лифта прямо не в холл, а в огромный зал. Тоже всюду ковры и чуть правее лифта огромная дубовая дверь. Гораздо больше той, за которой сидел Танин отец.

Вошли мы втроем в кабинет, минуя сидящего возле двери полковника. Да, я еще позабыл, что в подъезде, сразу и чуть глубже, у молодых людей проверили пропуска. И какую-то бумагу. То же произошло, когда мы вышли из лифта. Полковник привстал, кивнул только мне и уже ничего не проверял. Да, входим мы в кабинет, здоровый как полигон, и один из молодых

людей эдак неофициально докладывает, что, мол, Сергей Николаевич, доставили вам профессора Дунаевского, Льва Исааковича. Встал Сергей Николаевич, вполне крупный мужчина, на погонах три звезды больших, вышел из-за стола и пошел ко мне. Минут пять шел и все вдоль стола для совещаний. Он идет ко мне, а я, неизвестно почему, успокаиваюсь. Гляжу — на краю стола для совещаний чай накрыт на две персоны и несколько вазочек с печеньем разным и маленькими пирожными. Когда-то в Париже такие едал я во дни молодости. Представился генерал и оказался он бывшим первым замом у Берии, а нынче «сам с усам», министр МВД, генерал-полковник, Сергей Николаевич Круглов.

Генерал усадил меня, сам разлил чай в чашки, а после, поглядывая на меня добродушно и доброжелательно сказал: «Что же это вы, Лев Исаакович, брезгуете нами, а? Нехорошо». Я начал объяснять, что-де ни в коем случае и вообще не понимаю я, как это я могу ими пренебрегать, когда они, меня посадив, все же выпустили. Генерал оживился, захихикал и говорит: «Ну, кто старое помянет — тому глаз вон. Да и сидели вы, насколько мне докладывали, — хорошо!». Он сказал, что сидел я хорошо, а мне сразу стало плохо. И голова закружилась, и затошнило. Он, думаю, это заметил и засуетился, и стал уговаривать меня продолжать свою работу консультантом в клинике. Я начал говорить, что стар, но он уперся. И даже откровенно обиделся. И так мне было противно и приятно одновременно смотреть на всерьез обидевшегося на меня министра. Понял я, что кто-то на него давил. А может, поспорил он на меня, поставил, как на лошадь, что, мол, уговорит. Не знаю до сих пор в чем там было дело, но понял я, что сопротивляться сейчас бесполезно. И согласился. Он обрадованно засмеялся, смаху хлопнул меня по плечу и сказал, что жалеть о своем согласии я не буду. И, провожая из кабинета в приемную, где дожидались двое молодых порученцев, сказал, что, конечно, оговорился и понимает, что в тюрьме хорошо не бывает, однако...

Стали мне месячную зарплату консультанта привозить на дом. А прежде платили за конкретные консультации. Потом провел первую, после перерыва, консультацию, и мне заплатили за нее отдельно, приписав к довольно внушительной зарплате. Я знал, что и в «кремлевке», и во многих ведомственных клиниках специалистам платят и по семьдесят пять рублей за одну консультацию, а так как деньги это — немалые, проводили их в бухгалтериях, как «за вредность». На Колыме—вольнонаемным на рудниках—«за вредность» и нам, врачам в спецполиклиниках — «за вредность». Вот так я и остался консультантом поликлиники. А когда весной пятьдесят четвертого эти два министерства снова разъединили, я остался в МВД у Круглова. Уже спустя



Юрий Трифонов

год возник танюшкин отец и от имени генерал-полковника Серова, министра ГБ, звал меня к ним, но тут уж я наотрез отказался. Сослался на возраст, да и прямо сказал посланцу Серова, что хочу со всеми консультациями покончить. Раз и навсегда. До того осмелел, что прямо ему брякнул: кабы не моя деятельность консультанта в вашей поликлинике, меня бы сроду не тронули. Он посмотрел на меня, усмехнулся, крепко пожал руку и пошел. И хоть сделал он мне в жизни много, слава Богу, что больше я его не видел. Слава Богу...

* * *

«Другая жизнь» — название повести Юрия Трифонова, впервые напечатанной в «Новом Мире». Опубликована она была именно в этом журнале, по-моему, по двум причинам. Во-первых, потому, что была яркой, талантливой и цельной, а во-вторых, потому, что Трифонов и Трифоныч-Твардовский были соседями в Пахре. Дачными соседями, и частенько Трифонов заходил на дачу к Твардовскому.

А сейчас — немного о «другой жизни» самого Трифонова, скончавшегося в пятницу, двадцать седьмого марта тысяча девятьсот восемьдесят первого года оттого, что не выдержало сердце.

Трифонов был человеком сильным. В прямом и переносном смысле. А в Союзе писателей был он слоном в посудной лавке. Тут вспоминается мораль побасенки Агнивцева: «Коль ты есть слон, то не ходи в фарфоровые лавки».

Громоздкость, добротность и медлительность Трифонова сказывались не только внешне, но и в том, что он никак не вписывался в Союз писателей — эдакий здоровенный мужик в интеллигентских роговых очках. Не вписывалась и его многоэтажная, многослойная, скупословная проза, сделанная в стиле недописанности, говорящей все.

И была к тому же в нем для Союза писателей и прочих — взрывоопасность, ибо в этом снаряде был нервом обнажен заряд памяти. Трифонов помнил все: и гибель, а точней и проще — убийство отца, арест матери, атмосферу «Дома на набережной» — Дома правительства на Берсеневке Москвы-реки. И камуфляж «Дома» — слева от реки по фасаду кинотеатр «Ударник», где шли чаплинские фильмы, справа — «Первый детский кинотеатр», где шел «Джульбарс», а за Чаплиным и Джульбарсом — население «Дома», состоящее пополам из жертв и палачей. Потом почти все палачи оказались жертвами, — подводя итоги, которые никто не подвел.

Память этого тихого, непокладистого и упрямого человека



Олег Ефремов и Иннокентий Смоктуновский. Сцена из фильма «Берегись автомобиля» режиссера Э. Рязанова



была феноменальной. Видимо, именно его память и «повинна» в том, что он умел в ней, как в урановом котле, делить глобальности на мельчайшие частицы, воссоздающие эпоху.

В «Другой жизни» он написал: «Мысли о смерти были гораздо легче памяти...». Здесь — простреленность, оставшаяся навсегда.

В Трифонове жили память и правда, как синонимы. Он, наглядевшись смолоду на крушение своего мира, называвшееся в его юное время — тоже борьбой за правду и взывавшее к памяти, остался памятливым до смерти. И не простившим — до смерти...

Когда его кромсали на операционном столе, кромсали и его последнюю вещь — не на редакторском, а на цековском столе. В одно и то же время, но в разных местах кромсали. Может, оттого и звучит провидчески «Время и место» — название его последней книги.

Он был ленив на все, кроме чувств и писания. Однако, не поленился, сходил на почту и прислал сюда в Нью-Йорк, сразу, как вышел, «Дом на набережной». В варианте журнала «Дружба народов». На бандероли — его рука. Сам отправлял, значит, — из области чувств отправка.

В период «Дома на набережной» он рушил свою жизнь. Впервые — сам. Уходил от той, кому посвятил «Другую жизнь». И опять нечто провидческое в названии. И посвятил он, по-своему лаконично, «Алле», а я допишу: «Алле Пастуховой, русской красавице, краснощекой по-деревенски, блондинке, умнице, редактору, любившему работать с Окуджавой. И с Трифоновым». Помогала ему, жила на улице Лизы Чайкиной, совсем по-соседству от писательских домов и по-соседству с Ленинградским проспектом, где продолжал жить Юрий Трифонов после смерти первой жены Нины Неллиной, певицы Большого театра, которая умерла совсем нестарой. Жил там с дочерью Олей.

Он был замкнутым человеком. Раскрывался трудно и никогда — до конца. У него на каждый этап было жизни мало идей. Ими он и обходился.

Договорился с последней женой, что издадут последнюю его рукопись в «пристойном виде», издадут под его именем, а ведь как он ненавидел редакторские переделки. «Корни вещи стригут, как ногти», — говорил он Льву Гинзбургу, одному из самых близких своих друзей.

Юра всегда «жил в другой жизни». В той, которая за спиной. Писателю это помогало, человеку — мешало. Но так как творили оба, то другая жизнь вдохновляла обоих на память, на честность, но и на компромиссы. Правда, компромиссы Трифо-

нова, в том числе и творческие, далеки от запретной черты, его нельзя было уговорить на подлость, на бесчестность — нельзя, и это знали в ЦК КПСС. Поэтому, дабы избежать трудных конфликтов, к нему, по-моему, почти никогда не приставали. А вот письма в защиту гонимых он подписывал. Не всегда, что тоже было не убеждением, а компромиссом.

Он был шахматистом. И — книжником. И заядлым футбольным болельщиком.

Мы с ним были приятелями с тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. И десятки раз ездили в Ленинград за старыми книгами. И пили чай у Левы Гинзбурга на Сретенке. И играли в шахматы...

Вспоминаю один разговор, случившийся, когда я еще и не помышлял об эмиграции. Мы сидели вечером вдвоем на улице Лизы Чайкиной, в квартире у Аллы — ее дома не было, она у Окуджавы работала — и пили. Сперва молча. После он меня ругал, говорил, как мне не стыдно писать тексты песен, эту пошлятину, а после от случайной фразы завязался не разговор, а монолог Юры о честности. Путаный, но, думаю, интересный.

— Долматовский — негодяй!

Я рассказал, как Долматовский в театре Эстрады орал, что Солженицын — литературный подонок и власовец. Тогда я и услышал впервые о Солженицыне — «власовец». Может, Долматовский и пустил это в оборот.

Трифонов говорил очень просто. Писал длинными периодами, многопланово, а говорил скупо. Даже и по пьяни. А выпил он в тот раз много. Лет за двадцать я его пьяным не видел ни разу. Только говорил еще тише. И слова делались тяжелей...

— Долматовский не виноват. Жизнь — не твои песенки, в которых нет ничего. Жизнь — это трудно. В нашей стране жить и не вилять — невозможно. При царях — и то виляли. Ведь цари русские! Вот Володька* написал «Все относительно». Песенка. И — неумная, хотя у него песни умные. А иногда — молитвы. В некоторых его песнях есть библейское, только язык современнейший. А «Все относительно» — глупо. Ничего в СССР нет относительного. ...А какие у нас абстракции! Кандинский, наверно. И Хлебников. И поэзия великая. И музыка. И балет. Россия может создавать гениальное только под прессом. Честность — единственное, что не поддается в России прессовке. Оттого — все бесчестно, а что честно, то мимолетно, мгновенно. А Долматовский мягкий, как... Воевал, бывал на передовой, десятки и сотни раз, рисковал жизнью. Это не он, а недруги его о нем рассказывали. А после войны утратил все. А потом: он-то считает

---

* Высоцкий

себя поэтом большим. И кроме благ, может, думает, что стоит его поэзия нескольких подлостей. Выкормыши сталинские, они приучены как? Прежде всего — предательство, а «сделал дело — гуляй смело». Его квартира интересует. Сейчас он живет где? На Фрунзенской, а хочет на проспект Калинина. И получит.

Вообще быть честным — глупо. Вот быть честным конкретно, по поводу — это да. Солженицын честный во имя своих книг. А торгуй он гарнитурами? Был бы честным? А я? Это все звучит, вроде, цинично, да? А правда!

Вот ты знаешь мою слабость? Любовь к дочке Оле. Так я, со всей моей принципиальностью, блат в гастрономе завел. Деликатесы ей хожу покупать. Пораньше с утречка попишу пару часов — и в магазин. Клавдия Васильевна там, заместитель директора. Она мне вырезку, я ей — улыбаюсь. И автограф. Тоже ведь нечестно — вырезку и крабы в наше время жрать. Купленные по блату, без очереди. Конечно, это мелочь. В России честность нужна по большому счету, по главному счету. А по мелочи?

Вон у меня два сценария зарубили. Из-за мелкой, никому ненужной честности. Все решили: какой я честный, кучу денег потерял, а не сдался. А я, между нами, не честный, а дурак. Кабы лечь на амбразуру и телом всю эту гнусность прикрыть — честно. А подставлять себя под одну пулю в стране, где делают в неделю миллиарды пуль — глупо!

Честности везде не хватает. Уверен, на Западе тоже. Честность — товар неходовой и ненужный. Ее надо противопоставлять силе, но силе честность противопоставлять глупо. Сила любую честность сломит. Любую, кроме готовой на все...

Ну, ладно, давай выпьем. Просто я сегодня злой. Я таким бываю по утрам. А сейчас ночь. И можно лечь спать. В России интересно бодрствовать, а спать — лучше. Веселей... Я в Пахре либо сплю, либо пишу. А бодрствую только у соседа, Твардовского...

Это я запомнил из того разговора. Что-то забыл, а это — врубилось. До запятой. И в этом, я уверен, очень много его «я». Очень много. И разделение: писать и бодрствовать.

* * *

Чтобы рассказать немного об Алле Пугачевой я должен вернуться чуть назад, скажем, лет на двадцать... Сейчас в Нью-Йорке живет мой приятель, Саша Лившиц, медик, ставший артистом. Были у нас в жизни истории и нечто вроде дружбы, а может, у таких как мы с ним людей, это и была дружба? Черт



Альфред Тульчинский

Алла Пугачева на репетиции,
у рояля — Павел Слободкин

его знает, но вот встретились мы в Нью-Йорке, разговорились, начали вспоминать: тары-бары, растобары и добрались до Аллочки Пугачевой, рыжей девчонки, которой было пятнадцать с половиной лет, когда я впервые познакомился с ней в Каретном ряду, где пианист-композитор Левон Мерабов снимал комнату. Мне казалось, что Аллу «открыл» я, а Саша мне напомнил, что — они с Левенбуком. Ну, Бог с ними, они так они, зато их вывел на орбиту я, простите за саморекламу. Короче, познакомились мы с Аллой лет двадцать назад. Первые впечатления — талантлива, самобытна, шизофренична (а кто нынче — нет?) и музыкальна до чертиков. А темперамент потрясающий был даже тогда. Хотя она и стеснялась. Нет, и тогда — не стеснялась. Спела она мне песенку, новую, написанную для нее Мишей Таничем и Левоном Мерабовым. Песенка называлась «Робот, ты же был человеком». Алла записала «Робота» на радио. Сколько-то времени пропела она в группе Лившица-Левенбука, а после сгинула. И взошла снова через несколько лет...

Почему я о ней пишу? Ну, не потому, что она сейчас самая популярная артистка в СССР. А потому, что она единственная женщина и единственная артистка в СССР, которая — свободна. И это не слова. Это — правда. Она не пользуется свободой, чтобы бороться по-диссидентски, но она делает то, чего диссиденты не далают: говорит вслух, что думает, и ей это разрешают, скрепя сердце. Это и есть ее великая победа — получить право говорить со сцены в зал. Она, например, объявляет перед какой-то песней: «Я знаю, многие считают — я плохо и по-западному причесана, а иногда — вообще не причесана. И что я одеваюсь то небрежно, то еще как-то, не в вашем вкусе, и, оттого многие меня называют распущенной, развязной... А я — не распущенная, не развязная, а — свободная...». В зале пауза и обвал аплодисментов. Это молодая женщина, певица лирическая говорит, а Райкин сроду такого не сказал. И не скажет. Алла, мне рассказал Иосиф Кобзон, когда года три назад был в Нью-Йорке, говорит в зал: «Знакомьтесь, мои музыканты... Они все из провинции, с периферии, из Харькова, но они большие музыканты, большие люди... Сейчас вообще много больших людей из провинции в столице... Брежнев, например...». Гробовое молчание в зале. А я сроду не слышал в СССР, чтоб имя вождя произносили со сцены в таком контексте, в сравнении с музыкантами!

В концертном зале Ц.Д.С.А. (Центральный Дом Советской Армии) прием: начальник Генерального Штаба и Начальник Политуправления Советской армии угощают деятелей тех же должностей из армий Варшавского пакта. Жрут, пьют. В середине

ужина небольшой концерт. Выступили акробаты, жонглер, еще кто-то. Объявляют Пугачеву, начальство продолжает жрать. Она выходит, рыжая, тоненькая, умная, злая, берет круглый стульчик от рояля, ставит у рампы в центре сцены и садится. Они жрут, музыканты стоят, а Алла сидит — нога на ногу. Минут через пять выбегает на сцену холуй-полковник и зло покрикивает, чтоб, мол, работали, пели. Алла его вполне громко посылает достаточно далеко, потом встает, подходит к микрофону и объявляет: «А сейчас песню «Шумел камыш» исполнит вон тот генерал, блондин, да, вы, вы. Доешьте и валяйте, пойте, а я послушаю». Она спустилась в зал и села к столу возле венгров. Они ей сразу наливать, закуски накладывать, а она кричит на сцену музыкантам: «Ребята, давайте сюда!». Ну, их не пустили, конечно, а она крепко поддала и чего-то там еще наговорила... Она не диссидентка, не героиня, но она первая свободная женщина в СССР, по-моему. Увы, и среди мужчин в СССР свободных — раз-два и обчелся...

Вспомнил ее и почему-то загрустил...

* * *

У нас с Женей Евтушенко разница в возрасте не такая уж большая: чем старше делаемся, тем сближаемся пусть и не годами, но возрастом... А его мама, Зина Евтушенко, работала одно время у нас, в Мосэстраде на Неглиной. И была «старой», лет под сорок, а мне было в районе двадцати, а Женьке чуть больше десяти — сопливый, замызганный, наверное, трудно представить себе наиболее значительного русского современного поэта сопливым, замызганным мальчишкой... Зина приводила его в эстраду и тогда в нем не было ничего, предвещавшего Евгения Евтушенко...

Зина была незаметной, работала администратором детского отдела, имела сына и дочку, когда-то пела...

Впервые я обратил на нее внимание в кафе «Арарат». Оно располагалось дом в дом с Мосэстрадой. Вся эстрада и все Щепкинское училище ели в этом кафе чебуреки. Было недорого, вкусно и близко. Нынче в Москве негде поесть недорого, вкусно и близко. Канули в Лету пятидесятые-шестидесятые. И теперь кажутся те годы наполненными до краев надеждами... Не мы надежды расплескали, не мы их выплеснули... И дело не в невозвратности времени, а — в невозвратности ситуации...

Да, как-то обратил я внимание на Зину, попав с ней за один столик. Она заказала порцию чебуреков, две штуки. Одну чебуречину съела, вторую аккуратно завернула в несколько салфеток и положила в коричневую потертую сумку из заменителя. Была она в аккуратном, с белым воротничком, застиранном, отгла-

Э. Колмановский, М. Бернес и Е. Евтушенко



Лариса Мондрус и Эгил Шварц дома, в Мюнхене.

женном платьице, и весь этот набор вместе с завернутой чебуречиной говорил о бедности...

В тот же день в сумасшедшем нашем москонцертовском коридоре, который мне снится чуть ли не каждый день в Нью-Йорке, я ее зажал возле огромного несгораемого шкафа. Я ей говорю, а мы едва знакомы: «Зиночка, вы почему чебурек не съели, а взяли с собой?». Она покраснела вмиг: «А почему, Паша, вы в такие дела влезаете, вопросы нескромные задаете? Ну, ладно — была я сыта, а пошла за компанию». Слепой бы увидел — врет, но это — то самое вранье, которое я с детства понимаю: врала она от гордости. А то, докладывать каждому щенку о том, что нет у нее денег на порцию чебурек. Теперь она живет в кооперативе «Белая Лебедь».

Ах, эти ассоциации! В Новосибирске есть тюрьма под официальным почти названием «Белая Лебедь»...

Дней через десять предложил я ей помочь мне на большом концерте-«леваке» — тогда в последние сталинские годы, когда вождь и учитель планировал массовые убийства, к «левакам« относились снисходительно. Даже администратора не трогали, если «присваивал» он себе не много. Спустя годы заместитель начальника ОБХСС по искусству и полиграфии Владимир Захаров скажет: «Мы знаем практически всех, кто ворует, но придерживаемся неписанных правил, которыми живут в отделе торговли: «Если директор, скажем, мясного магазина ворует до двух тысяч в месяц — его не трогать, ибо он должен давать начальству, райотделу ОБХСС и т.д., а ему остается от всех трудов пятьсот... Но если он раскрывает рот шире — в каталажку!»...

«Левак» я проводил в спортклубе «Крылья Советов», тогда самом большом зале Москвы: денег было много, и я подкинул Зине приличную сумму... Пошли мы с ней после концерта в ресторан «Динамо» поужинать. Пила она совсем немного. И снова одну пожарскую котлету, а было их две небольших в ночной порции, отложила целенькую, а я настоял, чтоб съела. И она ее съела, и эта котлета ключиком отомкнула ей душу в тот давний поздний вечер.

Тогда от нее ушел второй муж. Не то аккордеонист, не то гитарист — не помню точно, но помню — Зина не говорила про него плохо...

Разрозненные клочки тем, слова вышивают разноцветные картинки... слезы... война на войне... любовь обгаженная... война в тылу... камнепад разбитых надежд... слезы... жалостливая улыбка, смущение, платочек носовой с каемкой желтой, и от платочка пахнет духами «Ландыши», и на сцене по закону совпадающих мелочей играют «Ландыши» — музыка молодого Оскара

Фельцмана, слова Юры Цейтлина: «...Ландыши, ландыши, белый букет...». По радио эти «Ландыши» пищала Нина Дорда, взошедшая в эфире созвездочка — Дита Утесова погасла — Дорда с Лазаренко взошли.

Потом на такси я отвез Зину домой... То был один единственный вечер. Я не вышел из такси. Окно машины было открыто. Зина отошла, потом вернулась, наклонилась, шепнула «Спасибо»...

Она у нас проработала еще год и ушла в Московскую филармонию, кажется, уже к Митрофану Кузьмичу Белоцерковскому, одному из ярчайших и оригинальнейших людей мира русской музыки. В нем не было ни грана советского, кроме совгорлопанства и партбилета, помогавшего ему оберегать музыку и музыкантов. Без Белоцерковского, возможно, мир не узнал бы Рихтера. Да о нем надо бы отдельно. Был он в советском искусстве матерщинником номер два. Первым был министр культуры РСФСР Алексей Иванович Попов. Оба погорели именно на мате, ибо многократно нарывались на скандалы, ругаясь пятиэтажным при иностранцах, знающих русский мат. А Попов к тому же ругался при дамах не только на коллегиях своего министерства, но и на заседаниях Совета министров РСФСР. Его за мат убрали из культуры и «бросили» на министерство просвещения...

Встречались мы с Зиной и Женей реже и реже, но подрос он и стал книжником. Начал бегать на Кузнецкий мост на «черный книжный рынок». По-моему, подторговывал книжками, а на заработанное покупал редкую в те годы поэзию «Серебряного века».

Мне крупнейший букинист Лева Глейзер, приятель мой, говорил, что нынче Евтушенко настоящий собиратель: первоиздания Пушкина, Гоголя, ну, и так далее.

Я был заядлым книжником, а годы наши с Женей тогда стали сближаться, сравниваться. Вышел первый его сборник. Потом — еще и еще, потом «Бабий яр» — прорыв к мировой известности, а может, и к славе...

Евгений Евтушенко, по моим наблюдениям, человек не просто сложный. Он — не просто дипломат, хитрец или двуликий Янус! Нет! Он — глубже. И поверхностней. Когда пишешь о таком человеке, а Женя, возможно и скорей всего, большой русский поэт, мусор не в счет...

Я недавно увидел Женин портрет, снятый, может, месяц назад, и стало мне грустно!

Сохранив худобу, Женя обеднен жизнью и страстью на лице, в глазах — усталость: попробуйте неистово рваться на

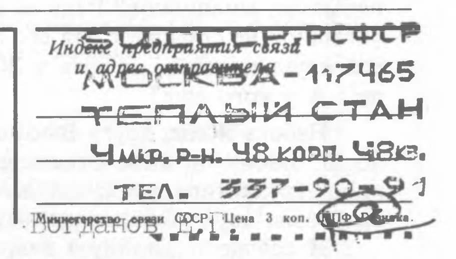

ПРИ ОТВЕТЕ ССЫЛАТЬСЯ НА № 1573 от 25.7 80 г

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

Куда Москва

Малая Грузинская улица,дом 28,кваритра 30

Кому Высоцким


СССР-РСФСР

Индекс предприятия связи и адрес отправителя

МОСКВА-117465

ТЕПЛЫЙ СТАН

4 мкр. р-н. 48 корп. 48 кв.

ТЕЛ. 337-90-91

Богданов Е.И.

123557

Индекс предприятия связи места назначения

Министерство связи СССР Цена 3 коп.

Приношу свои искренние соболезнования по случаю безвременной кончины великого песенника рус, своего друга,уважаемого и почитаемого нами.

Прошу сообщить,я внесу,сколько смогу,на установку памятника,если он не будет установлен в официальном порядке государством .

Если у вас остались мои письма к нему и они не будут нужны,прошу отослать мне их обратно на память.

скорблю с вами

Женя

части, попробуйте искренне ненавидеть и любить одно и тоже — женщину еще можно в постели любить и ненавидеть, а все?!

Ну, кто еще «Евтушенко» в СССР? Не считая, конечно, Солженицына. Но он — особая статья. Кроме тех, кто спланировал и уехал, да и они не тянут. Лишь Войнович и Зиновьев. Больше — никто. Но в России кто-то же нужен, верно? И вышло: Евтушенко нужен. Ибо он — в России. И кто бы что ни говорил, Евтушенко — бомба, которая может взорваться в любой момент по любому поводу. И еще: человек, говоривший правду и уехавший или высланный из России — одно, и правда его, пусть и глобальная, уже за проволокой. А Евтушенко — правда, живущая рядом. Ну, он и лжет, рифмуя. Что с того — лгут двести пятьдесят миллионов? Ведь на всеобщую ложь никто все равно внимания не обращает. На его ложь — тоже. Страна лжецов не реагирует на ложь, но зато у Жени случаются прорывы к правде... А у кого еще?

Небось Жене, другу Высоцкого, не дали редактировать Володю. Знали: он либо откажется, чтоб с ними не связываться, либо отредактирует все, как было и есть у Высоцкого. Ну, поставит возле двух сближенных «будто» одно «словно»...

Я сейчас подлинную открытку Женину семье Высоцких, после смерти Володи, приведу. И слепому станет ясно, что Женя тот же, просто он постарел и стал бояться. Заметьте — все с оговорками: и деньги даст на памятник «сколько сможет» и «если государство не поставит». Государству после такой, прочитанной КГБ открытки, памятник ставить надо. По-за-рез. Только сперва надо Володю подправить, подкрасить, подретушировать и вывернуть наизнанку. А это можно только за деньги кому надо, за квартиры, за паспорта. И — на испуг надо коекого взять...

Женя в подобных делах старается максимально не участвовать. Мы здесь за спиной статуи Свободы стали храбрыми и орем во все горло, а Женя там каждодневно...

Последняя моя встреча с ним произошла в каком-то длинном кабинете министерства торговли СССР. Мне нужна была машина «Лада» и я сделал большой концерт для руководящих работников торговли. Артистам за выступление продавали американские сигареты «Мальборо». По три блока на рыло, а Мулерману — пять. Кто-то из начальства пригласил Женю, и большой современный поэт пришел и читал новые стихи. И тоже купил сигарет. Три блока. Он вообще-то из непьющих. И тогда не очень пил. Мы поговорили минут пять. Ни о чем. Правда, я спросил про Зину, как она, что она. Он сказал, что квартиру ей строит у Речного вокзала. Кооператив «Белая Лебедь».

Уже тогда был он притушен, а может, выгорел. Тайга целая выгорает в короткий срок, даже когда ветер с одной стороны, а человек — не тайга, хотя — тайга...

И сейчас думаю. Мать вашу за ногу! Евтушенко за сигареты и еще за какую-то чепуху, ну, за машину, ну, за что-то еще, — выступает.И вспомнил я: он мне в тот вечер жаловался, что сильно простужен. Но не хочет какого-то Тютькина подводить. И ведь не от обязательности, а от того, что Тютькин обидится и чего-то не продаст ему за его же деньги... А ведь тогда все мы приехали на «блатной» концерт под проливным дождем. И еще вспомнил: тот концерт посвящен был празднованию министерством октябрьского переворота. Так вот: я себя считаю чистым-чистым, но и я — замаран. Ибо нельзя прожить в засранной и загубленной стране не испачкавшись. Но — в какой и до какой степени ты засран! Это — важно.

* * *

Я надеюсь, что представлять Людмилу Гурченко нет нужды. Ее имя ассоциируется с яркой, в те серые, смутные и непонятные дни, радостью. Владимир Соломонович Поляков, тряхнув стариной, написал сценарий «Карнавальной ночи». И — возникла на экранах девятнадцатилетняя девчонка, а ее песенку «Пять минут» помним и любим мы до сих пор.

Однако, комедиям практически нет места на советских экранах. Музыкальным — тем более. Партия боится смеха, а уж под музыку — ни-ни.

И Люся попала в провал. Правда, такое бывает и в западном кино. Артиста штампуют в своем воображении зрители, но главное — режиссеры. Люся стала «артисткой музыкальной комедии в кино», то есть артисткой жанра, который, вспыхнув в «Карнавальной ночи», сгорел. Была еще одна попытка с негодными средствами и... все.

Шли годы. И надо было иметь много мужества, чтобы не сдаваться. Она жила концертами, ибо зрители продолжали любить Люсю за доставленную им когда-то радость.

И лишь лет десять назад кто-то из режиссеров рискнул и взял ее на серьезную роль. И — пошло. И взошла на советских экранах новая-старая звезда.

Возможно, несправедливость режиссеров и судьбы сделали и свое доброе дело. Сколько в Люсе горечи...

...29 октября мы встретились с ней в Нью-Йорке. Сперва в кинотеатре возле Пятой Авеню, где шел в тот день фильм с ее участием. А после мы пошли в гостиницу «Плаза», где остановилась ее группа, приглашенная какой-то американской компанией. Мы не виделись шесть лет. Это — много, но когда мы раз-



Людмила Гурченко

говорились и оттаяли, поняли, что это — не так страшно. И шесть лет не могут разорвать дружбы. Не могут шесть лет разорвать памяти. Оказалось: мы помнили все.

Почему я пишу о нашей встрече? Ведь у Гурченко могут быть неприятности за то, что она встречалась с эмигрантом?! Я пишу потому, что, если у нее из-за меня должны быть неприятности, они уже были, ибо в каждой советской творческой группе, выезжающей за рубеж, есть стукач. В той группе тоже была стукачка, и все в группе о ней знали. И она, конечно, доложила о моих ежедневных встречах с Люсей и Жорой Данелия.

У нас с ней было много разговоров о Володе, с которым Люся дружила.

Психологически любопытно: в Нью-Йорке мы говорили о московских встречах с Володей:

— А помнишь Старый Новый Год в ЦДРИ? Это 1969 год? Или 1968?

— Нет, а что?

— Да как это что? Помнишь, я была в ЦДРИ с Володей и Севой? А ты с молодой женой? Забыл? Ну, а после, в ту ночь, ну, вспомни...

И я вспомнил:

Люся ошиблась. Я был на встрече Старого Нового Года один. А Люся сидела за столом далеко от меня. Мы с Володькой были в ссоре. Это было за год до Влади? Или за два? Володька злился, что я ходил к его бывшей жене, Люсе Абрамовой. Он думал, что я с ней болтаю о нем.

А я о нем не болтал — матери его двух сыновей тогда ничего хорошего сказать о нем было нельзя. Потом — тоже.

Тот Старый Новый Год у меня в тумане. Я напился. И меня забрала к себе домой Люся. Дочка ее Маша была у ее матери, кажется. С Люсей поехали Сева Абдулов и Володя Высоцкий. Сперва я ничего не помню. Мы ехали, по-моему, в Севином «Москвиче». Или — в такси.

Потом меня уложили в небольшой приемной-гостиной-спальной-кабинете — все это в одной комнате, а в другой, — Люсиной спальной, остались трепаться Люся, Сева и Володя. Потом я услышал крики и скандал. Встал, вышел в коридор и пошел в спальню. Пришлось отодвинуть Кобзона. Я не слышал, как он пришел. А может, у него еще оставались ключи от квартиры? Не знаю. Он уже ушел от Люси, они разошлись, но у него случались такие приступы «обратного хода». Он пришел мириться, и сразу же начался скандал. Он был пьян. И он оскорблял Люсю. Сева Абдулов, небольшой, немускулистый, мягкий, с открытым добрым лицом, подскочил к Кобзону и ударил его. Я испугался.

Кобзон был очень сильный, но он не ударил Севу. А я видел, как спружинил Володя, как он мгновенно напрягся. Он ростом не больше Севы, но силы — страшной. Володя даже не привстал, не шелохнулся, но все и с пьяных глаз увидели опасность. Кобзон начал орать что-то, а после сказал: «Пойдем, выйдем во двор!». Это было по-мальчишески и очень противно. Здоровенный Кобзон пошел во двор с маленьким слабым Севой. А Володя почему-то сник и не пошел. Он только спросил у Люси, виден ли двор из окна. Она сказала, что да, виден. И Володя подошел к окну. Мы смотрели, как вышли противники, как они о чем-то долго говорили, потом Сева подпрыгнул и схватил Кобзона за прическу. Мы увидели, что Сева отпустил прическу, и Кобзон ушел. Его походка победителя сникла, он шел, таща себя под лунным светом. На фоне снежных куч он был кучей в кожанном модном пальто...

Пришел Сева, полез в холодильник.

Мы пили еще.

Потом Володя сказал, что все дерьмо...

Володя редко употреблял жаргонные слова в разговорах. Он в жизни говорил достаточно образно, но сбивался, повторял слова. Поэтому его трудно воспроизводить. Его, вообще, воспроизвести нельзя. Даже, если вести записи... Забыл «бы» и прошедшее время.

Никто с Володей не спорил. Все устали, но спать не хотелось, а я сказал, что лучше бы никогда сроду не было Старого Нового Года. У меня с детства ностальгия по прошлому. Черт знает откуда.

А Володя вещал:

— Люська, ты — дура. Потому что — хорошая. Баба должна быть плохой. Злой. Хотя злость у тебя есть, но у тебя она нужная, по делу. А тебе надо быть злой не по делу. Вот, никто не знает, а я — злой. Хотя, Сева и Паша знают. Сева — лучше знает, а он — показал на меня и скривил лицо, — старше, а потому позволяет себе роскошь не вглядываться в меня. Десять лет разницы делают его ужасно умным и опытным. А если бы было двадцать? Разницы! У Брежнева со мной сколько разницы? Так он меня или кого-нибудь из нашего поколения понять может? Нет? Он свою Гальку понимает только, когда у нее очередной роман. Ой, ей, ей! Не понимает нас Политбюро. И — не надо. Надо, чтобы мы их поняли. Хоть когда-нибудь...

Он еще плел о большой всепоглощающей любви. Потом пошли в приемную-спальную-кабинет-гостиную, и Люська села за фоно — гитары не было: свою Володя не принес, а Люськину кто-то взял напрокат. Без отдачи. И началось. Володя пел: «В кабаках зеленый штоф, желтые салфетки, рай для нищих и шутов,

мне ж, как птице в клетке...». Куплетов тридцать у него было на это «Эх, раз, еще раз!». После он импровизировал про Кобзона, про Севу, про меня, а потом мы вышли на Маяковку. Светало. Еле-еле. Сыпал мелкий, легкий снежок, пахло хвоей, и совсем не пахло городом...

Когда мы с Люськой вышли из «Плазы», не пахло ни хвоей ни снежком, а дышало огромным городом.

Зимы в Нью-Йорке не было в тот ноябрь семьдесят девятого? Была. Нью-йоркская, но — была.

Люське Нью-Йорк не понравился. Он ее подавлял. Или раздражал. Она скучала по дому, по Маше, по мужу... Вспомнили ее папу... Погрустили... После она уехала. Думаю — навсегда. И она, наверно, тоже так думала.

Она — страница моей жизни. И я ее перечитываю. Часто.

Мы с Люськой написали песню. Я — слова, она — музыку: «Березы стонут, мороз под сорок, забился ветер в березах дрожью, а тишь такая, что даже шорох пробиться через никак не может. Ну, что ты гонишь? Ну, кто украден? Коней сдержи ты, хоть на минутку, а под луною дорога гладью, и тишь такая, что даже жутко. А земля, она так же вертится, отлюбили мы, да не верится, не бывает та́к, не положено, сердце бьется в такт растревожено...».

Увы, бывает и положено. И нет больше Вовы, а Кобзон был чуть ли не главным в похоронной комиссии, когда хоронили Володю. Была в этой комиссии моя первая жена. Позвонил ей Володин отец, Семен Владимирович, и сказал, всхлипывая, что так мало кто остался из семьи. И нет Паши. И пусть Леля придет вместо него. И она пошла. Вместо меня. И когда мне это рассказали, я понял, что на чужих похоро̀нах нас очень просто заменить...

* * *

Володя умел быть другом. Конечно, со срывами. С обидами. Со скандалами. Да по самому своему складу, он не мог ничего делать просто, без надрыва.

Володя дружил с альпинистами, бегунами, писателями, композиторами, рабочими, студентами, артистами... Об одной такой дружбе несколько слов.

Жил да был во граде Москве Валерий Зубков, пианист, композитор-песенник, но все это — ерунда, а был он золотым парнем, и поэтому все его обижали. Нет ничего страшнее на свете, чем быть золотым парнем в наше время. Сто лет тому на-

зад он познакомился с Высоцким. Дело было на Каретном, но не на Большом, а в Каретном ряду, в доме Большого театра, где я жил.

Высоцкий был тогда известен в узком кругу. Или нет. Он уже был известен, но не слишком. Ему понадобились клавиры песен, а по простому — ноты его песен, а сам он их, естественно, записать не мог, так как был нотно неграмотен. И Валерий сделал ему штук десять клавиров. Это — в первый раз, а после — еще сто. И никогда не брал у Володи денег. А после я устроил Валерия в кооператив на Малой Грузинской.

Про Володю я тогда не думал. Мы были в жестокой ссоре. Видимо, что-то накрутила появившаяся Марина. Или сам он чего-то придумал, додумал, выдумал. Да и не знал я, что в его планы входил жилищный кооператив. Так или иначе, я о нем не думал. А Валера подумал. И Володя вступил в тот же кооператив. И помер в этом доме. Сколько человек мотался по свету, а помирать приплелся домой. Он и мечтал умереть или в Москве, или в Нью-Йорке. А если открыть секрет, так жить он хотел тут и там, а помереть — дома. Увы, ему такое счастье было не суждено, а Париж летний его угнетал, и была еще куча причин...

...Володя страшно мучился, что вот, мол, Валера столько ему сделал, а он ничего не может в ответ...

Недавно мне рассказали, что какая-то сверхпопулярная французская певица спела несколько песен Валерия Зубкова, и во Франции стали петь его песни. Если это так — уверен, что сделал и провернул операцию Володя. И умиротворился... А бывал он неблагодарным, жестоким, недобрым...

Фашист Евгений Долматовский, кто одним из первых начал визжать и лаять против Солженицына, сказал: «Любовь к Высоцкому — неприятие советской власти. Нельзя заблуждаться: в его руках не гитара, а нечто страшное. И его мини-пластинка — бомба, подложенная под нас с вами. И если мы не станем минерами, через двадцать лет наши песни окажутся на помойке. И не только песни». Это из речи на художественном совете фирмы «Мелодия» в 1968 или в 1969 году. Эту воинствующую речь поддержал лишь Ошанин, который на этом же худсовете показал песню с припевом: «Белая метелица ни мычит, ни телится», имея в виду, что невеста не дает ответа жениху на вопрос, когда свадьба. Эти разбойники помогали оглуплять Россию. Они рады, что нет больше Володи...

Эти поэты и композиторы-песенники шуруют в эфире, помогая родной партии и родному правительству, но и среди них есть неординарные и яркие личности. К таким, несмотря на его

внешнюю просоветскость, относится Марк Фрадкин. О нем можно говорить много и долго, но я хочу только о двух фактах.

Как-то раз пришел ко мне Володя и спел новую песню «Родники мои серебряные, золотые мои россыпи». Песня мне очень понравилась, а у Володи как раз не было денег, и он был в жестоком финансовом прорыве. Я ему деньги давал, но он успел у чужих нахватать бессчетно. Его тогда к пластинкам и к эфиру близко не подпускали, а в театре, где он получал сто тридцать рублей в месяц, ему за очередной запой снизили по настоянию Управления Культуры Моссовета зарплату на двадцатку, и стал «Галилей» получать в месяц сто десять «плюс-минус» вычеты.

Он недавно ушел из дома, и надо было давать — двум мальчишкам. И себе — на водку. Проблему его хлеба с маслом решала мама, с которой он жил на Профсоюзной, где она получила квартиру. Водка и долги гнули. И тут я, кретин, говорю: «Володя, давай отдадим текст этот Фрадкину. На его музыку могут такой твой безобидный текст пустить». Он подумал и ответил, что я, конечно, сволочь, но что делать. Сел и записал текст. Дело было к ночи и летом. Моих не было, и он лег спать в комнате у девочек. А я спустился на второй этаж к Марку. Пришел, а у него Галич. И они работают над песней. Рая, жена Марка, мне — чаю, как всегда. Подает на подносе, ибо «мебеля» кругом старинные — орех павловский. Галич, собиравший антиквариат, на этих «мебелях» — как дома, а я терпеть не могу ограничений, а антиквариат в домах советских — всегда ограничение. После в США столкнулся: бывал частенько в штате Нью-Джерси во дворце у вдовы создателя журналов «Тайм» и «Лайф» Лайлы Люс, так там тоже «Чеппендейл», но, скорее, мебель, чем декорация...

Да, так пью я чай и сперва даже не прислушиваюсь, о чем спор, из-за чего загорелся сыр-бор. Марк едва наигрывает мелодию, не всегда точно попадая куда надо. Галич сидит мрачный. Я его тогда знал шапочно, но давно. Слышу, Марк говорит, что в таком виде песня не пройдет, а Галич ему говорит, что надо бы показать сперва. А вдруг! На что Марк ему отвечает, что, может, вдруг и пройдет на этом этапе, а когда зарежут выше, на просмотре комитета кинематографии, будет поздно. И тут пришел сосед наш Егоров. Они с Марком приятельствовали на почве «творческой деятельности» начальника Главкино Егорова. Он снимал фильмы и, понимая свою творческую импотентность, тянул к себе в фильмы людей ярких и талантливых. Всех, кроме сценаристов. Они с Марком делали «Комсомольцев-добровольцев» по «поэме» Долматовского.



Александр Галич

Егоров послушал песню. Попросил текст. Прочитал его «глазами» и вынес «соседское» мнение, что текст нуждается в переработке коренной. О каком же тексте шла речь? Оказывается, об одном из первых, а может, и первом тексте Галича прозревающего—«Спрашивают мальчики». Тогда Галич ушел. Обещал подумать. Песня была в фильм, а это — надежда на большие деньги, тем более с таким мелодистом, как Марк.

Ушел Галич, и я к Марку с «моим» текстом. Тогда я песен не писал, а был администратором. Марк вслух прочел текст раз, еще раз. Поглядел на меня, раскрыв глаза: «Это чье?» — Брата моего. «Какого еще брата?» — Володи Высоцкого. Как услышал Егоров, разговаривавший с Раей, имя Володи, живо перевернулся к нам и сказал Марку: «Дай погляжу». И поглядел. И сказал, что это — здорово. Вот так. И Марк сказал, что это здорово очень, но — нельзя. Даже Егоров поглядел на Марка удивленно, но он пояснил: «Чувств сверх меры, через край. Вы это не любите» — это он, глядя на Егорова. Тот не смутился, засмеялся, говорит, что, может, Марк и прав, но дело не в самом тексте, а в личности автора: «Личность яркая и опасная. Мне его уже не раз в фильмы толкали, но я осторожничаю», — сказал, а после мне: «Чур, не для передачи брату вашему». Я-то, конечно, наутро передал, а Володя сказал, что положил на них с их фильмами, а я знал, что не положил.

Марк не выдержал. И написал музыку на эти прекрасные поэтические слова. Но чудесные слова убили музыку. И песня не получилась, однако Марк потащил ее на радио. Чаплыгин «зарубил» песню схода. То же на телевидении. И на пластинках, хотя пластинки были и есть самые «демократические», ибо держатся на хозрасчете и еще обязаны содержать три огромных завода, поставляя им «шлягеры». Слава Богу, что так случилось. Я рад, и Володя вздохнул с облегчением, когда сказал я ему, что даже Марк не смог пробить его песню. Любопытно, что оба они не рвались к знакомству друг с другом. Много позже Марк несколько раз просил меня познакомить его с Володей, но так и не получилось у них. Может, после, когда я уехал, не знаю.

Тут к месту о «Спрашивают мальчики». Через месяц после описанной сцены я застал Галича у Марка. Шел спор. Уже злой, Марк свирепел тихо. Он не любил писать песен долго. Он любил положить текст перед собой, прочесть его раз пять и сразу написать мелодию. Переделывать он ненавидел. Если получалась мелодия, выходившая из размера стиха, он звонил поэту и требовал изменить размер строфы. И поэты меняли, ибо мелодии Марка всегда вселяли надежду на шлягерность. Помню, Роберт Рождественский принес на готовую музыку Марка текст «За

того парня». Я послушал и сразу понял: «Хоть тема избитая, а шлягер». И был шлягер. И, по-моему, есть шлягер до сих пор...

Да, так они цапались. Я понял, что Саша, продержав текст месяц, ничего в нем не переделал. Может, слова два. Уперся. Возможно, впервые в жизни. Огрызался, злился Саша Галич, а мы с Марком еще не ведали, что не пройдет и года, как с магнитофонов страны потекут его песни о страшных временах, о людях, о нас...

Через год мы начали встречаться с Сашей чаще. За городом, на станции «Железнодорожная» — у Миши Танича, нашего общего приятеля. Я-то думаю, что Миша опередил всех бардов, написав «Текстильный городок, где липы желтые в рядок, где подпевает электричке ткацкой фабрики гудок», где тоска смертная, где и не жизнь. а сквозная безнадежность... Мы с Галичем несколько раз ездили к Мише вместе. На моей машине. По Горьковскому шоссе, а разок по Ярославке, кажется, не помню точно. В вагоне слепой, путая текст, пел Сашину песню про больницу, где начальничек помирал. Галич плакал, сунул старику слепому крупную купюру, а после, когда шли мы от вокзала к Мише, он сказал: «Ты Мишке и Лиде про это не говори. Ну, что плакал и деньги дал. Неловко перед Мишкой. Его-то песни вся страна чуть не хором поет...». Это да, «Любовь-кольцо» — здорово, фольклорно, но это — Россия между небом и землей. А у Галича — Россия, вздернутая на дыбу.

В тот раз Саша напился. Мы его доволокли до поздней электрички. Я отвез его домой. Он все время схватывался, где гитара, а гитару оставили мы у Танича. Умышленно, чтоб не разбить...

Мишка Танич тоже сидел. Хотя почему «тоже»? Как раз Галич не сидел. Мишка — человек скрытный. И — хороший. И — русский. И — еврей. И — черт знает кто, но мне его очень не хватает. За эти долгие годы видел я его один раз три часа. Или пять часов. Мы оба были убиты последней встречей, понимая, что все зря, что перед смертью не надышишься. Расцеловались. Мишка спросил: «Галича видишь?». «Нет, — соврал я, — не пришлось». И ему стало легче. И вообще ему было легче: он возвращался домой. Это — плохой, тягостный, прогнивший дом, но он — наша колыбель, а когда годы поджимают, тот дом пусть хуже, пусть уже и не свой, но все-таки свой...

Возникнет: мол, что за нытье, что это за ностальгия, а мне плевать, как пел Володя: «А мне плевать, мне очень хочется!». И вам, кому сейчас за пятьдесят, хочется тоже, но вы выдрючиваетесь и строите из себя сильных. Валяйте, стройте, ваше личное дело, а я, не терпя и на дух советскую

власть, умираю — хочу хоть на часок домой. Но — они не пустят, а я — не поеду. И оттого умру от сердца. Или куплю мощный приемник «Грюндиг», намочу руки и стисну их на оголенных концах. Хотя понимаю, что надо иметь немного терпения, и все будет ОК. Тьфу...

...А теперь уже совсем издалека долго течет для нас река Волга. И для Саши Галича она текла издалека долго и больно...

* * *

Аня Мартинсон-Габай рассказала про свой отъезд и про Сашу Галича в нем, а я расскажу, как запомнил и почувствовал. Так будет верней. Начну с того, что когда семья Габаев, привезенная в аэропорт ночью, оказалась в здании, все сразу же увидели Галича. На часах — четыре утра, перед этим было двое суток провожаний...

Габаи сломали стенку, у них в доме на Усиевича — квартира метров сто. Девочки-близнята могли на велосипедах ездить. Провожали их в соотношении «метр к человеку», то есть квартира о ста метрах, и гостей было сто, и среди них двое суток пил и пел Саша Галич, а когда Габаи увидели его в аэропорту в четыре часа утра, то сразу поняли — и он уедет, хотя сам он в ту пору наверняка еще не был уверен в этом. Вообще, с Сашей тогда все казалось перепутанным.

Анечка потрясающе разрисовала стол и пообещала его продать известному в Москве скульптору Никогосяну, а Галич пришел, узнал про стол и сказал: «Плюнь на Никогосяна» и утащил стол к себе. Значит, вроде ехать не собирался? А провожания с распеванием песен, а аэропорт на виду у КГБ? Впрочем, он любил петь кагэбешникам. Любил остроту ситуации. Эдакий сыр-рокфор. Руку сквозь прутья в клетку тигру, а тигр сыт? Или еще не получил указания свыше?

Он уже во вторую ночь провожания устал, и все приуныли. И было это в какой-то момент, как трезвые поминки. И Аня попросила Сашу спеть ее любимую «Рыбалку». Он встряхнулся, как сенбернар, вылезший из воды, и провозгласил: «Пою для Анули». И пошла «Рыбалка», и еще, и еще. Был на проводах его близкий друг Юра Сосновский? Нет, не был.

Нюшка (жена Галича) командовала, что ему петь и что не петь. Он ее не слушал, она злилась. Да, еще люстру чугунную, ей лет триста, выпросил Саша у Ани. Значит, не собирался уезжать? А было это в ночь под Новый Год. Семьдесят третий. Из дома, где жили Габаи, уехало шесть семей. Впрочем, из дома, где

в последние годы жил я, уехало гораздо больше. У них из дома уехали кто? Кольцатый, Калик, кто еще? Не помню...

Мы тогда уезжали еще без надежды встретить за рубежом старых друзей. Казалось: рвем намертво не только с Россией, но и с друзьями и родными. Но друзья догоняли нас, и друг друга мы догоняли и обгоняли, и этот бег был и есть не такой-то уж и веселый. Ум — хорошо, а душа, а сердце? А такая вот чертова проза, как работа, профессия? Да, эмиграция — это амортизация нервной системы, сердца, во всем виновата проклятая и благословенная память. Она — на всех перекрестках...

Гена Габай незадолго до смерти Галича приехал рассказать на Венецианский Биеннале о Параджанове, который тогда еще сидел. Идет по Венеции Гена, и вдруг из-за угла — Галич! Спрашивает, как пройти куда-то там! Как на Пушкинской площади. Почти прозаическая встреча в шекспировской ситуации, когда смеющийся Галич уже спланировал купить себе новейший и мощнейший «Грюндиг»...

Сейчас, когда появились ракеты, начиненные черт знает чем, даже сталинские времена кажутся детскими, страсти наши тогдашние — копеечными, хлопоты — пустыми. Послесталинские годы, сулившие надежды — временами мыльных пузырей. Оглядываясь, хочется воскликнуть: «Все, что было — хуета хует и всяческая хуета, а все, что будет, видимо,—тоже!..». Написал фразу, чувствую — пошло, но почему-то не могу от нее отказаться, а вот почему не могу — не понимаю...

У каждого в прошлом было прошлое, но не у каждого в будущем есть будущее. Видимо, именно поэтому, собираясь в эмиграцию, я придумал себе построение: «Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном». А вот Александр Николаевич Вертинский никогда не жалел о сделанном, считая себя «везунчиком».

«Везунчик» как-то заговорил о Нью-Йорке. Был 1958 год, и дело было в Саратове, в номере старой гостиницы: красный, старинный плюш, купеческие, побитые диваны и кресла, окна, выходившие на задворки, где моросил провинциальный дождик. Мы сидели втроем: он, я и его аккомпаниатор, Миша Брохес, внешне и по воспитанию идеально совпадавший с Александром Николаевичем. Вертинский нараспев говорил: «Я просто обожаю яйца с запашком и сладкий чай с селедочкой. Прелесть, просто прелесть. И чем дальше уезжал от России, тем больше обожал чай с селедочкой и яйца с запашком. Мне везде доставали селедочку. О-о-о, я был очень популярным, клянусь. Помню в Нью-Йорке...».

Тут в номер постучали и после разрешения дверь широко отворилась, пропустив в гостиную Эмиля Радова и Игоря Гранова.

Для Вертинского эта пара была двумя мартовскими котами на соседней крыше, не более того, но они вошли и сели, а он продолжил рассказ: «Да, так на чем мы остановились? На Нью-Йорке... Помню, как-то раз в какой-то гостинице, не помню какой именно, на Лексингтон — это точно, захожу я в лифт, а следом за мной заходят в лифт Рахманинов с дочкой. Лифт тронулся, а дочка наклонила голову отца и шепчет ему: «Папа, это же Вертинский!» И Рахманинов снял шляпу, хотите верьте, хотите нет. Так что я был популярен в русской эмиграции...».

Рассказ как рассказ и ничего в нем нет особенного, когда б не одно обстоятельство. После этой беседы в номере саратовской гостиницы прошел год. Прихожу я раз домой к Александру Николаевичу, а он мне: «Вы помните, милый мой, саратовское собеседование, когда ко мне в номер пожаловала пара юных советских артистов? Так вот, меня обвинили, что я в разговорах восхваляю эмиграцию и живу прошлым. Как вам это нравится?» Мне это не понравилось. И я, придравшись к пустяку, в пустом кабинете художественного руководителя Московской эстрады Василия Василиевича Познанского набил морду Эмилю Радову. И до сих пор горжусь этим. И очень жалею, что успел набить морду только одному стукачу в стране дятлов, стучащих друг на друга денно и нощно.

Помню в ресторане ВТО драматург Оня Прут кричал: «Что вы мне показываете стукачей? Вы мне покажите хоть одного не стукача!». Это — гипербола? Если и да, то небольшая.

* * *

Артиста вызывают на беседу в ЦК КПСС в связи с его первым выездом за рубеж. И там цинично вербуют. Начинается и кончается все трагически просто: «Вы должны быть бдительны и следить за каждым в вашей группе. Приедете, напишите докладную записку». И все. И попробуй откажись, не напиши. Не напишешь — сроду больше не поедешь, да и внутри страны не будет тебе ни званий, ни повышений ставок.

Павел Герасимович Лисициан рассказал мне в самолете, когда летели мы в Ростов, как он гастролировал вдвоем с многолетним своим аккомпаниатором по Японии: «Вдвоем отпустили без «гида» обычного. Ну, я оторвался. Все деньги оставил в японских банях. Ходил туда один. Не петь же в бане с японочками. Я тебе скажу, положительных эмоций набрался там на сто лет вперед. Я тогда понял, почему Баршай женился на японке. Ну, женщины! Приземляемся в Москве, и прямо в Шереметьево подходит ко мне некто и говорит: «Товарищ Лисициан, вам надо сразу



Михаил Зощенко.
Портрет работы Юрия Анненкова

же проехать со мной в ЦК КПСС. Проехали. А там все уже знают в пределах того, что знал мой многолетний аккомпаниатор. Вот так. И выходит: у них все — «гиды». Гэбэшные...».

Я хотел его спросить: «А вы?», но удержался. Уж очень он был обаятельный человек, великолепный баритон, Павел Герасимович Лисициан.

Мы летели тогда в Ростов не просто, а срочно. Собрали группу артистов за три часа по личному указанию Хрущева. Группа выступала в Ростовском Зеленом театре, совершенно пустом. Город был отжат досуха, пуст и казался мертвым, и лишь издалека доносился гуд — то давили Новочеркасское восстание танками. В собранной группе были П. Лисициан, А. Шуров, Н. Рыкунин, А. Акопян, Н. Рудаков, В. Нечаев, Н. Дорда, еще кто-то, но никто из нас не знал, зачем так срочно собрали группу. И только в Ростовской филармонии мне рассказали, что произошло. Не вслух, а шепотом рассказали. В туалете. И это все в период оттепели...

Когда возвращались в Москву, молчали стукачи и не стукачи. Лисициан уже перед самой посадкой вдруг шепнул: «Как радостно я приземлялся в Москве из Японии. Так радостно... Но больше я никогда не буду радостно приземляться. Только улетать, только улетать...». Когда он нервничал, акцент усиливался, и его красивое лицо делалось совсем бледным.

Михал Михалыч Зощенко во время нашей последней встречи: мы сидим с ним в Ленинграде, в кафе «Норд» за несколько месяцев до его смерти. Я привез ему запечатанный конверт от Никиты Богословского. В конверте, я думаю, да и на ощупь, — деньги. Никита помогал Зощенко все его трудное время. И он, думаю, — единственный, почему, не знаю, у кого Зощенко брал деньги. Они в странных отношениях. Чистейший, честнейший, кристальнейший Михал Михалыч и тертый, битый, стреляный Никита, у которого не отнять шарма, таланта и ума. Но они такие разные, не говоря уже об упорных слухах — Никита — стукач, да еще и полковник КГБ. Так это? Не знаю, хотя знаю Никиту четверть века и люблю его. Может он быть стукачем? Да! А может не быть? Да! А как же их дружба с Зощенко? Очень просто, не совсем на этот, но на подобный вопрос, ответил Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В кабинете у его соученика по Ленинградской консерватории Александра Александровича Холодилина при мне зашел разговор о Богословском и некто, живущий и ныне в Москве, сказал, что Никита — гадкий стукач. Дмитрий Дмитриевич посмотрел на говорившего вполне доброжелательно, но сказал: «Однако, он наш, ленинградец». Может, и в этом дело?

Мы сидим с Михал Михалычем в «Норде». Он смотрит мимо меня в стену. Бледный, белый, положил руки ладонями вверх и я смотрю на его почти прозрачные ладони, на скрещение линий и жалею, что не умею гадать. Потом я вспомнил: линия жизни рассекает ладонь сверху вниз. Я пытаюсь ее проследить и не успеваю. Он нервно сдергивает руки со стола, вскидывает голову, закрывает глаза. И спрашивает: «Какое сегодня число и какой день?» Я отвечаю. Зощенко молчит, шевелит губами и вдруг говорит, но не мне, а кому-то: «Раз нынче такое-то уже нет никакого смысла пить кофе». Я смотрю на него испуганно. Мы молчим. Потом он встает, берет со стола конверт, говорит мне «спасибо» и «до свидания» и уходит, чуть сутулясь.

И я шестым чувством понимаю, что его не надо ни останавливать, ни догонять.

* * *

О Клавдии Ивановне Шульженко можно и нужно писать книгу. Она — героическая актриса, раз удалось ей в той стране почти ни одной песни не спеть про них, а только — про любовь. И это — за пятьдесят лет. У нее не было голоса, не было большого таланта драматической актрисы, а была все та же великая неповторимость. И — актерское обаяние такой глубины, что ни ее неумение одеваться на сцене и в жизни, ни простота лица не помешали ей быть самой любимой певицей на протяжении десятилетий. Она была не умна, но ум ей заменяла потрясающая интуиция. Когда я принес ей песню «Петь для России», она мгновенно нашла «свою точку» в ней. У меня было: «Я так мечтаю с песней остаться в ваших сердцах навсегда...». Она в повторе спела: «Я так мечтаю песней остаться в ваших сердцах навсегда...».

Мне хочется написать: «Она никогда не была советской певицей, а только — русской». Как Солженицын не был сроду советским писателем. Пытался, но не смог: был рожден русским, и заклинило его русским писателем отныне и до века.

Я тоже никогда не был советским и потому меня возмущает, когда в СССР и здесь, в эмиграции, кричат: «СССР — не Россия!». А что? А Китай — Китай? А Германия при Гитлере — Германия? А Польша — не Польша нынче? Страусы думают, что назвав СССР не Россией, отрекутся от национальной вины...

Именно потому, что Клавдия Ивановна русская певица, ей ничего за всю жизнь не дали. Даже небольшую квартирку построила она на свои деньги. И получает она за концерт втрое меньше Зыкиной. Под конец карьеры и жизни дали звание на-

родной артистки СССР. Так это больше не ей надо было, а званию. Она звание удостоила, а не звание ее...

Незадолго до эмиграции мы с моим другом и ее аккомпаниатором, Давидом Ашкенази, написали песню. У Додика, потрясающего и лучшего музыканта на советской эстраде, была написана музыка, и я к музыке написал слова. Специальные слова для Шульженко. Впоследствии оказалось, что нехитрые, ни на что не претендующие слова, разъярили начальство и песня осталась незаписанной. Сейчас я приведу текст, ноты приводить не стану, ибо без Клавдии Ивановны музыки к этим словам нет. Да и слов нет, точнее нет их истинного настроения. И в этом беда поэтов-песенников. Мы пишем с учетом музыки и исполнителя, а без них на бумаге почти ничего не выражено. Но это ведь особый жанр, а многие глядят на нас и кривят губы в усмешке: тоже нам поэты!

Со мной мое прошлое раз навсегда,
Оно неотвязно, как в мае бессоница,
Оно негасимо, как в небе звезда —
За мной мое прошлое гонится, гонится.

Припев:

Все дальше и дальше уходит гроза.
Мне что-то забудется, что-то припомнится,
Но стоит на миг оглянуться назад —
За мной мое прошлое гонится.

Вот память за мной заметает метель,
И клен, мой ровесник, под ветрами клонится,
Но сердце звенит, как шальная капель —
За мной мое прошлое гонится, гонится.

Зачем нам с тобою считать январи?
А если былое до сердца дотронется,
Я дверь не захлопну за прошлым своим —
За мною пускай оно гонится, гонится.

В принципе я понимаю идеологов, запретивших песню. С их прошлым нельзя разрешать такие песни. А Клавдия Ивановна искренне удивлялась и возмущалась. Помню я пришел к ней в Дом эстрады возле Дома писателей на Усиевича. Ужас! Она вырядилась в халат сочного розового цвета. Приложив красивый, крупный, наманикюренный палец к губам, повела меня в спальню, приговаривая: «Сейчас я тебе кое-что покажу». Мы вошли в спальню, и я онемел. Буквально все было розовым: занавески на окнах, покрывало на широченной кровати, чехлы на двух пуфиках, ковер на стене и даже ковер на полу розовел, а посреди кровати лежал ее любимый кот в розовом чепчике. Она,

показывая на кота, сказала: «Это не кот, а тот, кто запретил нам прошлое. Вместе с песней. И, несмотря на это, развалился поперек нашей кровати. Вот!».

И это была ее месть. И вся страна мстит вот так, хотя они развалились не только посреди кроватей, но и посреди нашей России...

И совсем уже в заключение короткой заметки о Клавдии Ивановне приведу конец большого интервью с ней, помещенного в журнале «Советская Эстрада и Цирк» в номере от января 1975 года, когда я уже более года находился в эмиграции, и мое имя и песни были запрещены строго-настрого всем исполнителям, а уж тем более — прессе, но — не Клавдии Ивановне. И вот ее ответ на последний вопрос:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
ОРГАН МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР

СОВЕТСКАЯ ЭСТРАДА И ЦИРК ЯНВАРЬ 1975 г. **1** (208)

Народная артистка СССР
КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО

СЧАСТЬЕ ПЕТЬ ДЛЯ РОССИИ

жизнь любившим жанр эстрады, эксцентрику. Творческая дружба связывала с мюзик-холлом и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Для спектакля «Условно убитый», например, он написал около сорока музыкальных номеров.

опыте, видимо, у вас уже сложилась определенная система работы над песней!

— Каждый раз это, как правило, процесс долгий, мучительный, полный сомнений. Бывает, что у композитора авто-

фронтовых концертов. Хотелось бы, чтобы и в наши дни внешний вид артиста свидетельствовал об его уважении к публике. Затрапезное, будничное обличье противопоказано искусству эст-

— Клавдия Ивановна, в заключение вот что хочу спросить: есть ли у вас своя большая личная мечта, как у человека и актрисы!

— У каждого есть своя мечта. И у меня тоже. Она выражена, пожалуй, наиболее исчерпывающе в очень любимой и часто исполняемой мною песне «Петь для России», обращенной к моим современникам:

«Петь для России — огромное счастье!
Я так мечтаю с песней остаться
В ваших сердцах навсегда...»

Беседу вел А. Амасович



Клавдия Шульженко



Фаина Григорьевна Раневская

А «Петь для России» написана мною совместно с Давидом Ашкенази специально для нее. Начинается песня так:

«Снова мне юность мою возвращая,
Май открывает пределы земли,
Словно быстрее планету вращая,
Слышится песня вдали.
Слышится часто в бессонные ночи,
Слышится вдруг в суматошные дни —
Синею птицей мой «Синий платочек»
Слышится в далях войны.
Припев:
Петь для России огромное счастье.
Мне оно выпало, будто звезда.
Я так мечтаю с песней остаться
В ваших сердцах навсегда,
Я так мечтаю песней остаться
В ваших сердцах навсегда».

* * *

На площади Маяковского встречаю Фаину Григорьевну Раневскую. Эту актрису не смогла погасить даже советская власть. Актриса небывалой яркости, она играет и в жизни. Идет, сама целый мир, не видя мира вокруг, но это только кажется. Метра за три она кричит: «Уезжаешь?». Я отвечаю, что да, уезжаю. «Ну, и дурак». Смотрю на нее вопрошающе, хочу пояснений. Они не заставляют себя ждать. Посреди страны стукачей она кричит: «Из этого дерьма надо не уезжать, а улетать»...

Так она считает, но сама любит Россию и никуда не хочет уезжать. Поздно. Проработав у серого Ю.А. Завадского в театре им. Моссовета десятилетия, она говорит: «Работать в театре Моссовета все равно, что плавать в дачном сортире стилем баттерфляй».

Фаина Григорьевна всегда опаздывает на репетиции, и актеры как-то решили устроить ей абтсрукцию. Она входит на сцену и говорит: «Здравствуйте!». Молчание. Она повторяет. Снова молчание. После третьего «Здравствуйте» без ответа она говорит: «Ну, что ж, пока никого нет, пойду облегчусь».

Я недавно смотрел по ТиВи фильм о Голде Меир. Роль Голды играла Ингрид Бергман и играла великолепно, но вспоминая русско-еврейскую актрису Фаину Григорьевну Раневскую, я думаю, что никто не смог бы сыграть Голду Меир лучше, чем она.

Я не помню точно анекдота, но помню: после погрома еврей рассказывает, как магазинчик его сравняли с землей, жену избили, а дочь изнасиловали. Заканчивает еврей свою историю словами: «Это было так смешно, так смешно...».

Единственная в России, Раневская играет свои роли и себя на недосягоемой высоте трагедии, когда глядя на ее игру, хочется сказать: «Это было так смешно, так смешно...», а сказав, — заплакать.

* * *

Этот кусочек про неизвестного Неизвестного.

Честно говоря, каламбур так и просится, и я, грешник, никак не могу удержаться, хотя думаю, что каламбур был уже использован. И все же пишу: неизвестный Неизвестный, ибо его известность скульптора и художника — еще не известность человека.

Внешне он чем-то похож на Гришу Чухрая, а Гриша выступал на похоронах Володи Высоцкого. Вместе с Золотухиным, Ульяновым, Любимовым и Никитой Михалковым. Был бы Эрнест в Москве — выступил бы наверняка. И сделал памятник. Лучше, чем Хрущеву...

В день смерти Володи шел «Гамлет» под магнитофонную запись. Любимов сказал: «Кто хочет сдать билеты, пусть сдаст». Никто не сдал, а кто-то громко сказал в мертвый зал, в паузу как раз почти перед «быть или не быть»: «Он был нашим языком»...

...А после Володиного «быть или не быть» было тихо и казалось все поняли, что Володя теперь знает быть или не быть и решил быть — он лежал на сцене, будто отдыхал...

Передо мной художник и скульптор Эрнест Неизвестный. Или наоборот: скульптор и художник. Или — ни то, ни другое, ибо передо мной десантник в прямом и переносном смысле...

Кисть у него в руке какая-то игрушечная. В эту бы руку штык и рот наперекос от немого крика, а лицо в покое, в глыбастости — он говорит и рисует на руке ногти: они разные, как бы от разных рук, но в них общее — хищность. Он пытается говорить веско и спокойно. И думает, что ему это прекрасно удается. В десантах, может, и удавалось, а в мастерской — нет.

Зашел к нему, а он разговаривает по телефону с Чалидзе — я догадался — и ругает репортеров, что, мол, неосведомленными приходят и задают дурацкие вопросы. Я-то пришел с дру-

гой целью, но черт меня подстегнул спросить, когда он положил трубку: «Скажи, Эрнест (ему б, не словно углем подрисованные усы, а хемингуэевскую бороду, да еще — Эрнест! И похож!), вот если бы ты был миллионером и пришел покупать картину или скульптуру в эту мастерскую, чтобы ты здесь купил?». Пауза. Это ему за репортеров.

«Видишь ли, я не купил бы ничего, ибо здесь ты видишь часть работы. Я еще с юности задумал что-то гигантское, куда должны войти скульптура, живопись, музыка, песни, латерна магика и еще черте-чего, а то, что ты видишь здесь — части этой работы...

Заброс? Фантазия художника? Идея фикс? Бред? Чудачество? Неуверенность в себе?

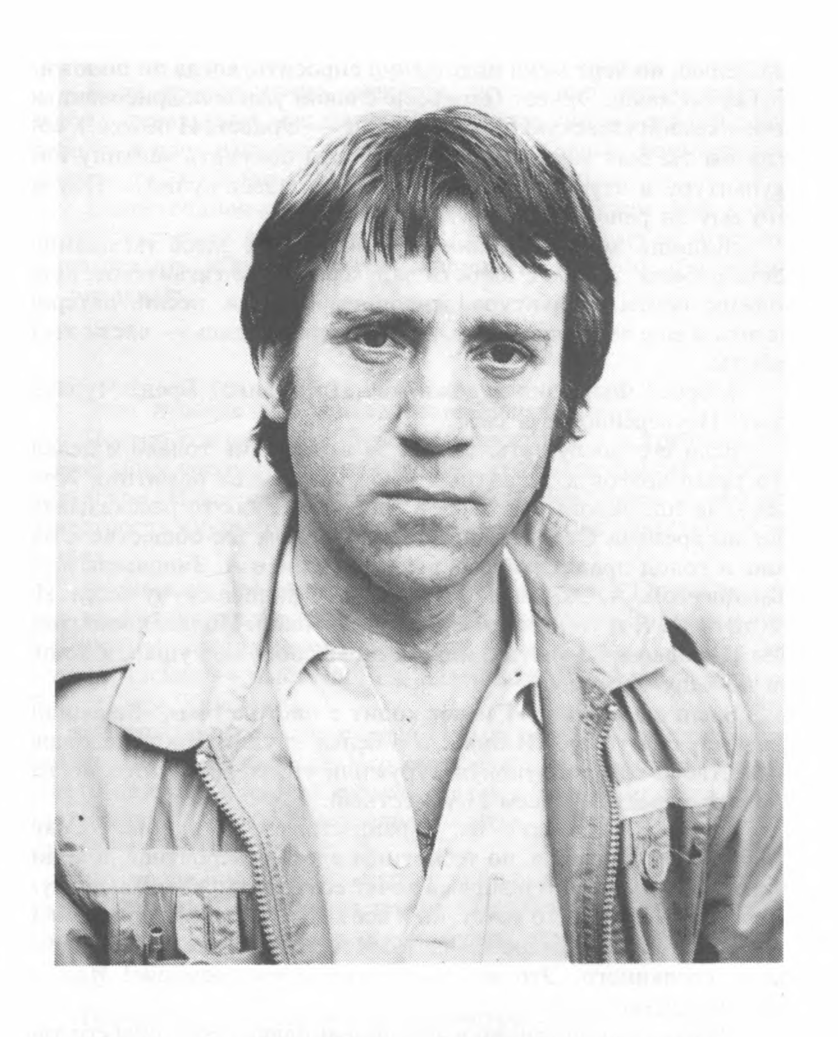
Если его послушать, так он за всю жизнь только и делал, что резал врагов в десантных вылазках, высек памятник Хрущеву, да еще задолго до бардов, так он мне как-то рассказывал, еще во времена Сталина, в организованном им обществе «Любовь и голод правят миром» в соавторстве с А. Зиновьевым, В, Шрайбергом, А. Охрименко и С. Кристи написал кучу песен. Их тогда пели. Я и то помню: «В имении «Ясной Поляне» жил граф Лев Николаевич Толстой, ничего он мясного не кушал, и ходил он по саду босой...».

Были еще песни: «Гамлет ходит с пистолетом», «Венецианский марв Оттело», «Я бил его в белые груди». Проповедовало общество «катакомбную культуру» или что-то вроде того, но это все еще известный всем Неизвестный.

Эрнест работает на Гранд-стрит в районе Сохо. Мастерская огромная, но теснотища здесь невероятная, и ходит Эрнест по ней, будто и впрямь хочет сотворить свою маленькую вселенную. Хотеть-то хочет, но и все хотят, а Эрнест прячется за формулу: все сделанное — часть! Что значит: все сделанное — часть сделанного. Это же тавтология и высокомерие! Или — нет? Не знаю.

Замах грандиозен, но в чем провинились перед ним его творения, что он от них открещивается. Наплодил детей, берет с них алименты, а от родства отказывается. Можно же и так рассуждать?

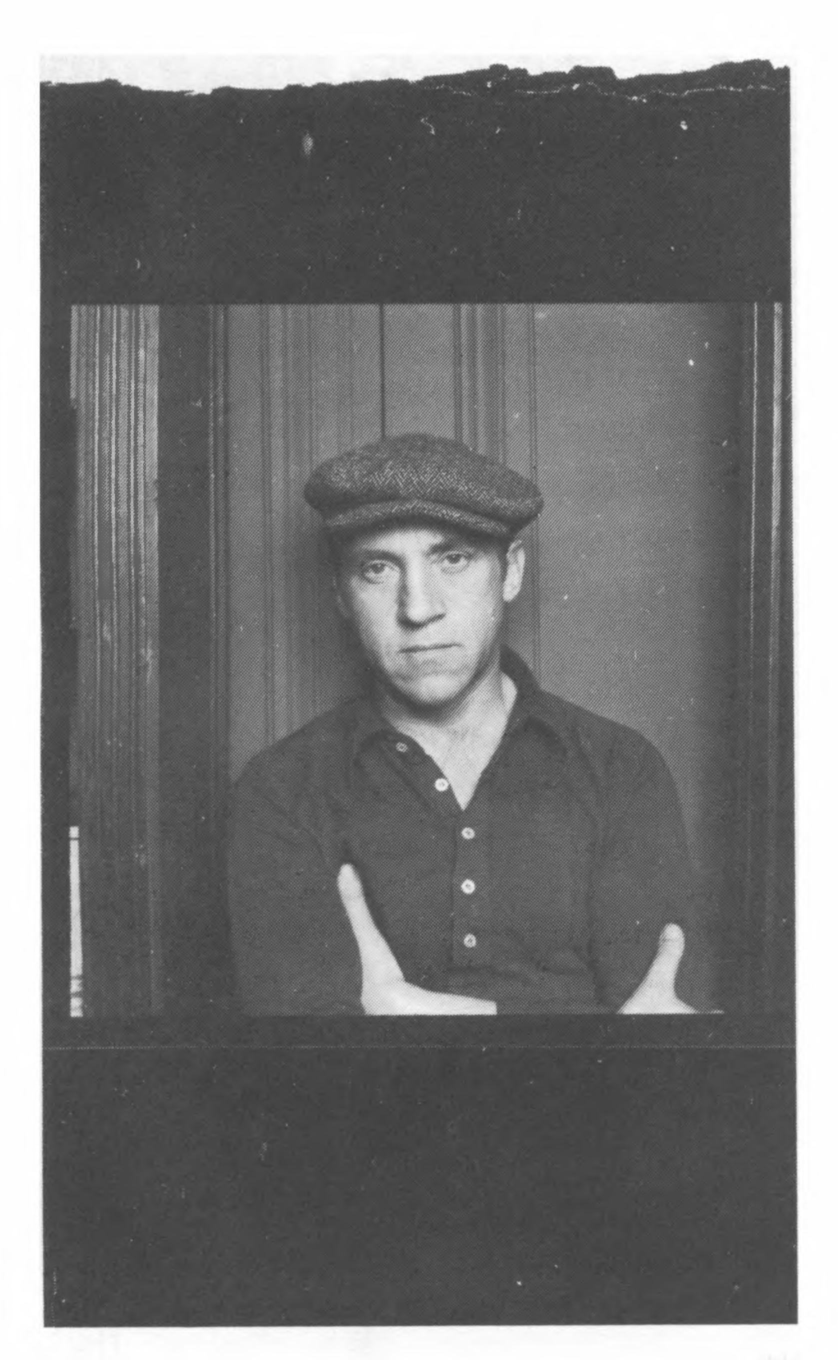
Пишу и думаю: а вдруг ему, десантнику этому, не понравится? А после решаю: плевать, надо написать правду, как я ее вижу, а не как он. Вот он рисует руку и не спрашивает меня, как рука? А рука, посреди черт знает чего, прекрасна и ужасна: и ногти, и ощущение, что мертвая рука не выдержит, ибо ногти-то будут еще расти и расти. И я зажмуриваюсь и слышу голос Эрнеста откуда-то из-за близкого, но крутого поворота: «Понимаешь, тут ученик у меня был, курил марихуану, пришел Во-

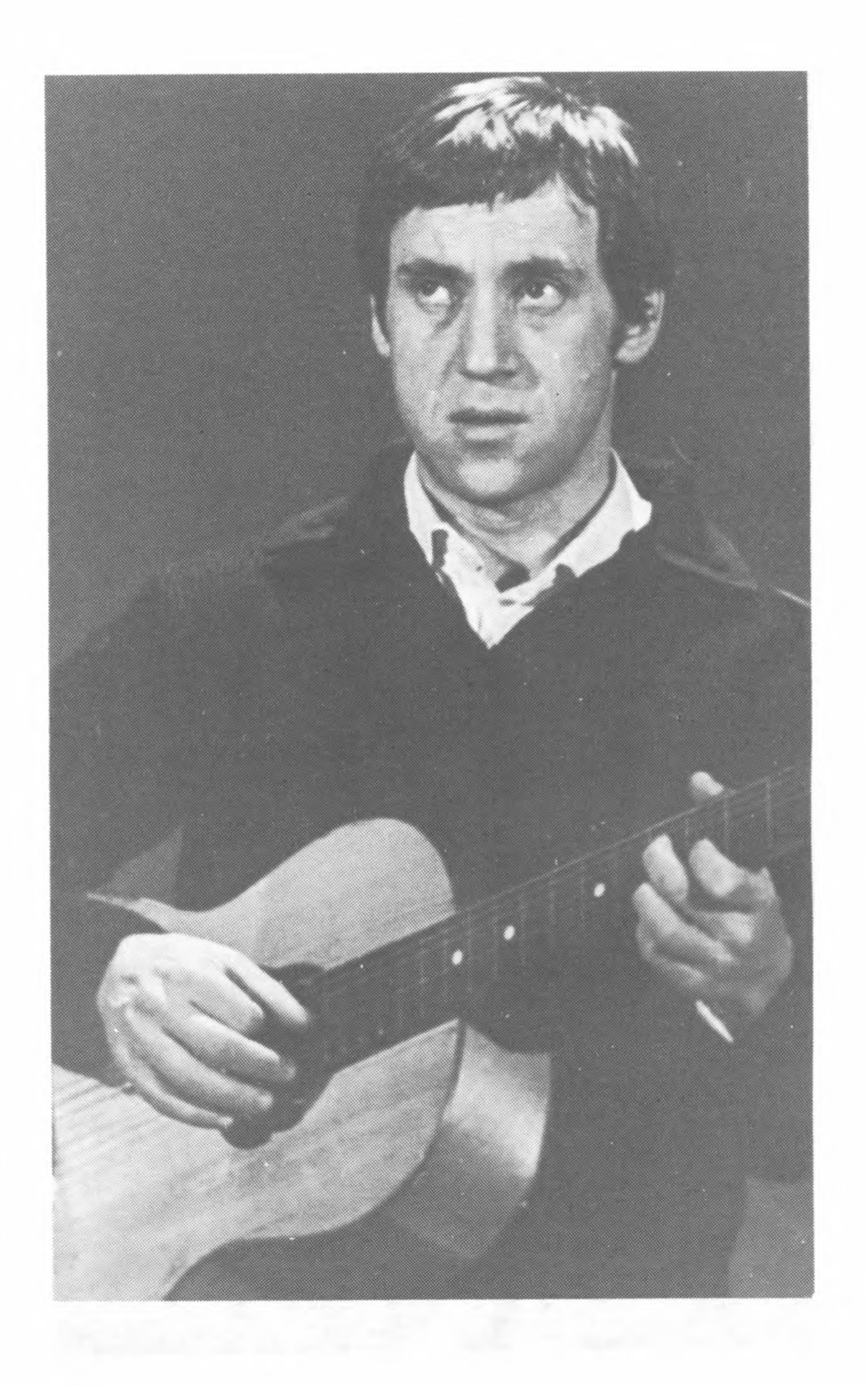


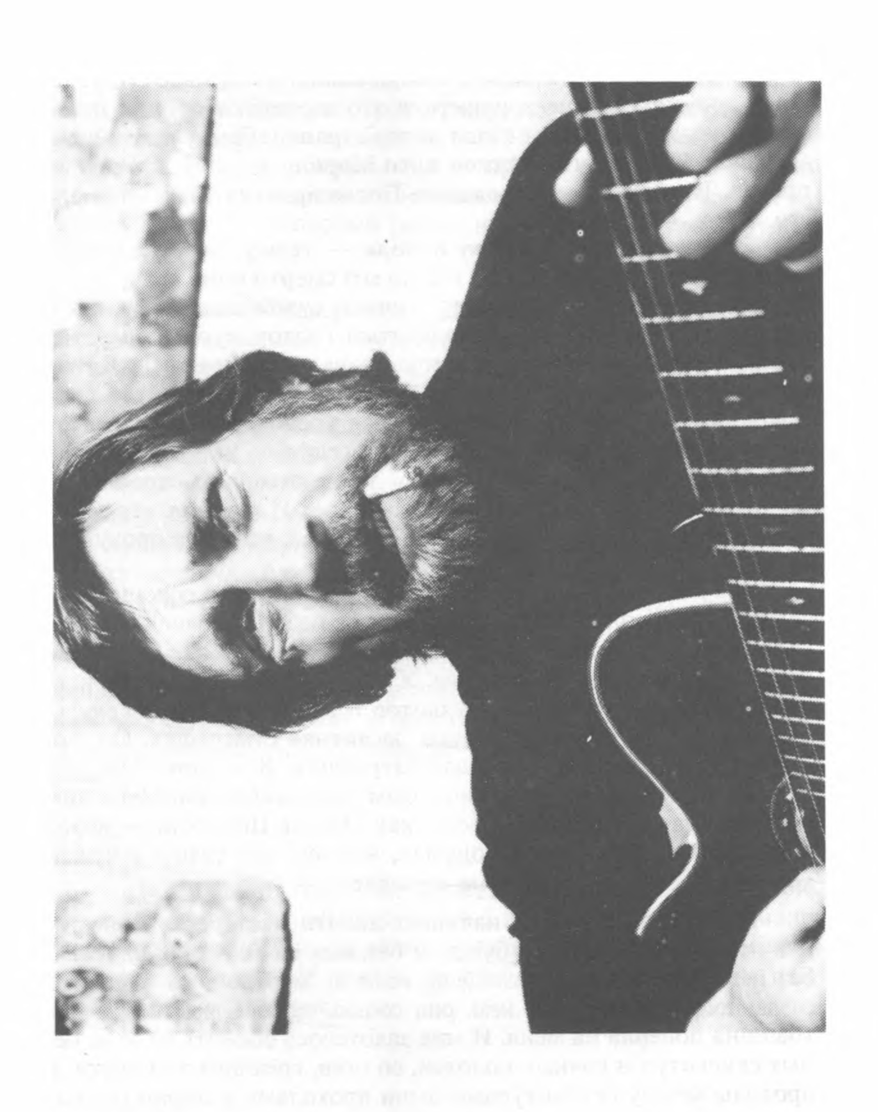
Патрик Бернар

Владимир Высоцкий и Михаил Шемякин
в Париже у Михаила Шемякина

На черном море







лодя Высоцкий, а тот возьми и дай ему затянуться. Это было ужасно. Он сошел с ума. Разделся догола и полез в окно. Мы ему мешать, а он начал кричать, что его хотят похитить, что это — провокация, лез на меня, ногой норовил, а мне надо его успокоить, остановить, не поранить, а это чертовски трудно, понимаешь, когда тебя убить хотят, и что странно: бред у него с явью мешался. Кричал, что должен идти Марину встречать, а это — правда. И тут же — провокация. После приехал врач, приятель его. Увез...».

Эрнест говорит, а я вижу Володю — тело у него, как у двадцатилетнего, говорил мне за год до его смерти один врач, — и я вижу Володю, голого, рвущего жилы и сухожилья, вижу, как в нем кровообращается этот проклятый глоток марихуаны, смешанный с водкой, а может, и еще с чем-то пострашней. Я буквально ощущаю, как мечется он в себе сам, рвущий себя на тыщу частей, одна из которых боится провокаций, а девятьсот девяносто девять хотят остаться и поселиться на углу Третьей Авеню и семьдесят второй улицы. Тогда этот дом строился, и Володька его облюбовал. И показывал мне. И говорил, что хочет самый верхний этаж и черт с ней, с крышей, если она прохудится.

А Эрнест выписывает ногти и на одной ноте говорит, как звонит в колокол, вперед, назад, вперед, назад: «Познакомились мы с ним в тыщу девятьсот незапамятном году. При Сталине еще. Он не хотел быть актером. У него уже тогда было страдание отчуждения. Я ведь не скульптор тоже. Я просто стал скульптором. Ему импонировала моя десантная биография. Он, по-моему, по призванию — солдат-Штрафник. Я — тоже. Нас еще сближала любовь к размагниченным интеллигентам. Мы с ним при встречах сбрасывали маски, как Мишка Шемякин — кожу. в которой ходит». Тут я подумал, что мы все ходим в чужой коже, только Миша этого не скрывает.

Постепенно на меня начинает давить мастерская Эрнеста. Я в ней бывал и прежде, бывал и без ведома хозяина, но тогда, без него, мастерская выглядела, если не мертвой, то нарочито созданной, а сейчас, при нем, она ожила, задвигалась, и вся чертовщина поперла на меня. И мне захотелось сбежать от этих белых скульптур и сочных полотен, со стен, греющих эти кости, а проходы между скульптурами были проходами в пирамиде, называвшейся Неизвестным, а он бубнил и бубнил, не обращая на меня внимания, словно все дело было в данный момент в ногтях на мертвой живой руке.

«...Володя — друг. Он появлялся у меня чаще всего, когда мне было плохо. Чем хуже мне было, тем чаще он появлялся. Он был чудовищно талантлив. Как поэт — он явление. Была некая

«слэнговая поэзия» и до него, но все это были детские игры на лужайке...».

Я пишу только его слова, а они у него — неокрашенные. Этому его научили в десантных войсках. По мертвым не плакать, живых не бояться! Эрнест, по-моему, боится мертвых, по крайней мере, смерти он боится наверняка. Такое ощущение от его работ. Они не за жизнь, они — против смерти, они — сами по себе, ибо ждут своего окончания и горестно стонут, зная замыслы создателя, который решил не заканчивать свой труд до конца...

«Его стихи — невероятно талантливы, а такого социологического исследования, по-моему, ни один человек за время советской власти не проводил. Саша Галич? Да ...и все-таки Высоцкий.., не знаю...».

А я знаю, в Москве лежат сиротливо еще неспетые песни, а на Ваганьковке лежал он с лицом, закрытым носовым платком, чтоб было не жарко, а ведь сколько-то дней до остановки сердца не пил и вдруг «загудел»...

«...Не могу успокоиться, что такая последняя встреча...» — Эрнест покончил с рукой и отошел. Я думал: отошел поглядеть, как она, рука эта, со стороны, но он даже и не поглядел на руку, встал у другого мольберта, сменил кисть, окунул ее в черное и стал завершать какой-то прямоугольник, а я подумал, что Володин гроб был тоже прямоугольный, среднего размера, подумал, что скульптура, как и десант, накладывают отпечаток — то и другое требуют собственной крови, правда, десант — и чужой.

...Да, Володин гроб был прямоугольный, и стол на сцене, где стоял гроб, — прямоугольный... и вообще, через всю нашу жизнь проходят столы от родильного до стола в морге, и все они — прямоугольные. И только те столы, за которыми мы спиваемся, — квадратные...

«Да, вот еще: когда уезжал я, дня за три-за четыре позвонил мне Любимов, попросил зайти в театр. На следующее утро я зашел. Он потащил меня в фойе и стал укорять, что, де, все, кто бывал в его театре, оставили на стенах свои подписи. И кого здесь только нет, а Неизвестного — нет! — Только ты, — говорил он мне, — нарисуй что-нибудь на двери, а не на стене. Я

удивился: — Почему на двери? — Понимаешь, стены могут разрушить, дом снести, театр перевести, а дверь я всегда с собой унесу. Тогда я и Володьку увидел там в последний раз. Он спросил: — Уезжаешь? А я ответил: — Уезжаю!

А увиделись после того лишь в этой мастерской...».

...Стояли скульптуры, молчали скульптуры, а Эрнест раскачивал свой колокол...

Он, Эрнест, похож на Хемингуэя именем и тем, что бесстрашие в нем уживается со страхами. Они, эти страхи и это бесстрашие, в его работах, а сам он уже забыл обо мне и, честно говоря, я не хочу напоминать о себе. Зачем?

Когда человек творит, ему не надо мешать. У человека на эту работу отведена одна жизнь, и она не длиннее семи дней, если разобраться.

* * *

Быть любимцем России захватывающе и опасно. Его спаивали от моря и до моря, его любили от края и до края, его стискивали в объятиях от границы до границы...

Он приезжал к бабке в Киев и не мог посидеть с ней часа. Он забегал к отцу, который живет в одном из Сретенских переулков, в генеральском доме, и тут же, якобы по делу, в квартирку на огонек заглядывал какой-нибудь генерал с женой, дочкой, внучкой и Жучкой. Все хотели увидеть, потрогать Володю.

А тут начали рядом рваться снаряды — молодое поколение отдавало дань переходному времени от Левы Кочаряна до Васи Шукшина, отступала молодость, отступала жизнь. Замаячили кладбища, а на выбор уже не было сил. Выбор был сделан. Роковой, российский, замкнутый. Поздно и некуда было отступать. Дипсомания исхитрилась, а вокруг все было доотказа набито «друзьями» и «женой», «единственной, которую любил», а мать своих детей не любил никогда?! — но мир с «друзьями» и «единственной» обнажился оглушающе пустым и безвоздушным...

Меня упрекнули недавно. Сказали, что у меня стиль, как я сам, — нервный и рваный. Мысли без конца и начала, что понять то, что я пишу, трудно. Может, это в какой-то мере и так, но — какая жизнь, такой — стиль. Какой мир внутри, такой и снаружи, а притворяться и врать я не умею и не люблю.

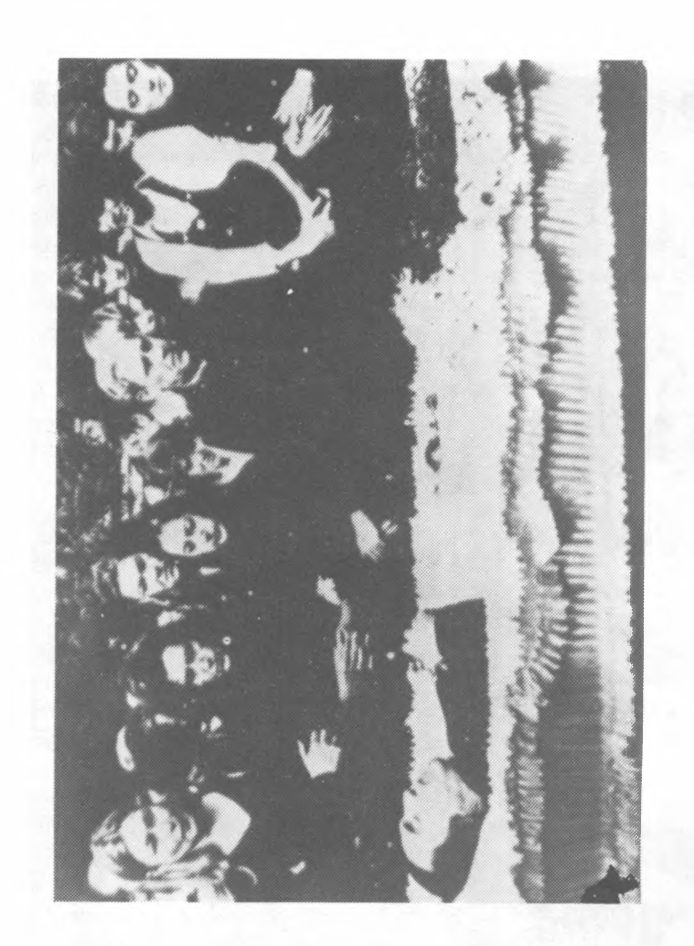
* * *

Похороны Высоцкого



Смерть досрочная в отчизне
Наш советский образ жизни...





Мне прислали много фотографий с похорон, но лишь на одной я нашел возле гроба только близких. Слева направо: Марина, мать Володи, жена отца, отец и крайняя справа — первая его жена Люся Абрамова

Дело было у Яра.

И, возвращая в прошлое, пела гитара. А у нее ничего не получалось, увы.

И тренькал рояль: «Цумба, цумба, цумба, член райкома в воскресенье в Божий храм ведет семью: хочет быть в одно мгновенье и в райкоме, и в раю» — такими опусами начинали свою карьеру Александр Шуров и Анатолий Трудлер. Опусами глупыми и похабными. А ведь жил еще в то время Яша Ядов, небольщой, вечно почесывающийся человечек, с вечной, средних размеров пишущей машинкой «Ундервуд», печатавший средним пальцем со скоростью звука. Приходил он к клиентам на дом. Клиенты — эстрадные куплетисты от Зингерталя до Громова и Милича. Кому-то «Бублички» продешевил за пятерку, а когда брал деньги, наверное, блаженно улыбался. Моей матери, эстрадной актрисе Елене Арсат, написал в новом, пародийном варианте «Бирюзовые золоты колечки — непонятные слова: в этой песне и ноги есть и плечики, ну, а где же голова?». Ей же: «Словно туча прет метелица темносизою грядой, на концертах красна девица кормит зрителя водой...». А после Яша взял и тихо умер. В те годы, чем люди были талантливее, тем тише они умирали. А. Шуров остался один. Трудлера убили в трагическом московском ополчении сорок первого года, куда загнали московскую интеллигенцию, где она почти вся бессмысленно легла под гусеницы фашистских танков, даже не сумев лечь под гусеницы так, чтобы затруднить продвижение фашистов к Москве.

Потом А. Шуров нашел Юрия Благова, но осел Юра в редакции «Крокодила», а возле толстяка Шурова возник сын бывшего рыбинского богатейшего купца Николай Николаевича Рыкунин. Сошлись они, спелись, срослись, и хотя Шурову сейчас далеко за семьдесят, он незыблемо восседает возле рояльчика и «шпарит перлы», напоминающие их «шлягеры» пятидесятых. А я им написал «Оперу» с Аркадием Аркановым. Старались мы с ним изо всех сил и создали просто шедевр пошлятины на музыку Верди, Бизе, Бородина и т.п. Зрители умирали от смеха, Шуров и Рыкунин — от радости, мы — от стыда. Кусок из «Оперы» для ясности: «Шуров, играющий официанта ресторана: — Борщ кончился!

Рыкунин, играющий клиента:

— Так дайте же второе!

— Рагу изволите?

— Так дайте хоть рагу!

Шуров подает якобы тарелку с якобы рагу, а Рыкунин, принимая якобы рагу, поет: «О поле, поле, кто тебя усеял этими костями?!».

И все остальное в том же духе.

Так они и жили. Люди уходили кто куда, а кто — далече, а они, пританцовывая, старели, катастрофически отставая от времени. А оно летело, в концертных залах появлялись новые люди с недоумевающими лицами, уходящие посреди действа, и все шло к тому, что вскоре и вообще перестанут покупать билеты на этот нелепейший старомодный балаган.

Рыкунин, он на десять лет моложе «Шурика», сообразил, что коль дело пойдет так и дальше, — труба. А был Коля большим бабником и на этой почве имел всесоюзные связи, в том числе с Сергеем Владимировичем Михалковым, а тот заправляет и посегодня киножурналом «Фитиль». Он там собрал «гвардейскую роту» редакторов и писателей-сатириков. Надо сказать, что временами работали в «Фитиле» способные и талантливые люди. Работали там редакторами и пописывали Феликс Кандель* и Анатолий Гладилин. Редактором была Лена Семенова. Сейчас эта троица здесь, по эту, так сказать, сторону: Феликс — в Иерусалиме, Толя — в Париже, Лена — в Нью-Йорке.

Так вот, СССерррежжжа МММихххаллллкккcovв, самый шустрый из советских заик, подсунул Рыкунину одного из сотрудничавших у него в «Фитиле» крокодильцев, Андрея Внукова. Внуков — маленький, черненький с усиками «а ля Чарли Чаплин» — любил делать умное, многозначительное лицо. Когда он его делал, хотелось либо что-то подправить на этом лице, либо выть. Зато Внуков обладал неоценимым и там, и в США качеством: издалека чуял коньюнктуру. Однако, и на старуху бывает проруха. Был год шестьдесят шестой, и А. Внуков, ослепленный огромными эстрадными гонорарами да плюс маячившими впереди авторскими отчислениями, позабыл, что за шестьдесят шестым годом следует шестьдесят седьмой, то есть наступает пятидесятилетие советской власти. И черт его дернул написать программу «Черная кошка». Ну, поверье о черной кошке там, дома у нас, где дома у нас не было, — было: и доныне от нее шарахаются. Почему от «Черной кошки» шарахаются, а от «Черного ворона» — нет? Вот вам еще один из аспектов загадочной русской души.

Случилось, что состоялась хорошая программа. Местами было смешно. Правда, актеры требовали смешного материала еще и еще. От авторов. Ибо, чем слабей сатирик, тем зависимее он от текста и музыки.

Под давлением Шурова и Рыкунина я заставил друга

---

* Ф. Камов-Кандель, мой старый приятель, живет в Израиле. Написал и издал несколько книг по-русски.

своего бывшего Эдика Успенского написать совместно номер «Левша» — почти по Лескову. Я подкидывал темы и рифмы. Эдик — смех. Начинался номер, который оказался в центре описываемых событий, так:

«На Руси, как говорят,
Где-то в средней части,
Много лет тому назад
Жил прекрасный мастер.
Люди мастера того
Сильно уважали
И изделия его
Долго не лежали.
Даром мастер был левшой,
Да работал он с душой...»

Далее шло о том, что нынче «Левши» куда-то запропастились, а на их место пришли бракоделы, министры-очковтиратели и прочая.

Наконец, забыв о том, что нас ждет впереди, программу почти без изъятий пропустили. И в этом была заслуга несомненная режиссера-стукача Столбова.

Год «Кошка» с успехом шла по стране.

И вот наступили предпраздничные дни, хотя и весь год тарахтела пропагандная машина без умолку.

Дней за десять до юбилея комитет ГБ Ленинградского района города Москвы решил «справить юбилей». И снял комитет для этого мероприятия Яр. И пригласил своего председателя главного, а был им в тот год достославный товарищ Семичастный — любитель и губитель российской словесности, а ныне зампредсовмина УССР. Интересно, не снится ли товарищу Семичастному по ночам загубленный им Борис Пастернак? За нас, за всех Саша Галич сказал: «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку...».

Да, жаль, что пять лет назад, здесь, в Нью-Йорке, как в воду канул мой небольшой архив. Сколько-то бумажек, но каких! Жаль.

Была среди этих бумажек одна, о которой речь пойдет ниже. Автограф был Семичастного. Когда пропал, жалел я его очень, думал на аукционе цены ему нет, а на днях в НРС прочтя, что автограф Анны Павловой меньше двухсот долларов стоит, перестал сокрушаться. Если за А. Павлову — двести, за Семичастного — дай Бог четвертную бы отвалили, а то и вообще в шею бы выгнали с этим автографом.

Вывез я несколько интересных бумажек в кармане пиджака,

Автограф Эдуарда Успенского автору,
присланный через советскую почту

а главное — более шестисот фотографий семейных и памятных забрали за час до самолета из-за двух невинных совсем: наткнулись на них, копаясь в поисках ценностей, и вдруг обнаружили меня — эмигранта,на одной — вместе с Гагариным, Титовым и Кобзоном, на другой—я с Гагариным и с его женой. Из-за этих двух фотографий забрали все! А через полчаса улетал самолет. И хорошо еще, что кое-что мне потом переслали и перевезли.

Однако и без автографа Семичастного эта история имеет свое завершение. Автограф — личная записка Семичастного.

Записка была любезной, а вызвало ее следующее обстоятельство. Как я уже сказал, ГБ Ленинградского района города Москвы арендовал зал гостиницы, где прежде располагался знаменитый Яр, где «соколовская гитара до сих пор в ушах звенит», куда подкатывали лихачи, где, присвистывая, гикали ямщики, грузили в розвальни обожравшихся и опившихся купцов,.где теперь крупно и скучно написано «Гостиница «Советская». Одним названием взяли и опошлили Яр. В подвальном этаже «Советской» расположен зрительный зал, а фойе — в стиле метро московского: чистое, в мраморе, но мертвое.

Все гебешники пришли при параде, многие — в штатском. Охрана Семичастного облазила зал суток за трое до дня совещания. И после осмотра уже никто до начала не мог туда войти. Буфет завезли специальный, и из-за этого буфета все и произошло. Меня вписали в артистический список. Пропускали по паспортам. А пошел я на вечер из-за ростовского рыбца. Умирал я по этому рыбцу, после того, как вкусил с Муслимом эту рыбку. А были достоверные сведения, что рыбец завезли в буфет.

Прошел я с актерами за час до начала, а гебешников Ленинградского района запускали лишь за тридцать минут. Тут мы все и «отоварились». И рыбца я взял килограмма три. И прочего. За кулисами — теснота. Шуров с Рыкуниным так нервничали, что и в буфет не пошли: спорили, что исполнять, что — ни в коем случае. Шуров — дурак, дурак, да умный: говорит, пусть не смеются, но и не таскают потом, а Рыкунин говорит, что надо, чтоб смеялись. А то после речей — и не смешно — ужас. Тут черт меня дернул вмешаться: «Вы сделайте «Левшу». Помните, как Хрущев вам в Колонном зале за кулисами сказал: «Сатирики должны петь вождям — про рабочих, а рабочим — про вождей». Так вот, вы и пойте гебешникам про бракоделов, а не про разведчиков, а?!». Шуров клюнул. Он обожал примеры, а с Хрущевым разговор, действительно, был. И дословно — такой. Я присутствовал тогда как директор программ и коллективов, проводивший концерт в связи с предшествовавшим тайным вручением Ленинских премий деятелям военной науки и техники...

Начались речи. Выступавшие говорили минуты по три. В конце, как всегда: «Ура! Да здравствует и т.п.». Куда они спешили? Оказывается, они спешили освободить трибуну товарищу Семичастному. Он говорил час. И была его речь — мы из-за кулис слышали ее отрывками и урывками — хитрой и жесткой. Попахивавшей близким прошлым.

Потом начался концерт, и товарищ Семичастный остался развлечься. Развлекся, а на утро Рыкунину принесли в конверте с полоской поперек письмо. Личное, от Семичастного. Текст примерно такой: «Дорогие А. Шуров и Н. Рыкунин. Получил удовольствие вчера. И решил побеседовать. Хорошо бы сегодня в три часа дня. В два тридцать заедет за вами мой помощник.

С уважением, Семичастный
председатель КГБ»

Ну, там и дата была, как положено, но почему председатель написал от руки?.. Этого — не узнаем.

Мы все трое жили в Каретном ряду. Я жил с Рыкуниным на одиннадцатом этаже — сейчас в Нью-Йорке тоже живу на одиннадцатом, только сейчас надо мной еще двадцать этажей, а тогда была — крыша. И жили мы с Колей дверь в дверь. Он забегает ко мне бледный, как полотно и шипит: «Левша». Я тоже, наверно, с лица сошел. (Некоторые эмигранты в своих рассказах, случается, повествуют о том, какими храбрыми они были там. По-моему, врут. Я вот, вроде бы никого, с кем имел дело, не боялся, но дело я имел с артистами и композиторами. Очень редко с чиновниками, хоть и высокими, но из министерства культуры. А КГБ — боялся. И сейчас чуть-чуть боюсь. Может, с приходом к власти президента Рэйгена этот страх у меня пройдет совсем? Не знаю).

Да, так Рыкунин шипит: «Левша», а я ему: «А может, внуковские куплеты?». Он говорит: «Может, но сейчас уже все, поздно сейчас, а что делать?». «Как что делать, — говорю, — бриться и ехать. И начать готовить Шурова. У него ж гипертония. А то останешься без партнера. Да и письмо — милое вполне. И — мирное. Может, даже что и ничего не будет, а?». Говорю, а сам не верю и трушу: «Левша» этот чертов, рыбец этот чертов, сатирики эти чертовы! То ли дело — песни про любовь!

Шуров, прочитав письмо, покраснел так, что мы решили: удар! Однако, сколь труслив был он, столь и здоров. Отошел. А в два тридцать — поехали они. С четырех начал им названивать. И бегал звонить в двери. В шесть они вернулись. Бледные, губы едва растягивая, рассказали, что все не слишком плохо. Но и не слишком хорошо. Принял их товарищ Семича-

стный, чаем с печеньем угостил (как Круглов — Дунаевского!), но без пирожных. Пожурил их отечески. А под конец «на юморе» сказал, что, мол, де, нечестно так сражаться: он, Председатель, час говорил за советскую власть без музыки, а они против советской власти тот же час — под музыку. Эдак не годится. А «Черную кошку» надо, товарищи сатирики, на свалку. Такой год, а вы?!». Распрощались дружески.

А через несколько месяцев руководство Москонцерта было вызвано в МК КПСС по настоянию Семичастного, который, посетив концерт в клубе КГБ, услышал, как А. Лившиц и А. Левенбук поют:

«Заходит в книжный магазин,
Стоит и возмущается:
Зачем порою продают
Не то, что полагается?!

Зачем нужны народу
Блок, Есенин, Пастернак —
Он хочет, чтобы каждый был
Такой, как он — дурак!»

Напомнили авторы куплетов Ф. Камов и Э. Успенский на мотив известной «Солдат всегда солдат» о виновнике гибели Б. Пастернака прямо ему в лицо. Куплеты изъяли из употребления, и многие нахватали выговоров. А в приказе так и стояло: «...За куплеты «Дурак всегда дурак».

А вот Шуров после визита болел месяц, ибо другой программы не было, и выступать им было не с чем. А я тогда же подумал о том, что вожди далеко не дураки. И знают, кого и чего бояться. И понимают, что под музыку можно и черта свернуть. Поэтому, видимо, авторские гонорары всем ограничили, а композиторам-песенникам и поэтам-песенникам — нет! И я, в прошлом поэт-песенник, хоть и писал только о любви, иной раз думаю: а ведь был я — их человеком, ибо служил в цехе, который им, может, не менее важен, чем цех, где делают автоматы.

* * *

Современным артистам с помощью радио, телевидения и магнитофонов жить стало вольготней: одна песня, две-три смешные интермедии — и популярность на всю страну обеспечена. Не то было даже и до войны. Радио и патефон помогали актерам, но не было у них мощи телевидения и магнитофона. Может, оттого, а скорее всего, именно оттого, и не стал таким знаменитым, как Райкин, потрясающий, гротескный, невероят-

ный артист Владимир Яковлевич Хенкин. Маленького росточка, лысый, с мелкими чертами лица, он буквально лучился фантастической энергией юмора, если можно так сказать. Вот он читает со сцены Центрального Дома Работников Искусств «Вечернюю Москву». Зал плачет от смеха.

Читать во времена Сталина даже и четвертую страницу «Вечерки» со сцены — опасно, но не Хенкину. Его любят все. Возможно, и Лубянка. Да, — и Лубянка. Он выступает на всех праздничных концертах в их клубе. Впрочем, он в праздничные дни выступает во всех клубах, куда успевает. Он так спешит пятого и шестого ноября с концерта на концерт, что не снимает калош. Рассказывали, как в 1946 году Берия позвонил председателю Комитета по делам Искусств Храпченко и выговорил ему за Хенкина, который выступал перед государственной безопасностью в калошах.

Хенкин был очень добрым человеком, очень скупым на деньги. Он собирал старинные часы. Его страсть была дорогостоящей и увлекательной. Бездетный Владимир Яковлевич все оставил племяннику, в том числе и сотни часов. Страшно было смотреть на тысячи спешащих стрелок, когда хозяин их лежал мертвым.

Совсем нет его записей, нет кинолент, нет ничего и о нем, кроме имени в книгах, а ведь он был великим комиком. Вижу: выходит на сцену Хенкин, делает «мертвую паузу» минуты в полторы — в такой паузе на эстраде любой артист тонет, а он не только не тонет, но вот возникает изнутри, из живота зала сначала легкий и недоумевающий, а после неудержимый хохот. Люди смотрят друг на друга, как на идиотов, и не могут остановиться. Хенкин делает короткой ручкой жест, зал затихает и он стреляет: «Блины!». Одно слово, как бомба. Ну, блины, что здесь смешного? Хохот! Опять ручка вверх, тишина и идет скачками рассказ, прерываемый взрывами смеха. И это на любой аудитории. Сталин разрешил один раз пригласить Хенкина на правительственный концерт в Георгиевский зал, на мгновенье, во время выступления Владимира Яковлевича, забыл быть богом, начать хохотать, а после приказал больше Хенкина не звать.

Говорят: «Ум человеческий ограничен, глупость беспредельна». Но талант, думаю я, вспоминая о Хенкине, безграничен. Маленький человечек и такой огромный: жест ручкой, несколько слов пронзительным голосом, что-то вспыхивает в лице, и люди хохочут, а значит, пусть и на миг, — счастливы.

* * *

Матвея Исаковича Блантера, одного из самых популярных композиторов-песенников предвоенной поры, всю его жизнь называли «Мотей». Это шло от него: знакомясь с людьми много моложе себя, просил: «Пожалуйста, называйте меня просто «Мотя». И все его называли «Мотя». И я — тоже, хотя он был много старше меня, но вот я живу в Нью-Йорке, и слышу то в одной оранжировке, то в другой — «Катюшу», написанную Мотей: когда-то он был много старше меня, а нынче я его обогнал. Он со своей «Катюшей» не постарел с той далекой поры.

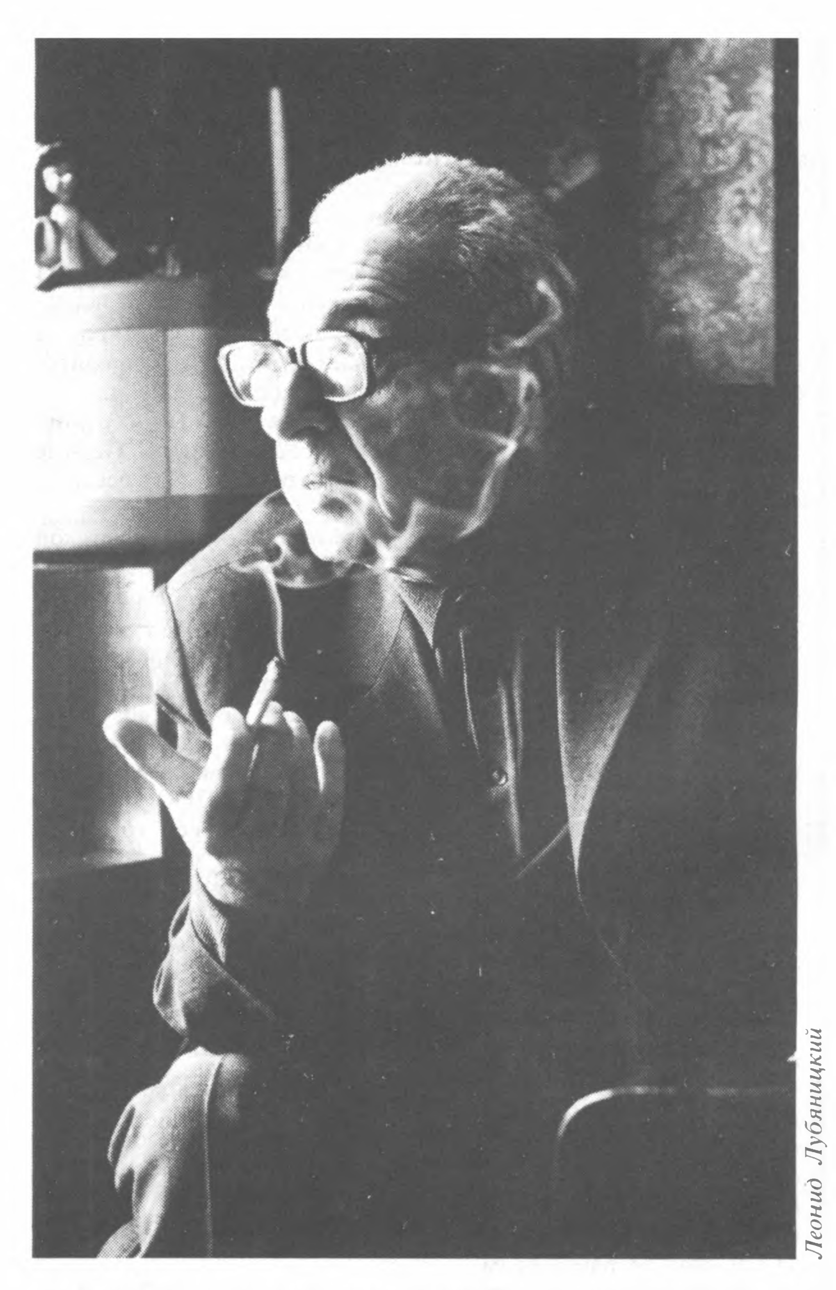
...Советской песне на Западе не слишком повезло. Мировых шлягеров в СССР не написано, но песни нескольких композиторов «попали в десятку» усилиями всего русского народа.

Это — «Катюша» М. Блантера, «Темная ночь» Н. Богословского и «Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого. Первые две обязаны своей популярностью войне, третья — Хрущевским тщетным попыткам...

А до войны не один Мотя был «Мотей». Тогда в советской песне процветала яркая, самобытная еврейская провинция, впущенная в две столицы. Был Мотя, был Моня — Модест Табачников, был Зига — Сигизмунд Кац, был Ледя — Леонид Утесов, был Исачок — Исаак Дунаевский — они «делали погоду в легкой музыке», впрочем, евреи и сегодня удерживают эти позиции, но нет уже Моти, Мони, Зиги, Леди, а есть Марк Фрадкин, Ян Френкель, Оскар Фельцман, Владимир Шаинский, однако времена — смешно! — стали мрачней и композиторы сделались важными и скучными. Они ходят в ЦК КПСС. Ян Френкель — первый человек у заведующего идеологией товарища Шауро. Ян оркестровал гимн СССР по личному заданию Шауро. За оранжировку гимна ему дали все, но премии Ленинской Шауро дать ему не смог, хотя обещал. Так и сказал, упирая на отчество Яна: «Не могу Ян Абрамович, время крутое. Как-нибудь в другой раз». Другого раза ни у Френкеля, ни у остальных евреев в той стране не будет. И у русских не будет. Блеснул для них шанс малый — Никита, но они его пропустили, и — все...

...Мотя был острослов. Встретил он как-то в проходном дворе Дома композиторов бездарного приспособленца-музыковеда. Тот ему радостно крикнул: «Мотя, поздравь, меня сегодня приняли в партию!». Мотя сходу ответил: «Слава Богу, наконец-то очистились наши ряды!». Блантер, как, впрочем, почти все талантливые артисты, писатели и композиторы в СССР, был беспартийным.

Мотя всем рассказывал, что родился и вырос в бедной семье. «Понимаешь, я рос в такой бедности, что если утром просы-


Леонид Лубяницкий

Матвей Блантер

пался, а пипка не вставала, так мне и поиграть не с чем было, вот в какой бедности я вырос, понимаешь...» — рассказывал Мотя, хотя злые языки утверждали обратное и насчет бедности, и насчет пипки. Ну, на счет бедности — понятно, вот что злые языки имели в виду, говоря о пипке?

Мотя «любил не спешить» по его собственным словам, и Утесов завистливо удивлялся: «Мотя всегда не спешит и никогда не опаздывает! Как он ухитряется всюду успевать?». Поэтому я тут же вспомнил о Моте, когда один американец рассказал мне по-русски анекдот о двух быках, молодом и старом. Тут надо ставить точку, но передо мной четко встает недовольное лицо читателя: «Сказал «а», говори «б», короче, что за анекдот?!». Пожалуйста. «На пригорке стоят два быка, молодой и старый. Внизу на лугу пасутся коровы. Молодой бык говорит: «Слушай, давай побежим и трахнем одну корову, а?!». Старый бык внимательно поглядел на молодого, пожевал выцветшую нижнюю губу и ответил раздумчиво: «А может, лучше пойдем медленно и трахнем всех?!».

Как я уже сказал, была у Сталина «могучая кучка» евреев-песенников. Они жили напропалую, лихо, здорово, любили «отца и учителя», а шалили, как хотели и трахали всех, кого хотели, но писали веселые песни. А я думаю: хорошо они поступали или плохо, сочиняя подобные песни для русского народа в период построения социализма? Не знаю.

Правда, в войну кое-кто из них искупил свои грехи, но в основном война выдвинула новых композиторов и новые песни, однако, под занавес, в самом конце войны прозвучал и Мотя Блантер:

«...И под звездами балканскими
Вспоминаем неспроста
Ярославские, рязанские
И смоленские места...»

Я пишу эти строчки в прекрасном Нью-Йорке и под его звездами вспоминаю с грустью ярославские и рязанские, смоленские и московские места. Я думаю: есть средство от полиомиэлита, скоро будет средство от рака, но никогда никто не найдет средство от себя...

Поэтому, привязанные каждый к своей планиде, одни живут дома, другие уезжают, а третьи сочиняют «Катюшу» и живут одновременно дома и в Нью-Йорке. Как Мотя Блантер.

* * *

...Мокрое шоссе поздней осенью тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Я — за рулем старой «Победы», рядом со

мной хмурит заспанное, усталое лицо Юрий Петрович Любимов. Мы едем в Люблино, где очухивается Володя, едем «вызволять» его на очень важный для театра на Таганке вечер: в этот вечер в театр на «Галилея» должны прийти французы или западные немцы, не помню, на предмет покупки театра на гастроли. Забегая вперед, скажу, что спектакль и театр покупателям понравились, но продавцы из министерства культуры заартачились, и сделка не состоялась.

Любимов говорит: «Володя — неровный актер. То он — гениальный Галилей, то — посредственный. Нет, нет, это слово к нему не подходит, а меня упрекают, что Володя — неуправляем, как человек и актер, что я не работаю с ним, что он и не Гамлет, и не Галилей, а всегда и во всех спектаклях — Высоцкий... — Он помолчал. — Это правда, потому что он по своей наполненности, по своему заряду и накалу — личность того же ряда...».

Кстати, один автор в своем «плаче» о Высоцком цитирует слова режиссера Швейцера, что даже на Таганке Высоцкого не понимали. По-моему, это — глубокое заблуждение Швейцера, а заодно и автора, которые его слова ввел в статью.

Любимов: «Воздвиженская сейчас прочтет мне лекцию, затем откажется отпустить Володю, потом скажет, что отпускает его на один вечер, заранее зная, что это — до следующего раза».

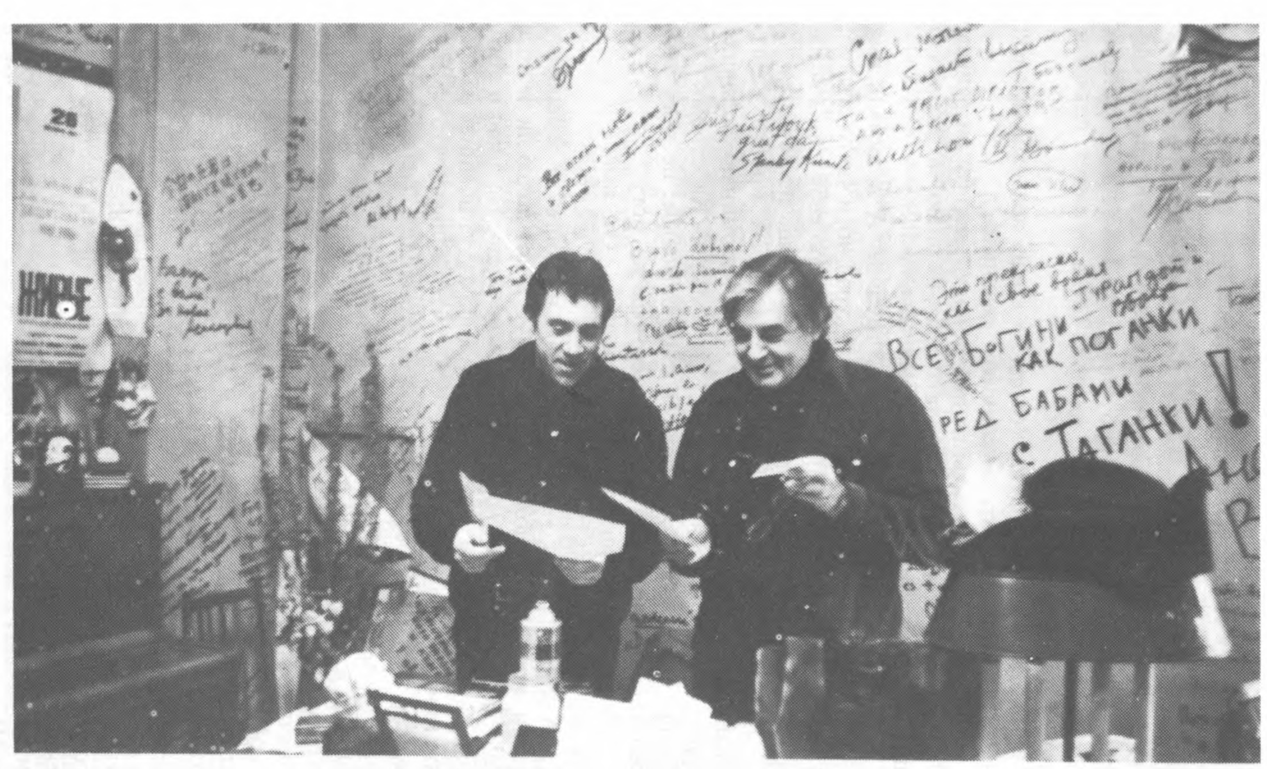
Накануне я звонил Воздвиженской по просьбе Любимова и боюсь, что на этот раз все будет не так просто.

Любимов сказал: «Взаимоотношения Володи и его запоев напоминают взаимоотношения пожара и пожарного. Ты меня понимаешь?».

Говорю, что не понимаю, не согласен, говорю, что скорее это — взаимоотношения длинной засухи и тропического ливня. Впрочем, наши метафоры чисто риторические и, конечно, не дают ответа на вопросы: почему пил и умер так рано В. Шукшин; почему пил и так рано умер В. Высоцкий; почему не надо стыдливо умалчивать об этом?

Наверное потому, что любой вид их творчества был «...обложен и их весело гнали на номера, где зорко хлопотали двустволки...» и тогда, когда они не могли «перемахнуть через флажки», начинался срыв...

Помню: 1939-й год, подмосковное Томилино, маленькая дачка, которую снимает брат моей матери Семен Владимирович Высоцкий, тогда попросту дядя Сеня, для своего годовалого сына Володи, помню Нину Максимовну, брошенную дядей, когда Володе был год. Я живу с ними на даче. Мне двенадцать лет. Тоска зеленая, и я дразню Володю, потому что делать на даче больше нечего. Тетя Нина зовет нас. У стены застекленной



В кабинете у Ю. Любимова

терраски стол, и для нас стоят на столе две чашки с молоком, а возле них лежат два здоровых ломтя пеклеванного хлеба, но Володя не любит молоко и каждый раз изобретает способы не пить его. Я думаю, он не столько не любил молока, сколько ненавидел насилие. Его с детства упрямое выражение лица становится еще упрямее, он откусывает от горбушки, прихлебывает из чашки и будто нечаянно смахивает ее на пол. Тетка ругается, плачет и смеется одновременно...

Любимов продолжает: «Володя — очень цельный человек: — Подумав, добавляет, — слишком цельный».

Тут я должен заметить: не пей Володя, умер бы он раньше — в двадцать семь или в тридцать семь, не знаю, но знаю, что раньше... Но и тогда он уже не был цельным...

Любимов считает: «Ему очень трудно». А я думаю: ему легко, когда трудно, не страшно, когда страшно, и часто стыдно; но изо дня в день он, наверное, повторяет про себя слова своей песни, посвященной Любимову и театру: «Еще не вечер!».

Любимов говорит: «Есть люди, которых просто невозможно представить себе старыми». И я вспоминаю Володину песню: «Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном». Там прошла юность, и я соглашаюсь с Любимовым: не могу себе представить Володю старым. И мертвым не могу.

Любимов спрашивает: «Еще долго?». Он имеет в виду, сколько нам еще ехать. Я отвечаю: «Минут десять».

А десять минут — это долго или не долго? У Высоцкого нет ни одной песни дольше пяти минут, а вот долго ли летит с высоты, скажем пяти миль, бомба, я не знаю. Не знаю и того, прав ли В. Максимов, говоря, что Володю будут помнить на протяжении нашего поколения. Уверен, что дольше, что смерть Володи только начнет раскручивать его жизнь. Только вспомните: «Я «ЯК» — истребитель, мотор мой звенит, и небо моя обитель, а тот, который во мне сидит, считает, что он — истребитель». Думаю, что «ЯК» — Высоцкий, у которого с самого изначала обителью были и небо, и земля, — не умер, а просто освободился от того, кто насильно сидел внутри и изредка успешно пытался сбивать его с курса. А раз так, значит не нужен плач, не нужны некрологи, а нужна правда о его жизни, которую в СССР начнут искажать сразу...

Тем, кто бывал в кинотеатрах и видел фильмы с его участием, тем, кто бывал в театре на Таганке и видел спектакли с его участием, а также тем, кто слышал его песни, достаточно на секунду отключиться от повседневности, закрыть глаза и убедиться в том, что они поторопились сказать Высоцкому: «Прощай!».

А если уж согласиться с теми, кто прощался, и представить

себе, что «ЯК» разбился, не сумев выйти из штопора, то и тогда у нас есть утешение: свое дело «ЯК» сделал, напомнив нам, что даже цветы не украшают нейтральных полос, что однажды совершенные ошибки — поправимы, что поражений, пока идет борьба, не бывает, что сдаться никогда не поздно, что «до свидания» лучше, чем «прощай», хотя бы потому, что оставляет надежду.

* * *

Георг Вильгельм Фридрих Гегель сказал: «Бойся Дьявола и попутных ассоциаций...». Так вот, со времен своей юности я не боюсь Дьявола, зато вдвойне боюсь попутных ассоциаций...

В районе сотых улиц Лексингтон Авеню есть дом постройки времен войны Юга и Севера. Возле него стоит разлапистое старое дерево. На уровне второго этажа дерево густо зеленое и один огромный его сук с массой веток согнут в локте как раз напротив трех окон квартирки, в которой живет одинокая старенькая парижанка времен Первой войны Запада и Востока. Перед Второй войной она из Парижа переехала с мужем в Нью-Йорк. Здесь, в этом доме, и в этой квартире, муж ее в шестьдесят первом году умер.

В Париже старушка и ее муж дружили с семьей Буниных, не имея, впрочем, никакого отношения к литературе. Но так выразиться и написать кощунственно. Каждый человек имеет отношение к литературе: одни ее создают, другие ее читают, третьи — любят, четвертые — нет, и так далее, а старушка с мужем книги читали и любили писателя Бунина. Помогали ему в Париже. И здесь, в Нью-Йорке, помогали, чем могли, а когда один активный господин из пишущих начал деньги для Бунина собирать, они свою лепту посильную вносили и все было ладно. Но однажды муж старушки — так совпало — решил поехать в Париж, проститься с людьми и с городом, а решив, поехал, и встретился там с Буниным. Совсем случайно Иван Алексеевич заговорил, что вот, мол, Бог не оставляет его людьми, а люди — помощью. И вот, недавно опять небезызвестный активист снова прислал столько-то... Жизнь, даже и нескладная — колесо и вообще все — круглое, и отсюда — тайное становится явным, возвращаясь на круги своя. Муж старушки незадолго до отъезда давал деньги и подписывал лист или что там было, короче, знал он, что сумма, собранная для Бунина, была более, чем вдвое больше названной Иваном Алексеевичем. Он ему возьми и скажи: «Да, нет, Иван Алексеевич, вам больше в Нью-Йорке собрали и не столько, а столько». Бунин долго глядел на него, а

после сказал, медленно проговаривая слова: «А это вы мне зря сообщили. Я и сам понимал, что мне посылают меньше, чем собирают, но мне было хорошо сомневаться в себе, а не в других. Я думал: вот какой я плохой, мне помогают, а я грешу, думаю на людей плохо, а теперь я должен думать о себе хорошо: вот, мол, какой я умный и какие жулики другие люди, а это плохо и гадко, но правда — всегда плохо и гадко, прости меня Господи...», — так сказал Иван Алексеевич мужу и ушел. И больше они не виделись, а вы, ради Бога, никому не рассказывайте этой истории, покуда я жива. Я того человека боюсь. Очень боюсь. Вот помру, тогда уж извольте...».

Она жива, но ассоциации и Дьявол водят моей рукой, и я пишу, но я не назову имен, ибо разве важно, кто она? И кто он, собиратель благодеяний, разве важно?..

А откуда ассоциации? Да от фильма о Высоцком, и от объявления, что с каждой вновь изданной пластинки деньги с двухсот экземпляров идут в какой-то пресловутый фонд Высоцкого.

Не только у этого огня греют руки чужаки и липовые «друзья». Они же объявили «фонд Корчного». Тот, слава Богу, жив и зубаст — рявкнул, «друзья» разбежались. Володя мертв, а вдова его благоволит почему-то ко всем этим деятелям... Сделали фильм о Володе. Дело нужное. Кадры бесценные концертные... Володя, живой еще, поет. Похороны... Зачем-то втянули в этот фильм известных людей. Поставили их перед камерой... Зачем? Ну, Барышникова можно еще смотреть, он искренен и интересно говорит, да и, когда соглашался сниматься, думал: «Неудобно отказываться, я же Володю любил...». Бродский думал: «Неудобно отказываться, я же Высоцкого не любил, а кроме того, я же редактор его сборника...». Кто-то думал: «Я же был его другом...», а кто-то: «Я же не был его другом...», и так далее, а Марина в кадре, как в жизни — озабочена и деловита.

Да, еще продюсер фильма скромно объявлен, а в ньюйоркской русской газете сообщается: он — друг Володи... Вот тут уже опасно, тут уже надвигается чума. Ну, бегал Володе за водкой, так Володе половина России за водкой бегала. Сейчас в Нью-Йорке Володины «друзья» пошли косяком. Одного в Москве даже на американке женили и доставили сюда. Тут эдакий небольшой трест образовывается. Или главк. «Новая Газета» просто построена «на Высоцком». «Спецы» есть по Высоцкому прямо «откуда надо», а есть самозванцы. Мне на днях один самозванец звонит: «Скажите, а то я запамятовал, кем работал папа Володи?», газета «Новый Американец», получив от истинного, но парижского друга Володи, Михаила Шемякина, фотографии с похорон дважды в два

юбилея со дня смерти сделала надпись под снимком: «Сыновья Высоцкого от Влади», а у Высоцкого от Влади только загранпаспорт, а сыновья от киноактрисы Люси Абрамовой.

Ах, эти ассоциации... Откуда они растут и куда тянут... Мне звонят: ««Друзья» Володи в Нью-Йорке утверждают, что ты — не двоюродный брат Высоцкого, а — троюродный??!!»...

Ну, что тут сказать? А то, что я не бегал за водкой, а много лет пытался спасать его от него самого. Помню в шестьдесят каком-то году я приехал навестить Вову в Люблино, а у него белая горячка. Я с доктором Воздвиженской вошел в палату, а Володя старательно вбивал в стены «бесконечные гвозди». Я тогда стих хотел написать, начал и бросил. Сейчас забыл, но четыре строчки помню:

«В пустых руках не молоток,
А бледных пальцев гроздья,
И шел сознания поток
На призрачные гвозди...»

Он мне стократно брат, и не главное, что брат мне по крови этот полукровка. Мы с ним братья на древнем замесе, но оба мы безумно и гибельно русские. Только ему Бог дал столько, что не унести, а мне, увы, нет, но и я неохватно несу наше русское родство и любовь к русскому слову, и только естественность русского языка у нас с ним еврейская, не обессудьте, и наше чувство обостренное фонетики — еврейское — отсюда песни, — но у него в миллион раз обостренней... Дед нам платил за каждую рифму по пятаку? Не помню по сколько, ибо столько было за эти годы инфляций и девальваций, а, главное, — смертей, что если близкие для нас с ним смерти сложить вместе, получится огромное кладбище, где среди сотни мертвых будет тысяча живых, и их потеря гораздо горше, хотя Володе теперь глубоко плевать, а мне, пусть я и через океан, — нет, и отсюда — ассоциации, рядом с которыми страх перед Дьяволом — детская забава с глубокими метастазами в душу...

* * *

...На Зацепе в голодные годы была столовая. Коммерческая. В ней кормили без карточек. Там работала официантка. Огромная женщина. Чокнутая: она была страшно добрая и копила деньги по копейке, чтобы после их кому-нибудь отдать. В России все добрые — чокнутые. Однажды, сам не работавший, я взял с собой в эту столовку маленького Вову. Официантку

звали Евдокия, но все алкоголики Замоскворечья называли ее «Тетя Лошадь». «Тетя Лошадь» поглядела на Вову внимательно, погладила по вихрастой голове и сказала, причитая: «У пацана сердце без кожи. Будет не жить, а чуйствовать и помрет быстро. И хорошо, что быстро, потому как отмучается...». Вова тогда ни черта не понял, я плюнул на это пророчество, а вспомнил о нем впервые только после того, как Вова спел мне свою «Кассандру», а потом, в тысяча девятьсот семидесятом году, двадцать пятого сентября, когда пришел он на день моего рождения, — я отмечал этот день в только что выстроенной квартире на Мало Московской улице со своей новой женой. Вова на нее поглядел, а был он почти трезв, отвел меня в выложенную голубой плиткой ванную, запер дверь и сказал: «Ты что, сумасшедший? Она ж — вся насквозь не в себе и только в себе. Беги от нее, пока не поздно!». Он был серьезен, а я смеялся и сказал, что поздно, что она просто женщина, которая хочет научиться любить. Я тогда любил! И про нашу русскую доморощенную Кассандру с Зацепы и ее предсказание Вове и об его «сердце без кожи» вспомнил лишь позднее, в эмиграции, когда было совсем, совсем поздно.

Уже убедившись в Володиной правоте по поводу бывшей жены, я ни о чем не жалею — сердце полное горечи все равно лучше пустого сердца. Если брать крайности, а я могу брать только крайности. Я всю жизнь ими прожил и живу, иного для себя не вижу... Я как-то кому-то черканул: «Жизнь — короткая без перерыва, как две тропки по краю обрыва». Я всегда хотел хотеть, пусть даже и не мочь, но хотя бы хотеть. Хотеть и мочь — здорово, но у этого огня давно не греюсь, а все больше возле чугунной печурки военных лет — спину грею, грудь мерзнет и наоборот...

По русским устоявшимся традициям рвать повествование неприлично, а я рву: у меня восьмого июня тысяча девятьсот семьдесят второго года родился сын, а девятого с утра позвонил Вова: «Старик, с сыном! Как назвал?!». Я никак не назвал, мямлю: «Жена назвала в честь своего единственного серьезного родственника, главного бухгалтера Люберецкого торга, Василием!». «Значит, Васька! Ура! Через час буду!».

Вова приехал в новом «Пюжо», впервые за рулем. Эту машину привезла Марина. «Пюжо» был с дипломатическими номерами. На заднем сиденье лежал огромный букет красных роз и рядом с этим букетом мой тощий букетик с Центрального рынка выглядел ублюдочным, а ведь Вова зарабатывал гораздо меньше меня. Верно, тогда уже появился фактор «Марина». Вова был чуть навеселе и рассказывал мне, что пробили вторую его мини-пластинку на «Мелодии». Помог Дмитрий Степанович Полянский и «главный рыбак СССР» министр рыбы Ишков, его сумас-

шедший поклонник. Тут Вова подкатил к обочине, выскочил из машины и достал из багажника две огромные банки черной икры в желтой авоське. Пояснил: «Он мне за песни о Фишере, а я их тебе за Ваську. И Ваське — за тебя!».

Мы легко нашли проезд Шмидта. Вова знал дорогу — через Ленинградское шоссе, по Беговой мимо Ваганьковки; вдоль трамвайных путей, через железнодорожные мы выскочили к четырехэтажному зданию школы, а напротив родильный дом номер тридцать два. Заходим в приемную. Меня с букетиком сразу шуганули — цветы в палаты к роженицам запрещены, но тут входит молодой врач, видит Володю, подходит к нему и спрашивает: «Вы — Высоцкий?». Володя говорит: «Да». Тут же Володин букет поплыл к жене в палату вместе со стаканом икры, и сейчас же сбежалась к нам вся больница, и пришлось нам смыться, а из окон махали нам роженицы, и сзади на нас потихоньку наплывали люди... Мы отошли к машине, но в палате осталась икра, чтобы у Гали было молоко — немолодые молодые родители в России все с придурью. А может, везде?..

Мы отъехали, а нас провожала огромная толпа, хотя был только семьдесят второй год и у Володи было впереди еще восемь лет форы...

Сейчас в США в издательстве «Ардис» Василий Аксенов и Иосиф Бродский редактируют однотомник Володи по материалам, привезенным Мариной из СССР. А тут еще Аксенов переписал свое вашингтонское выступление на статью «Звук Елисейских полей». Неприличный звук. «Классных» прозаиков я сроду не признавал, полагая их работы принадлежностью отдела оригинальных жанров Союзгосцирка, а не Союза писателей, впрочем, из Гладилина даже словесный эквилибрист, увы, не вышел. Насчет своей «опыльцованности той же пыльцой, что и Сэлленджер» В. Аксенов в статье смягчил, а насчет равных талантов — нетушки! «Стоим вместе на Олимпе и поплевываем с Неба на Землю вместе. Просто им повезло — они плюют по-английски, а мы теряем в переводах — только и всего». — Так примерно излагает ситуацию Василий Аксенов.

Да, может, он и прав: ждать покуда кто-то похвалит — уж лучше самому рвануть... Вот я и боюсь редакторов Володиного сборника. У Володи у самого не все в порядке было с «пыльцой для свободных людей», а тут еще Аксенов с Бродским — для них сия редактура — бизнес и только...

Обратно из роддома мы снова ехали мимо Ваганьковки, и может, потому я и вспомнил это — когда проезжали мимо ограды, над Ваганьковским кладбищем завис аист и я сказал

Вове, который смотрел «под ноги» и не видел аиста, «аист в небе словно парус», а он сказал: «Вот тебе и рефренная строка для советской песни с нулем информации». Я тогда песни не написал, а сейчас подумал: именно над Ваганьковкой висел, может, Вовин аист? Ведь аисты приносят не только детей?

Аисты — символ дома, того, где мы не в гостях. Потому и висел аист над кладбищем. И вот нет Вовы. А у меня от него в Нью-Йорке Миша Шемякин. У него от Вовы — я. А ему от меня этот стих.

Над Ваганьковкой аист сразмаху застыл,
А какой-то пацан, смяв кепчонку в ладони,
Уходил с похорон то ли в бой, то ли в тыл,
То ли в жизнь, чтоб стоять в круговой обороне.

Над Ваганьковкой аист стрелою взлетел
В отболевшее небо, красневшее ржаво —
Я тогда и не знал, да и знать не хотел,
Что про аиста Вове споет Окуджава

Над Ваганьковкой аист белее зимы,
А под ноги дороги ложатся все уже:
И так туго друг с другом завязаны мы,
Что лишь жизнь со смертью завязана туже.

Над Ваганьковкой аист крыло обмакнул
В облака, а июль суховеем постился,
Когда Вова Высоцкий меня обманул,
Обскакал, обогнал, обошел, не простился.

Над Ваганьковкой аист в круженьи ворон,
А внизу между горем и гордостью между
Безнадежность скатилась к ногам похорон,
И взошла в колокольное небо надежда...

* * *

Утверждают, что Володя был суперсоциален. Бесспорно, но прежде всего он был суперсексуален. Мы всерьез смеялись: на сцене он не поет, не играет, а берет зал, как берут женщину, когда она очень хочет и очень стесняется. На Западе у джазовых певцов и музыкантов брать зал, как женщину, — прием хоженый, но в том-то и дело, что у Высоцкого умение совокупляться с залом было не профессиональным приемом, а врожденной хваткой самца, внутренний мотор которого имеет запас невероятной мощности: любой Дворец Спорта, до отказа набитый зрителями, Володя брал шутя...

Мне рассказали достоверный факт (медикам бы этот факт в книгу о сексуальном воздействии!). В Саратове, во время его концерта

во Дворце Спорта, Володя выбрал в первом ряду одну хорошенькую блондинку и с первой же песни «начал на блондинку работать». Впоследствие подруга этой блондинки, любовница администратора филармонии, рассказывала: «Х. мне говорила, что после трех-четырех песен, во время которых Высоцкий все время смотрел на нее в упор, у нее начало тянуть низ живота, а к концу первого отделения наступил оргазм... В течение двух отделений у этой малотемпераментной молодой женщины трижды наступал оргазм...»...

Суперсексуальность Высоцкого помогала ему быть и суперсоциальным, ибо мужик преобладал в нем над любым отредактированным текстом, мужик в нем был бунтарем, а гитара в руках бунтаря чудилась вождям топором. Многие западные певцы хрипели, но только Володя хрипел «социально» в стране, где и просто громкий голос со сцены пугал.

Володе не мешали пить, скорее — наоборот: пьяным дипсомаником он был подконтролен. Нелепо, когда намекают, что его убили. Но помогали помереть почти всю его жизнь, по крайней мере, весь «мариновладиевский» период его поторапливали. Своим появлением Марина открыла ему дорогу и в жизнь — зарубежные круизы, записи в Париже и т.д., — и в скороспелую смерть. Я любил Володю в период «до Марины» и «после», а «после» наступило года за два до смерти, и продолжается по сейчас...

Марина пригасила Володину суперсексуальность, ибо абстрактная жена Высоцкого — одно, а Марина Влади — другое. Кроме того мотор начинал сдавать, выхлест сменялся хрипом, энергия — криком, и тут еще хитроумные идеологи подсказали фирме «Мелодия» пригласить оркестр, а вырвать у бунтаря топор — оставить его безоружным. Дело шло к концу. Внешне Володя держался великолепно и только когда запой шел на коду, он «терял лицо». Я берусь утверждать, что первым предвестником конца явилась потеря суперсексуальности, но тут дело было не в том, что он в Нью-Йорке в доме на Парк Авеню шепнул мне: «Марина меня больше не спасает!», а в том, что во всех его магнитофонных записях семьдесят девятого-восьмидесятого годов слышна потрясающая утрата главного при том, что внешне в исполнении каждой песни все кажется на своих местах — вот так не волнует влюбленных гениально нарисованная луна, и не греет замерзающих потрясающе нарисованное солнце — образы банальные, однако, именно они приходят в голову, когда слушаешь в песнях последних двух лет хрип и крик Володи, из которых выжата досуха сперма Господа Бога... Он это понимал, знал и это было для него страшнее смерти... После

первой остановки сердца в 1979 году, он сказал, что к жизни вернули другого человека...

У Володи за жизнь было множество женщин. Он их любил и они его любили, и все же я имею в виду ту суперсексуальность, которая правит миром...

Народ безмерно возлюбил Владимира Высоцкого, человека, выразившего этот народ, из всех творцов века выразивших его, наиболее полно, ярко и доступно. И значит, все было не зря, а ранняя смерть — не плохо. И — не хорошо. И никто не знает, лучше это или хуже — ранняя смерть, но самые прекрасные мгновения жизни — самые короткие. И это — точно. И если повесить над страною трехминутную радугу, соорудить из горизонта сцену и выпустить на эту сцену Володю, то в первом ряду необъятного зрительного зала вместо той саратовской блондинки воссядет Россия, и с ней будет происходить то же, что и с той блондинкой, суперсексуальность срабатывала — он добавлял в нее хрипа, как перца, крика, как соли, а сперма, истошность, пронзительность и задушевность были в нем запрограммированны... В Советской России только еще Маяковскому дали выкричаться так же досыта, Пастернаку дали пролить столько же спермы... Больше никому, впрочем, возможно, больше ни у кого не было столько души, столько сердца, столько сексуальности, самоотдачи и страсти... Столько России, перемешанной с кровью и с болью...

* * *

Нынче с утра в Нью-Йорке шел дождь. Сыпал мелкий и нудный, длинный-предлинный дождик и наводил тоску, и я поднялся на двадцатый этаж к старому своему приятелю, певцу, Эмилю Горовцу. Поднялся без звонка, по-московски. Назло всем местным обычаям и назло Мусе, его жене. И, конечно, попал в суматоху: все не убрано, Муся без марафета, Миля при пузе, едва прикрытом халатом, а мне плевать. Я вломился, сел и попросил чая, и все утряслось, и минут через пять они пришли в себя, верней, я их загнал туда, где и надлежит быть им, прожившим жизнь по тем правилам, где друзья ходят друг к другу на огонек без звонка. И это очень верно, потому что тоска накатывает тоже без звонка, и дождь не звонит городу, что забежит... Непосредственность в отношениях рождает искренность, а правила хорошего тона — печальная необходимость. Лично для

меня. Люблю естественность выражения чувств и матерюсь при самых мирных разговорах. Мат, по-моему, кровоснабжает беседу, делает ее живей и сближает собеседников. Если он не злобен, а иллюстративен. Сейчас не стану им пользоваться, я им никогда не пользуюсь в дождик и в грусть, а — только в солнце, в злость, в жизнь, в деятельность, а сейчас в миноре думаю о том, что меня уговорили, может, и зря: «Ты пиши песни, а стихи не пиши. Ты — поэт-песенник, а не поэт...». Черт, так хочется написать стих, именно стих, чтобы грустный и лаконичный, чтобы теплый, про Россию, и я сейчас его напишу и сюда впишу, ибо это книга чувств и памяти, и в ней я фиксирую себя, чтобы легче было воссоздавать Володю и других, из которых в сущности состоит моя жизнь и я сам...

Падать...
Упаду, привстану
И упрусь.
Память,
И куда ни гляну —
Всюду Русь.

Тонет
Трав моих полоска:
Всплеск и всхлип.
Тронет
Отблеск отголоска
Кроны лип.

Лето.
На тропинках узких
Лень и звень.
Где-то
Вянут тени русских
Деревень.

Осень.
Нынче — день вчерашний.
И сейчас —
Восемь
Бьют часы на башне
Чей-то час.

Зимы,
Вы земле придали
Свет лица.
Зримы
Стали даже дали
До конца.

Весны.
Обдерут капели
Хвои медь.
Просто
И легко в апреле
Умереть.

Тонет
Трав моих полоска
В том краю.
Тронет
Отблеск отголоска
Жизнь мою.

Падать...,
Хоть душой к иному
Я притрусь,
Память,
И куда ни вспомню —
Всюду Русь.



Этот снимок взят «со стороны», из альбома «Избранное». Его выпустил приятель Володи, американец, работающий в Москве, женатый на русской. Он знает всех присутствующих на этом фото, однако, никаких подписей под карточкой нет. Почему? Здесь почти семейная компания, дома у отца Володи. Я думаю, что подписей нет из-за пары, расположившейся в правом нижнем углу. Она — Инга, дочь моей приятельницы,

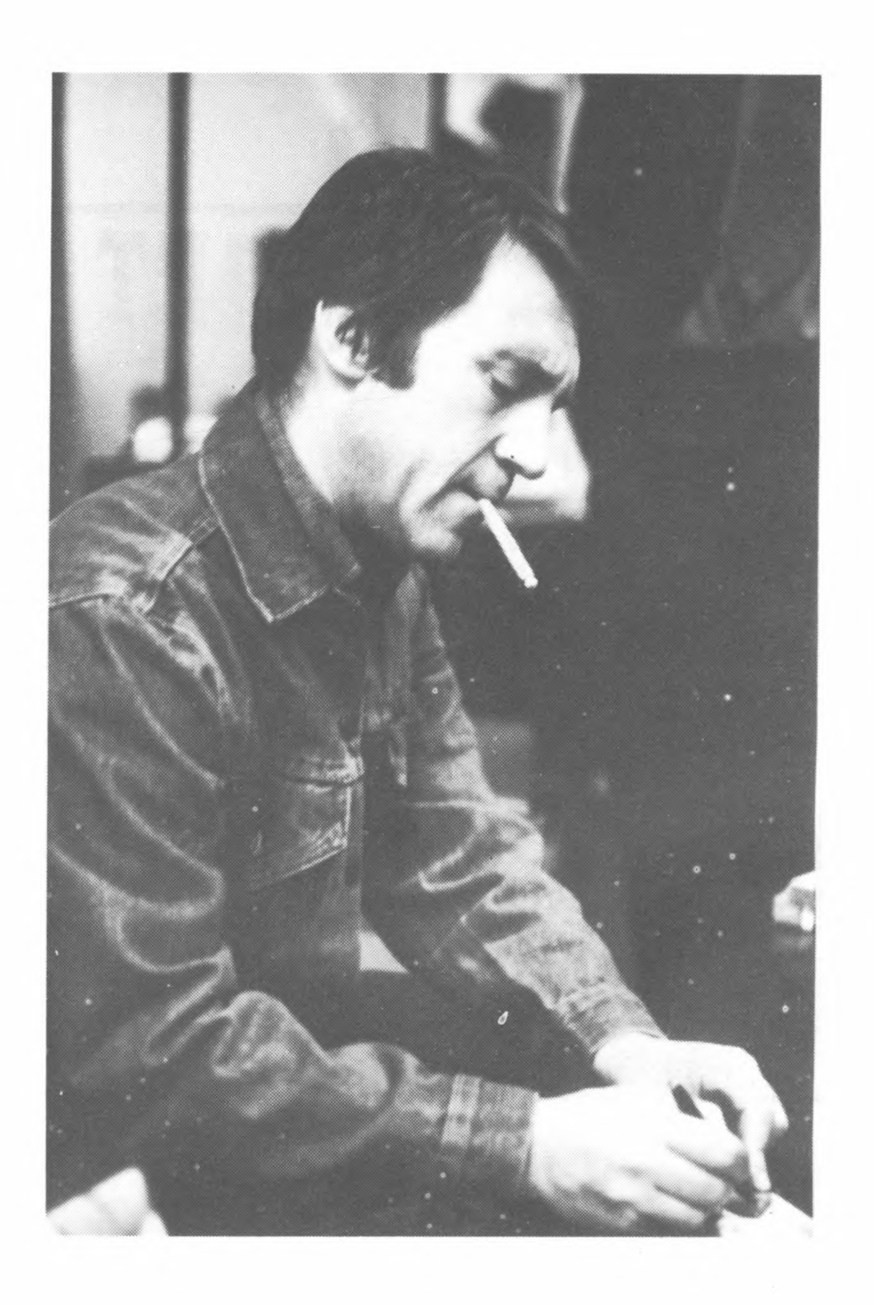


некогда красивейшей женщины и актрисы Татьяны Окуневской. Мы с Ингой прожили много лет в одном доме. Я знал ее первого мужа, мои дочери дружили с ее сыновьями. Рядом с Ингой сидит один из умнейших людей советской элиты, первый и главный переводчик Хрущева и Брежнева, Виктор Суходрев... Он в этой компании — дома. Крайний слева с усами — Василий Аксенов...



Леонид Лубяницкий


ЧТО ДЕЛАТЬ?
ГАМЛЕТ
ПОСЛУШАЙТЕ
НА ТАГАНКЕ
21
500
Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Анти
ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРЕДС
ВШИ
ПОД КОЖЕЙ
СТАТУИ СВОБОДЫ
ВЕРЫ!..
ДОБРЫЙ ЧЕЛ
ИЗ СЕ





С Капеляном в фильме «Опасные гастроли»



«Гамлет» на Таганке



Владимир Высоцкий
Иван Бортник

* * *

День жаркий и душный. Мы идем по Третьей Авеню. Володя бледен и молчалив. Идет быстро. Я прошу его притормозить. Напоминаю о моих инфарктах. Он говорит: «Да, да!», на минутку замедляет шаг и снова бежит.

Утром он несколько раз прикладывался. И запирался в ванной, хотя мы все знали. И всё понимали. И мы боялись за Володю...

Подошли к углу Третьей Авеню и семьдесят второй улицы.

Тут Володя остановился возле дома, который строился и вырос уже наполовину. Он поглядел на недостроенный дом и сказал: «Здесь хочу жить! Знаешь, я много ездил. Шарик круглый и безуглый. По-моему, без балды, мир — провинция, а Нью-Йорк — столица. Сумасшедший город! Потрясающий город! Жди меня насовсем в восемьдесят втором. Только не трепи. А Марина тебя еще с Москвы не любит...». Я спросил: «Может, оттого, что она, хоть и французская, но коммунистка?» — «Нет, — сказал он, — не поэтому, а потому, что — собственница. А потом: птицам плевать на корни. Им нужны плоды или черви. На худой конец, — кора. Глубина и нутро не для птиц. А ты тоже пернатый», — вдруг озлился он в который раз и пояснил: «Да как ты мог! Как ты мог проситься назад! Знаю, что не ты, не в тебе дело. Это я слышал, но и в тебе. В те-бе! Хочешь ломаться — вали, но не гнись, не гнись, болван. Помнишь, я ей розы в роддом принес? Так я не ей. А Ваське твоему. Ваське!..». Он замолчал. Стало еще жарче. Мы пошли назад. Он сказал: «Хочу и буду жить в Нью-Йорке. Как? Не знаю, но догадываюсь. Деньги? Деньги у нас найдутся... Ты говоришь, какая из двух моих половин хочет в Нью-Йорк, а какая боится порвать с Россией. Да обе хотят сюда, и обе хотят забредать туда. Раз в пять лет. Нет, раз в год. Приехать из Нью-Йорка на пароходе и подгадать рейсом прямо в Одессу. Мой город. Первый фильм, первые песни в кино, опять же женщины жгучие, да!.. Но эмигрировать — нет!..

...Помнишь, как Ленин о поэзии Маяковского говорил: «Не знаю, как насчет поэзии, насчет политики правильно». Так вот я тоже, хоть, слава Богу, не Ленин, не знаю, как у меня насчет поэзии. А песни — в крови, в душе, в мозгу, в мускулах. У меня в костях ломит, когда я долго не пою. В этот раз гитару снова забыл в самолете. Ты подумай: никогда ничего не забываю, кроме гитары, а ее — сто раз забывал. Рок... Знаешь, я в Канаде был. В Монреале. Жил в отеле «Хилтон». И там окончательно убедился, что Бог есть. У меня эти сволочи из всех песен на записях Бога изымают. Да, так был я в Торонто. Нет, в Монреале...».

Вова был совсем пьян. И безумно трезв. И это состояние было трагическим. Современно-гамлетовским. Разрывным. И я его страшно жалел.

«...А перед Канадой я, естественно, был дома на Малой Грузинской. Перед запоем был. И оттого не спал. Вышел как-то раз на улицу. Покурить. Подошел к фонарю. Время пять утра. Прикурил. Гляжу, подходит ко мне паренек. Обаятельный, до чертиков! Подходит и говорит, как к иконе обращается: «Вы — Владимир Высоцкий? Дайте мне, пожалуйста, автограф!». Глаза у него васильковые, кожа девчачья, лицо расцветает в пандан к рассвету московскому, розовому, а я в эти свои периоды — злой, как собака. Ты же знаешь. Я ему в ответ: — Иди ты..! Он и пошел, два учебника в левой, опущенной руке. А вот сейчас был в Монреале... или в Торонто, ночью не сплю. Я теперь и на всех стадиях не сплю. Там, в отеле «Хилтон», знаешь — длинный балкон. Изо всех номеров люксовых двери на него выходят. Была ночь. Часа три, наверно, или четыре. Выбираюсь на балкон. Закуриваю и вдруг вижу чуть поодаль стоит мой самый распролюбимый киноактер Чарльз Бронсон. Надо же! Я к нему. По-французски я объясняюсь. Подхожу и начинаю, мол, вы мой любимый артист, а я — тоже артист, а он, не поворачивая головы, даже и не говорит, а швыряет в меня: «Гоу!» И я вспомнил того мальчугана. И подумал: «Чтобы плюнуть в ответ так точно! Нет, Бог есть всюду, везде и всегда!».

Стало совсем жарко, но мы успели добрести до Первой Авеню, и он пошел со мной к врачу в «Бет Исраэль госпиталь». Там были кондиционеры. Там было светло и прохладно. Он сел на стул и закрыл глаза. Старшая сестра «харт стейшен» подошла и спросила: «Вашему другу плохо?» — «Нет, ему не плохо, — сказал я — и подумал: ему не плохо, ему очень, очень плохо. Ему так плохо еще и оттого, что страна, в которой он живет, думает, что ему хорошо. А от этого ему еще хуже...»...

* * *

Дед наш, Владимир Семенович Высоцкий, выгнал сыновей, Семена и Алексея, в тридцать девятом году, но и до этого отношения между ними были внатяжку. Отец Володи, Семен, пошел в военное училище связи, его брат Алексей — в военное училище артиллерии, и как раз к началу войны оба были выпускниками. К тому времени Семен женился и разошелся, оставив маленького Вову. Нина Максимовна была женщиной сильной. По-моему, она и сейчас, спустя почти полвека, любит своего первого и последнего мужа Семена Высоцкого,

красивого синеглазого брюнета, нынче седого, но все еще статного.

Дед к началу войны служил юрисконсультом завода «Новый мыловар». 16 октября 1941 года, в день страшной московской паники, когда струсивший Сталин открыл Гитлеру дорогу на Москву, а струсивший Гитлер испугался ловушки, не поверив, что все так просто и легко, дед не струсил. Он заменил всю сбежавшую дирекцию и остановил ограбление завода сознательным пролетариатом.

Я это наблюдал сам. Дед взял меня с самого начала войны на завод учеником электромонтера.

Володе тогда было три года и дед посылал Нине Максимовне пакеты с едой и мылом. Он не был добр, не был сентиментален, но был человеком долга. Он был плохим евреем, но был страстным человеком и феноменальным эгоистом. Когда ему было далеко за семьдесят, он женился на молоденькой русской женщине, она родила ему сына и он разорвал все свои прежние семейные связи. Все!

Он ничего не создал, но был очень талантливым, очень ярким человеком: большая голая голова, юная, дьявольская нацеленность взгляда стариковских глаз, классический нос с горбинкой, саркастическая усмешка кривит губы и сверкает золото зубов — тогда пластиками еще не пользовались, — и лицо, густо исполосовано морщинами, а возле — молодая, тихая Мадонна с младенцем.

Корень Высоцких киевский. Связи с Киевом не рвались, пожалуй, до смерти бабушки, Ириады Алексеевны Высоцкой, блестящей косметички, работавшей до конца на Крещатике. Она ушла от деда и перед войной вышла замуж за киевлянина — инженера, полурусского-полуукраинца, который ее боготворил. В том же салоне служила она и при немцах. И никто не выдал ее, не сообщил, что она — еврейка.

Скорее, шизофреником был дед, и это передалось через поколение по мужской линии, а вслед — по женской. Семен и Алексей Высоцкие — уравновешенные люди, но покойный Алексей был умен, а Семен — нет.

Впрочем, по-настоящему, Володя любил только себя с гитарой с новой песней перед зрительным залом, овации, славу, деньги. Все остальное и всех остальных любил отмеренно, а ненавидел он не выстрелы в упор, а пропасть собственной слабости.

Он знал, что конец близок. Он был смелым человеком. И был, я уверен, самым популярным артистом за всю историю России, и он сам понимал это, отчего трагедия достигала вершины — он напоминал сеятеля, который посеял, но которому не дано не



«Скоморохи»

«Сатирики» на отдыхе

Стоят слева направо: Борис Владимиров, Вадим Тонков, Александр Лившиц, Александр Левенбук, Борис Брунов.

Сидят справа налево: Феликс Рисман, Марк Новицкий, Лев Миров, Эмиль Радов, Евгений Петросян

Лежит: Альберт Писаренков



«Скоморохи»

Евгений Евстигнеев

Юрий Никулин

только собрать, но и увидеть посеянное. И он отдавался слабости снова и снова. Володя был потрясающе сильным во всем, но главное — в слабости.

* * *

Самое страшное — тупик, угол, стена, загнанность, безвыходность, безысходность. Песня про волков — не столько призыв прыгать через запреты, сколько попытка, пожалуй, последняя, внушить себе, что шанс еще есть.

Страсти в нас страшней нашей власти над собой. Власть порой отпускает, страсть — никогда. Даже если передышка — в мозгу клин: когда!? — с надеждой, когда?! — с ужасом, когда же оно подкрадется, заманит тебя к стойке ВТО и скажет не твоим, а молящим и просящим голосом, что невтерпеж, что нужен один фужер шампанского, что в глотке пожар, а сам чувствуешь себя над пропастью, и замирает в ужасе сердце, но в тебе живет и запойный алкоголик, он бесстрашен и бессмертен...

Первый фужер шампанского, рука нерешительно, но упорно тащит его ко рту, а в нем язык ощутимо набряк и тело покрывается липким потом и страшна не смерть, а что-то другое, а что — непонятно, и только потом, когда в поисках «спасения» набредет он на «марфушу», поймет — боялся нового капкана... То ли Россия с ним играла, как кошка с мышью, то ли он играл Россию, как играл Галилея, скорее, он играл ее и даже не играл, а был он российской совестью, душой ее разбойной и двуликой, и столикой, мятежной и рабской... Бог не дал роста, да силу дал, а у нее рост и слабость, впрочем, и он слаб и все слабы... шампанское пролилось в него, как на раскаленную сковороду и стало плохо — защитная зашитая ампула сопротивлялась, он сполз на стул, стал бледен, но слабак вкушал шампанское без паники — — он не покидал корабля, — значит, корабль еще на плаву...

Ресторан ВТО наполнялся посетителями. К Володе почти каждый подходил, а кто не подходил — глядел, как на диковину, а он был не «как», а — диковиной — у него в песнях стихи не чистые, говорят, а Россия зарифмована чисто!..

Он нес свое величие запросто, хотя и выпендривался, но не было в нем королевского, не текло царских кровей в нем, а текли другие, высшие крови страны... босяк, богема, бард, блядун, алкоголик, артист, аристократ и любой человек играли в нем всеми гранями, но как он умирал от абстиненции! Как корчился на

кровати, как просил, униженно умолял помочь, достать одну ампулу, как текло у него из глаз и носа, как ломало его, как рвалось дыхание!

Мог бы он стать Высоцким, если б не пил? Да! Мог бы он быть Высоцким до самого конца, если б дожил? Нет! Он умер во-время. И нельзя скорбеть, что он умер, а надо думать: Бог не спит над Россией, если прогремел Высоцким.

Есть такой поэт Иосиф Бродский. Немногие в России знают о нем. Он громогласно не признавал Володю, а нынче взялся его редактировать, чтобы с помощью Высоцкого протиснуться в читающую Россию.

Так или иначе — хорошо. Только как он будет Володю редактировать?! Он ведь и сам себе не сумеет объяснить, что такое, например: «Мне глубоко плевать, какие там цветы»? «Глубоко плевать» в устах эстета нечто непотребное, в устах России — строчка из почти молитвы.

...У Володи был «Реквием» Ахматовой. Западное издание. Маленького формата. Он его читал-перечитывал. Дрожал над двумя книжками. Над «Реквиемом» и над «Сестрой моей — жизнью» Пастернака. В Бога он стал верить потом, а тогда верил в Ахматову и в Пастернака. С «Реквиемом» вышла история. И у кого эта книжка сейчас, пусть раскроет ее и перечтет надпись: «Моему юному другу Владимиру Высоцкому. А. Ахматова». Там стоял год, а я его не помню, но помню — конец пятидесятых. И получили мы автограф по сути вдвоем, но книга была у Володи, и на ней Анна Андреевна ему написала это неопределенное «юному другу». Встречу устроил Виктор Ефремович Ардов, милейший стукач, как говорят, но — добряк. Любопытно — никто не утверждает, что Иуда, продавший Христа, был добряком, а на Руси почти все Иуды — очаровательные, добрейшие люди с маниакальным стремлением к покаянию. Возможно, это потому, что в России до сих пор не было Христа.

Да, так прибыли мы на Полянку. Дверь открыла Сама. Была она в черном, плотной материи, платье, грузная, в каких-то шлепанцах на босу ногу и простоволосая. Начала извиняться за свой вид, объяснила, что забыла о нас. Пригласила к пустому столу. Нервничала. Смотрела на часы. Мы нервничали еще больше. Впервые я видел Володю совсем оробевшим. Анна Андреевна спросила меня, что я пишу. Я пошутил, сказал, что «...-заявления об отпуске раз в году и изредка письма одной женщине, которую пытаюсь полюбить, но из этого ничего не получается, так как женщина пишет мне ответы с орфографическими ошибками». Ахматова улыбнулась, посмотрела на меня с любопытством, а тут Володя сказал, что он пишет песни и спросил можно ли ему спеть. Сама наивно сказала: «Конечно, конечно,

только не очень громко, если можно». Володя смутился, пошел в прихожую и принес оттуда гитару. Минуту настраивал, и она опять занервничала, однако, мы «стояли на смерть». Володя рванул струны изо всех сил и тихонько захрипел «Парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь». Анна Андреевна закрыла глаза и слушала вдумчиво, погружаясь. Володя кончил, и она сказала: «Вы пишите сами слова и музыку. Мне говорил Алексей (Баталов). Я помню. А я скажу вот что. Это страшно созвучно времени. Для меня, для людей моего поколения и воспитания это требует перевода, но это — потрясающе созвучно эпохе... А меня саму скоро станут переводить на русский нынешний, а это здорово: «Кто вы такие, вас здесь не ждут». Нас всех здесь не ждали и не ждут. От этого все...».

Мы ушли, но перед уходом Володя протянул Анне Андреевне книжку, и она надписала ее.

В коридоре, провожая нас, она говорила, что классики — прекрасно, но ориентироваться надо вперед. Уже в дверях она пожаловалась, что чертовски устала от переводов и от того такая нервная и чтоб мы не обижались. И тут она впервые улыбнулась и стала очень красивой.

И я почти тридцать лет верил всему,что она нам с Володей тогда говорила, но вот на днях я получил очередное письмо от одной ленинградки, милейшей дамы — она консерваторка, училась вместе с Шостаковичем, начитана до предела и мила до бесконечности. В этом письме она пишет по поводу переводческой деятельности Б. Пастернака и А. Ахматовой, что «...грек Новалис говорил: «Переводчик в прозе — раб, в поэзии — соперник», а значит, думаю я, и Пастернак и Ахматова должны были быть счастливы. Особенно Пастернак, имея соперниками Шекспира и Гете.

Тогда в дверях Анна Андреевна думала, что и впрямь была несчастна из-за переводов.

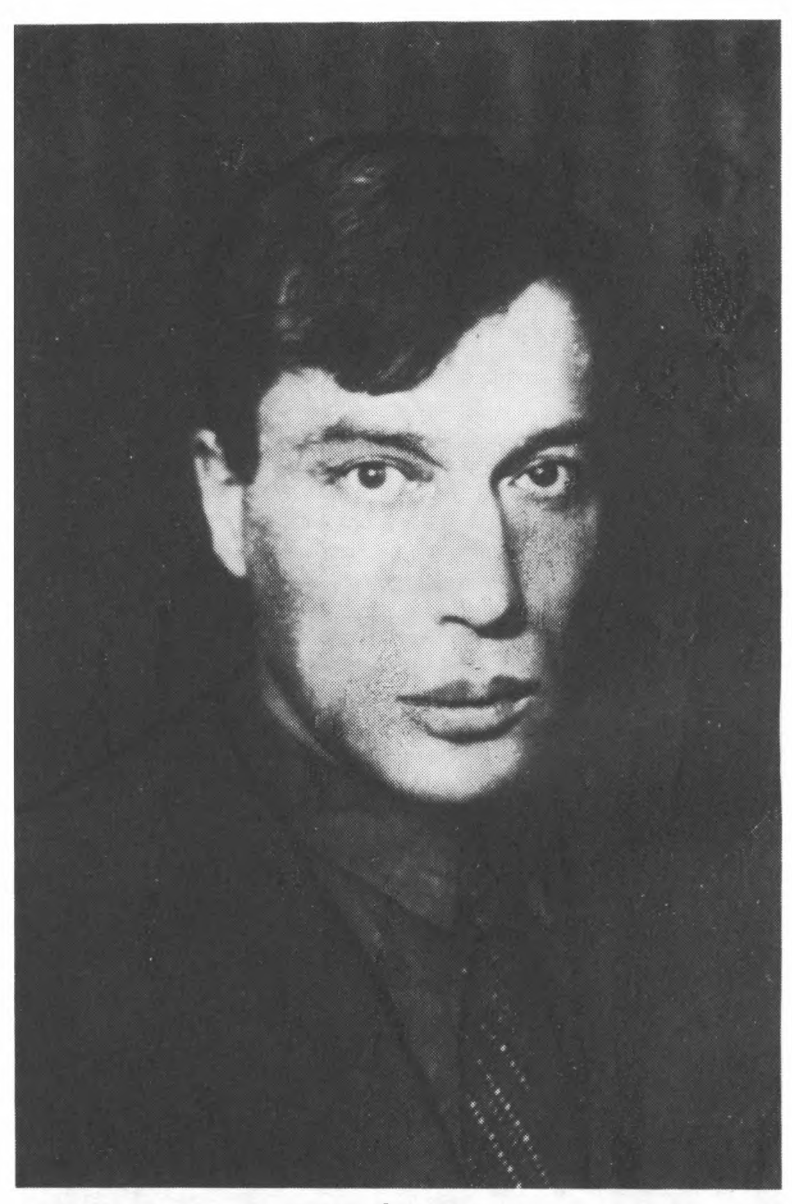
В Володе она разглядела одну лишь составную часть его величия — созвучность времени и предельную современность языка, который оскорблял ее слух, но тревожил. Кстати, Володин «Парус» — голая тревога. Он и есть просто и только «SOS». И ничего больше.

Это — «SOS» вперед, это — просьба о помощи, необходимой через двадцать лет...

...Он лежит на диване в доме, что наискосок от Киевского вокзала. В этой квартире не так давно умер Пырьев. У молодой его вдовы Лионеллы Скирды, когда она открыла мне дверь, — пустое, зазывное лицо: сперма плещется в глазах, и это похоже на бушующие озера среди тихой, сонной природы, и это



Анна Ахматова.
Портрет работы Юрия Анненкова



Борис Пастернак

наводит на мысль о наслаждениях, потому что разбудить женщину или мужчину так же радостно, как любить, хотя будить и есть часть любви...

Вова лежит с открытыми глазами, с безумными глазами, с остановившимися глазами. Он неподвижен. Дом набит пустой посудой. Лионелла Скирда стоит у него в ногах и монотонно говорит: «Володя, завтра съемка». Я ее тихо ненавижу. Володя пробыл у нее весь запой, а сейчас его надо везти в Люблино.

Как он писал песни? Трезвый и злой. Перед запоями он напрягался, напруживался, накалялся и тогда писалось: сперва определялся нерв-ритм и находилась рефренная строка, которая чаще и бывала главной мыслью, осью песни. Писал он, как пил, — запойно. Не правил. Считал, что первый вариант, в конечном счете, — лучший. Для поэзии, читаемой, был, видимо, не прав, для песни — абсолютно прав, ибо сочинял в экстазе, в стрессе, в заводе, а правил в упадке, в тоске и через силу. Случалось — по три песни в ночь, случалось — ни одной в месяц. По заказу все песни писал плохо. Он вообще был трудно редактируемый человек и трудно режиссируемый актер. И неуправляемый муж. И безответственный родитель. И все говорило о многочисленных пороках, которые часто, как черви в яблоке, гнездятся в душах гениальных людей.

Вершина Земли — мелководье Неба. Володины высоты были мелководьем современной России, но глубже у нее никого нет в этот провал — от пятидесятых до семидесятых годов, от начала оттепели до новых заморозков...

Я все время вижу его лежащим то на диване, то на кровати, с мертвыми глазами... Дома у его товарища Игоря Кохановского, дома у Люси Гурченко, дома у мамы, дома у меня на Каретном, в кабинете директора ВОАП в Лаврушенском, в кабинете у Дупака в театре, в купе «Стрелы» Москва-Ленинград, в сотне мест...

...И многое можно забыть, но — нельзя. Конечно, главное, — о работе Володиной — нет, о ней наврут в СССР, а о жизни будут молчать. А я — не буду о работе, а буду — о жизни. У меня хорошая память, но и я не все помню, однако, прошлое — живо: вчера — звонок! Снимаю трубку, голос страшно знакомый, близко-далекий: «Паша, здорово, это я, Дудник, Гена!». «Гена! Дудник!» — тридцать лет назад отсчитать можно. Он — в Нью-Йорке. В отеле Мильфорд Плаза на Восьмой Авеню. Я мчусь. Стоит Гена у подъезда, а рядом жлоб отвратительный.

Соглядатай. Человеку, другу моему, под шестьдесят, я к нему целоваться, он — шепчет: «Не надо! Не надо!». Мы тридцать лет при встрече целовались, живя в одном городе, а однажды потащили на моей первой «Победе» шестнадцатилетнего Володю в Машкино: Гена, Володя, я, трое девочек. Заехали куда-то в кусты, расположились, Володя застеснялся. Мы с Геной занялись делом, а Володя «смотрел телевизор». Так мы называли процесс «глядеть и не участвовать».

Сейчас Гена седой стоит, пялится на меня, я — на него, кругом толпа, рядом сорок вторая с блядями, и я вспоминаю, как, по-моему, театр Сатиры приехал на гастроли в Париж и как Т. Пельтцер и В. Орлова вышли после спектакля и увидели роскошно одетых блядей, и Орлова сказала: «Боже мой, какие бляди!», а Пельтцер ей ответила: «Это мы — бляди, а они — актрисы!». И еще я вспомнил, что проститутки, аккредитованные КГБ в московских ресторанах и гостиницах, называют живущих на зарплату замужних женщин «дешевками». И это — не слова, это — Россия...

* * *

Я, человек резкий, стараюсь в этой книге быть мягким, не грубым. Получилось? Надеюсь, да, но вчера один приятель принес мне газету «Голос Родины», посылаемую в США из СССР, где издается она обществом по культурным связям с соотечественниками за рубежом. Общество это — под рукой КГБ. Потому удивительно, к чему и зачем именно в США этот «Голос». Кто-кто, а уж КГБ знает расстановку сил. И зачем сюда посылать газету? Хотя, скорее надо: вот я прочел четвертый (две тысячи триста четвертый) номер «Голоса» и понял в который раз, только еще четче: как же они стерли нас, как сломали нам хребет, как под видом подъема родины, опускают ее на гнилых канатах в выгребную яму, как замазывают полотна, подделывают историю, переписывают книги, как из нас сделали не нас... Впрочем, тут я не прав. Мы — глина, а они лепят из нас свой вариант, страшный и жалкий. И хочется плакать от бессилия и безнадежности. И хочется озлиться на мудаков, приезжающих сюда, не краснея лгущих про то, что нечто обнадеживающее намечается в СССР. Вранье, глупость, слепота, если не подлость.

А что же меня возмутило в номере «Голоса»? Разворот номера посвящен выходу в СССР первой, в жизни и после гибели, книги стихов Владимира Высоцкого. Назвали сборник «Нерв». Редактор — стопроцентный антагонист Володи, Роберт Рождественский, наиболее талантливый из двух поэтов-заик СССР. Второй — дядя Степа Михалков сходит тихо на нет, грохоча на собраниях-заседаниях.

Роберт, честняга и миляга для хозяев, исполнил их желание и великолепно испохабил, испоганил, исказил многие живые и пульсирующие мысли Володи...

Они потихоньку, полегоньку исправляют мертвых. Среди живых у них там снова тишь да гладь, фактически... Вот мне думается: примутся они скоро за Ивана Алексеевича Бунина, коль роются, вгрызаясь, и поганят академического Достоевского. А с Буниным у них вполне может получиться: архивов они утянули отсюда туда немало. Под сурдинку, наигрывая мотивчик «родина, ты родина...». Глядишь, году к девяностому хлеб вовсе расти не будет, а Бунина сварганят совпатриотом, как тужатся подтянуть к себе поближе Федора Ивановича Шаляпина. Зерно они подгребать разучились, а славу русскую подгребают. Зачем им она? Да для спекуляций и как ширма...

А Володю жалко, нет слов. Его, мертвого, выдали ЦК КПСС. Жена Марина и отец Семен Владимирович. Ну, с Марины взятки гладки. Она ведает, что делает, а отец ведь точно не ведает, что творит: он глуп, прости меня Господи, и разбирается лишь в женщинах, зажигалках, которые коллекционирует лет двадцать, и в сечении проводов связи — это, как полковник-связист в отставке. Думает за него полжизни жена его Женя, умница — армянка, так что предать Вову — ее грех, не его, уверен. Хорошо еще, что не запутали в эту мразь, в эту грязь, маму Володину, Нину Максимовну, первую жену Люсю и ребятишек. Однако, боюсь и их втянут.

Я сразу предсказывал, а нынче сбылось: взялись они за Володю, теперь пух да перья полетят. Марине за отступничество дали кооперативную квартиру в Москве, а это для нее открытый паспорт: летай «Париж — Москва». Марина квартиру Нине Максимовне отдала: умники подсказали, и теперь повешен над пожилой женщиной колун — пикнет, отберут, что дадено...

Я пишу, а все — слова, слова, слова, но факты нужны, доказательства. А то — голые обвинения. Мало ли что сказать да написать можно. Ты вот возьми да подтверди!

Нате:

Владимир Высоцкий

Я НЕ ЛЮБЛЮ
(варианты с его записей, его текст)

Я не люблю фатального исхода,
Поэтому об этом не пою.
Я не люблю любое время года,
В которое болею и не пью.
Я не люблю *открытого* цинизма,
В *доверчивость* не верю, и еще,
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда наполовину,
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор...

Выбор и редактура Р. Рождественского

Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
Я не люблю *холодного* цинизма,
В *восторженность* не верю, и еще:
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Но, если надо, выстрелю в упор...(!!!)

Роберт не редактировал эти строки, а *выбирал.* Вот принцип отбора был разбойничий. Володя помог и будет еще помогать им искажать свой облик человека и поэта. По пьяни и ради корысти, он иногда менял смысл главных строк на обратный. Вот — здесь, когда он любит и не любит выстрелов в упор.

К концу жизни Володя созрел к редакторству Рождественского, который, зная истинного Володю, выбирает варианты дипсоманика, а не барда...

И оказалось: Владимир Высоцкий за выстрелы в упор, а не в затылок. Как раз таким выстрелом убили Зою Федорову только-только. Выстрелили ей в затылок корешки Роберта Рождествен-

ского, а он тянет в компанию Володю... Ну, из живых они убийц куют давно — мировой терроризм — детские игрушки, — но вот уже из мертвых начинают делать убийц. Есенина все-таки уродовали по-божески.

Они боятся прицельных слов. Ни бронебойные стекла, ни охрана, ни тюрьмы не могут защитить их от слов. И в ход идут пряники...

Тут надо не покривить душой: Володя — не без греха: дал им шанс исказить себя, знал же он — Марина — коммунистка и деньги любит. Ну, деньги он и сам любил, да и кто деньги не любит? Только сумасшедшие. Ну, пил он. Ну, кололся. Тоже шансы. Я б так много не писал об этом, но уверен: нет и одного стиха с малой ассоциацией, чтоб Роберт не перекарежил. Они так наследили за все свое послеоктябрьское время, что нет слова русского, чтоб не тянуло к ним чудовищных ассоциаций.

О названии «Нерв». Подлое название и умный финт. Хотят спрятать Володю за нерв, за захлест, за выхлест, за эмоции, то есть все его свойства борца свести к чисто актерским свойствам, а Высоцкий — это мысль на взлете, на нерве, на памяти, он — то, что Россия хотела вслух высказать поработителям. Хотела и высказала многое его устами! А «Нерв» — лишь одна грань великолепного многогранника «Владимир Семенович Высоцкий».

Облава на него началась сразу после его смерти. Тогда расставляли флажки, нынче погнали собак. Даже здесь, в Нью-Йорке. Тут и Марина наезжала. Для инструктажа, видимо. Сюда забросили и материалы, якобы контрабандные. Напечатали прозу, которой он стыдился. Всю жизнь мечтал написать и не мог. И мучился. А они надругались и издали. Изнасиловали. Грозят сценариями. Обгадились с последним стихотворением. Шесть вариантов в шесть изданий запустили. Это то, где «Марине, единственной, которую любил». Позор и безвкусица. У него же — сыновья! У него — их мать. Так что ж выходит, мать своих детей и вовсе никогда не любил он, чудовище! А сколько у него было «любвей»! Я знаю. О многих Юрий Петрович Любимов знает. Кое-кого из «любвей» он даже в труппу на «подносы» брал. И вот — «Единственной».?!

Нависают мемуары «друга» его, который на крючке у приятелей Рождественского. Тут, в эмиграции, не говоря о там, друзей набралось у него — тьма. Впрочем, кое-кто и впрямь пил с ним. Я знаю настоящего его друга за рубежом только в Канаде. Да и то старого, по молодости. Так тот друг молчит... Еще Миша Шемякин...

Эта вставка,

— когда книга набрана и готова к отправке. А тут схлест: мне надо дописать кое-что. Звоню издателю, спрашиваю: «Могу дописать или не могу?». Он отвечает анекдотом: «Трое играют в преферанс. Нужен четвертый. Посылают мальчишку за четвертым, тот возвращается и говорит: «Дядя Вася сказал, что он с женщиной. Если сможет, не придет. Если не сможет, придет...»»...

Вроде анекдот не к месту, однако, издатель мне ответил: «Если смогу, — не допечатаю, если не смогу, — допечатаю, во всяком случае — пиши!». И я пишу сначала по поводу глагола «был». Я в этой книге часто пишу: «Такой-то был...», хотя такой-то не был, а есть, вот я — был. Теперь между нами и не океан даже, а безвоздушное пространство ненависти. Ее накачивает советская власть: обрывают эмиграцию, телефонную и почтовую связь, но вдруг прибыл по морю-по океану через это безвоздушное пространство первый сборник Володи «Нерв». Оформлен здорово, бумага — меловая, все названия стихов — красной краской, форзац — со вкусом, задняя обложка — портрет, все — честь по чести, только вот предисловие написано хоть и здорово, но лживо, ну, да Бог с ним, с предисловием. Надо сказать — Роберт пробивал все, что мог, старался — это видно. И в синтаксисе великолепном — рука жены Роберта, Аллы, да сверху, у главных, кишка оказалась тонка. Приказали в конце книги дать «Коротко об авторе» и уложились в несколько строк. Некрологи о стукачах длиннее пишут. Из этого «Коротко об авторе» все ясно с Высоцким и с бандой на всех ступенях от секции поэзии Союза писателей и выше, до самого верха.

Полистал я сборник и наспех нашел «редактуру». Приведу кое-что для примера. Потому, что тут дело не в одном Высоцком. Тут разбойный почерк советской власти переделывать покойников и выставлять лжесвидетелей. В данном случае записали свидетелями прямо в книге Вовиных папу и жену. Мол, они помогали тексты выверять...

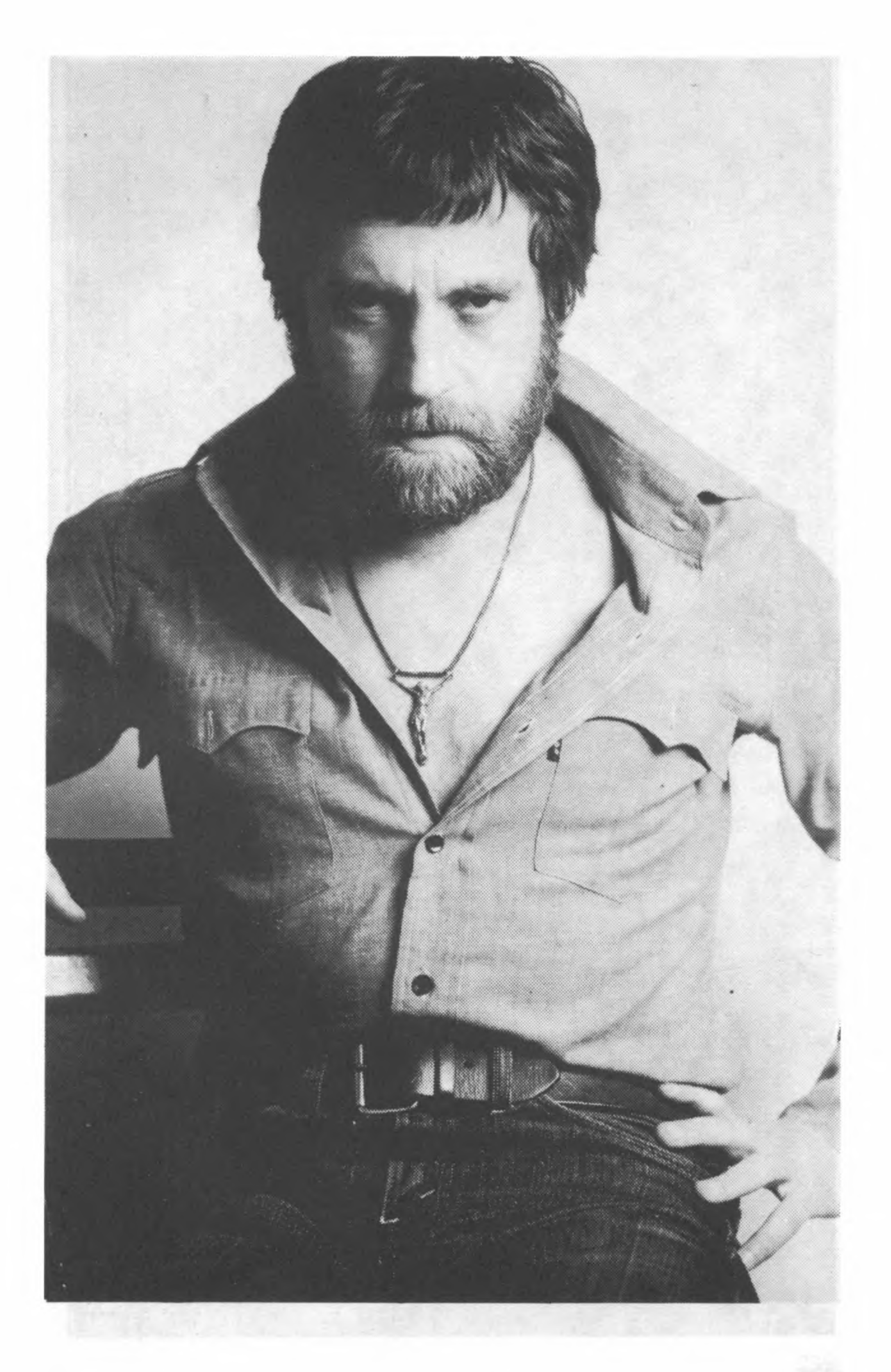
На пленках:

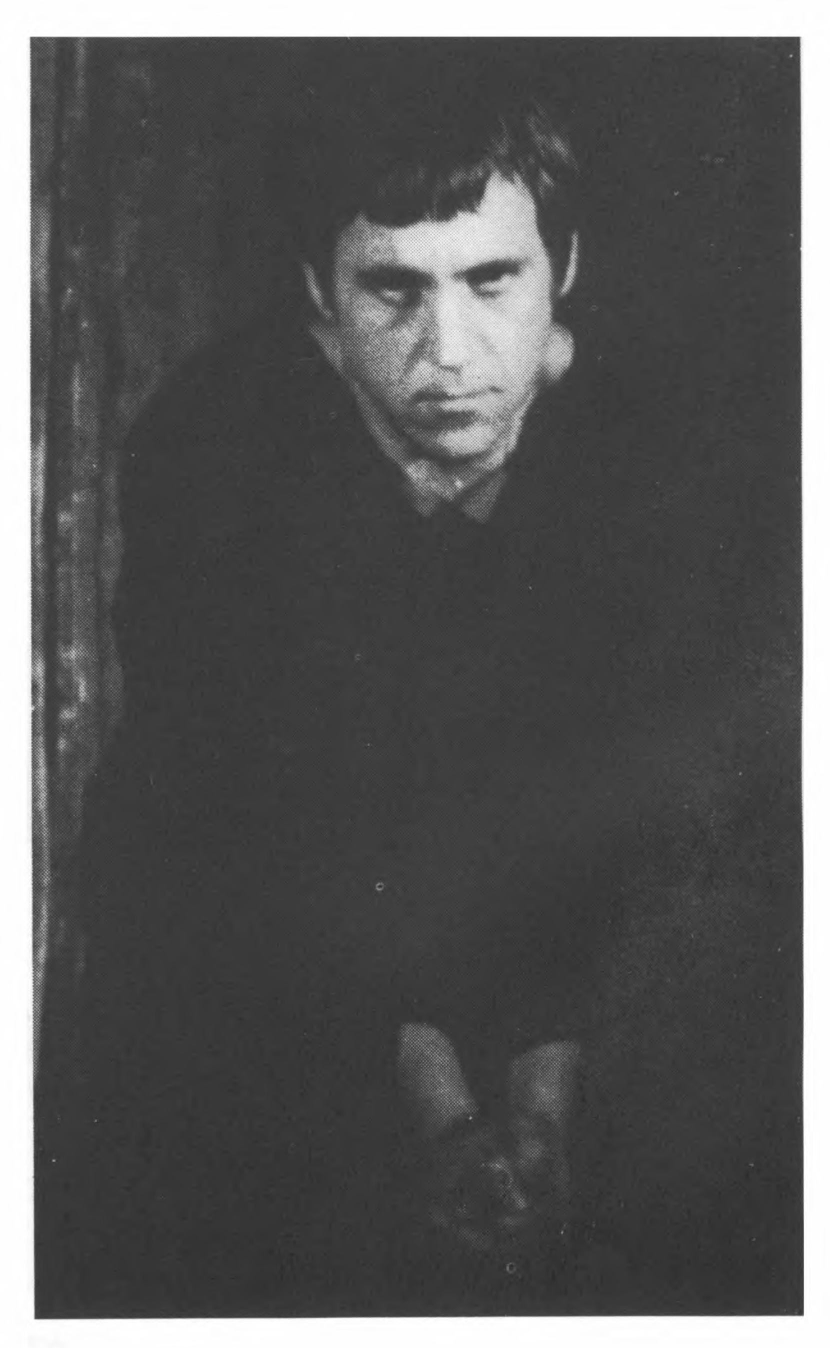
«Мы вращаем землю»

«...Здесь не смог бы найти и Особый отдел»...

В сборнике «Нерв»:

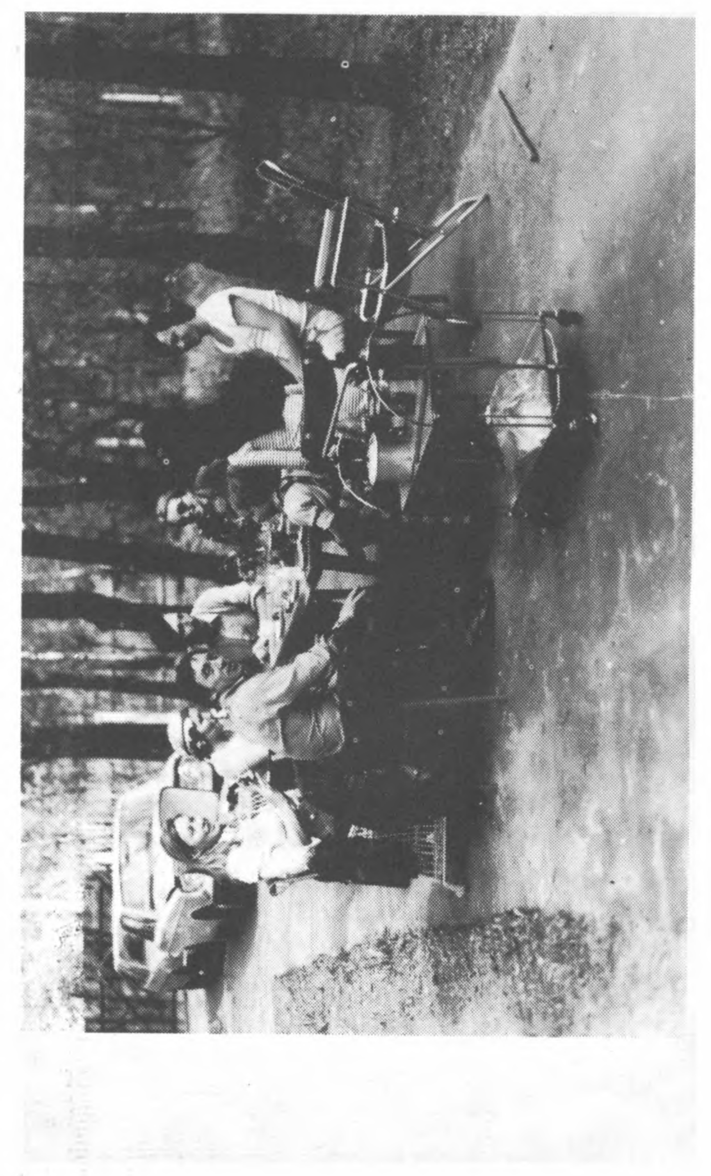
«...Здесь никто не найдет, даже если б хотел...»







Володя в «Маленьких трагедиях»
А.С. Пушкина



На пленках:

«Второе «я»»

«...И в тюрьмы заходить на огонек...»

В сборнике «Нерв»

«...И к судьям заходить на огонек...»

На пленках:

«Дорожная история»

«...Но был донос и был навет, кругом пятьсот и наших нет, —
Был кабинет с табличкой «Время уважай!».
Там прямо без соли едят, там штемпель ставят наугад,
Кладут в конверт и посылают «за Можай».

Потом «зачет», потом домой с семью годами за спиной,
Висят года на мне — ни бросить, ни продать,
Но на начальника попал, который бойко вербовал,
И за Урал машины стал перегонять...»

Это — второй и третий куплеты песни. И если второй куплет Володя иногда не пел, третий — «Висят года на мне» — пел всегда, однако, Роберт, или «его редактора» оба куплета выбросили.

Думаю, что в сборнике полно такой «редактуры».

Вижу перед собой Вову. Он сидит через стол от меня и листает свой первый в жизни сборник, выпущенный после смерти. И горько шутит фразой Сокольского: «Беззубой белке воз орех». Потом обнаруживает «редактуру».

Плотный, сбитый, «по форме современный как ракета», весь взрывной, тонкокожий в прямом и переносном смысле, всегда готовый «к запуску», «к подзарядке»... Вова занимает за столом немного места, а на русской земле — очень много, так много и до сих пор, что советской власти от него тесно, хотя порой и ей и ему казалось — они договорились и у них взаимопонимание.

Советской власти от него так тесно, что и после его смерти она кромсает Володины песни то ли мстя, то ли боясь, то ли ревнуя его, любимого всеми...

В черном трюме океанского лайнера, возможно, тем же рейсом, что вез «Нерв» Высоцкого, упакованный и расфасованный, плыл в США журнал «Новый мир» номер семь, за июль месяц тысяча девятьсот восемьдесят второго года, а в этом журнале, как в проржавелой, старинной банке из-под конфет «Лондрин», дребезжала очередная поэма теперь уже окончательно скурвившегося Жени Евтушенко, а до этой поэмы я никому не верил, что ему — крышка. Мне в нем чудился запал, что не вытянут, а оказалось — не только запала нет в нем, но и поглупел он страшно, катастрофически поглупел, и я б на месте советской власти Запад ему б отрубил: компрометация вместо агитации даже и у либералов — нынешний Евтушенко, хотя — кепка кожаная, одет, как поэт, глядит, как поэт, пишет, как поэт, а — не поэт больше, хотя поэму рванул лестницей и без рифм — супермодерн.

А сейчас в «Маме и нейтронной бомбе» нагородил семь верст до небес, а я, читая эту галиматью, почему-то вспомнил: Москва, июль, шестидесятые, где-то возле «Третьяковки» стоит Гена Шпаликов с женой Инной Гулаей. Я иду, он меня подзывает и говорит, что я — молодец, профессионал — я тогда не писал, — а все советские писатели — профессионалы, кроме «стариков» — подонки!! «Вот я — алкоголик профессиональный, Витя Некрасов тоже, еще есть люди, а остальные писатели профессиональные, а главный среди них — Евтуженька. В СССР нет выбора вне выбора. Или ты пьешь, или ты подличаешь, или тебя не печатают. Четвертого не дано». Так говорил пьяный Гена, весело грустя глазами, Инка смеялась и тащила его к набережной, а я удивлялся только тому, что он причислил к подонкам Евтушенко. Теперь не удивляюсь. Годы спустя Ахмадулина сказала: «От Жени ушло Слово». Теперь от него ушла Совесть. В поэме он рассказал, как придя в гости, нажравшись и напившись, наслушавшись эмигрантских разговоров, он вывел подонками собеседников и собутыльников в «Маме и нейтронной бомбе».

Ах, Женя, Женя! Ты же был поэтом и мужиком! Ты же всё мог и всё хотел! Ну, да, у тебя было трудное детство, в трудной стране, но я думаю: «Боже мой, какое дьявольское наваждение понадобилось, чтобы сделать из Евгения Евтушенко Евгения Евтушенко?»

И еще я думаю: Жене к пятидесяти, и он — не Катаев, и значит, это — конец.

А его книги будут выходить и выходить. Так у покойников еще долго растут ногти и борода...

* * *

...Приехали мы с Зоей на дачу к Лидии Андреевне Руслановой. Была поздняя осень. Еще с грачами, но уже без надежд. Вошли в дом и сразу на кухню. Я всю жизнь ненавижу обеды и вообще еду в столовой или в гостиной, а только — в кухне, а если кухня с окном не в стену, а в небо — отдохновение души.

Они не пили, а я напился. Они бурчали о своем. У них ли не было о чем поговорить, они ли не хлебнули родины? Скупая Лидия Андреевна «выдала» роскошный стол с рыбой и прочими закусками-разносолами, с водочкой, честь по чести. Я пью, закусываю, в окошко гляжу, где дождичек мельтешит. Они — все о своем, а я под дождичек их и не слышу и вдруг, врезавшись в потолок, рухнул на меня вопль: «Всю жизнь изломали! Вся жизнь на свалку! За что! За что?!» — это спокойная, разумная, мужественная Зоя сорвалась. Может, ей Лидия Андреевна чего-то невпопад брякнула. Я и до сих пор не знаю, чего она тогда закричала. Здесь, в Нью-Йорке, у Вики* дома хотел спросить и забыл. Раз сто хотел, раз сто забыл от уверенности, что Зоя вот-вот приедет насовсем. А она, дурочка, хотела кровные денежки хоть в малой части привезти с собой, чтоб не сидеть ни у кого на шее.

Я, да и другие говорили ей: «Зоя, плюнь, не связывайся с ними». Нет, русским все уроки — мимо и зря. Не русским, увы, тоже...

Мы тогда, после крика Зоиного вышли из дома, стали возле дачи и глядим в даль, а я запомнил: деревья голые и весь мир иссечен косым тонким дождичком. И еще запомнил, что подумал тогда: Зоя, Лидия Андреевна, любой человек, Россия в деревьях и в травах, именно такие потому, что все мы веками вдыхаем сами себя...

* Вика — Виктория, дочь Зои. Живет в США.

Впервые я встретил Зою в Америке у входа в Пенсильвания Стэйшен. Она приехала от дочери из штата Коннектикут. Я ее увидел, когда она вышла возле стоянки такси и встала, оглядываясь. Я не сразу побежал к ней. Сначала постоял, поглядел на нее со стороны, а после медленно пошел поперек движения через Седьмую Авеню, но Зоя меня не видела и не увидела в метре — вокруг рябили в бешеном солнце канареечные такси — я шел к Зое и думал: «Никогда ничего не знаешь, кроме того, что умрешь, и выходит — одно главное знание есть у каждого наперед...»

Я подошел к Зое, обнял ее, а она по-деревенски ойкнула, прижалась ко мне и, к моему удивлению, начала тихонько смеяться. Потом мы пошли по тридцать четвертой куда глаза глядят. Говорили ни про что, ее отвлекал Нью-Йорк — синее небо кипело в его огромных витринах, асфальт истекал потом и шины машин липли к нему. Толпа, жуя, бежала, рассекая сама себя, и остро чувствовался ритм. Казалось бы — Хаос, но в нем преобладали Ритм и Радость — город задыхался от жары и от счастья, что живет — иногда живешь и не замечаешь ничего вокруг себя, а после вдруг в какой-то предопределенный момент тебе открывается, что витрина «Сакса» — озеро, а Эмпайр Стэйт Билдинг — синяя сосна в желтое небо...

Зашли в «Бергер Кинг», пили «Коку», ели «Фрэнч Фрайз», Зоя говорила и подошла к началу своего первого путешествия к дочери в Америку, но тут я ее перебил и сказал, что мы пробыли с ней в Нью-Йорке часа три, и я увидел ее на Пенсильвания Стэйшен московской провинциалкой, а сейчас за столиком «Бергер Кинга» она выглядит стопроцентной жительницей Нью-Йорка потому, что в Москве или в Риме иностранцу, чтобы в них вписаться, нужна жизнь, а в Нью-Йорк можно вписаться за день, за час, за минуту. Таково волшебство этого города. Я это сказал, чтобы сбить Зою с нерва, столкнуть с порога истерики...

«...Мне позвонили и сказали, что разрешение ехать к Вике я получу. Голос баритонального тембра спрашивает Зою Алексеевну, как здоровье, и не могли бы вы, Зоя Алексеевна, заскочить к нам на минутку на Кузнецкий мост, в бюро пропусков, прямо напротив магазина, где живые рыбки продаются, ну, не напротив, а чуть наискосок, а время, скажем, часиков в одиннадцать, договорились?..

...Товарищ в штатском принял сразу: блондин, лет сорока, в обхождении мягкий, сказал, что дочка ваша, Зоя Алексеевна, нарушила правила игры, поставив нас своим замужеством перед фактом, но мы не злопамятны, да и должок у нас, Зоя Алек-



До войны и до тюрьмы

сеевна перед Вами, так мы его теперь, с Вашего разрешения, спишем на Викторию и будем на данный момент с вами в расчете, а вот разрешение ехать к Вике уже на счет запишем, Зоя Алексеевна, а счет пустяковый — мы молчим и вы там, в Штатах молчите, не пачкайте родину, чтоб все по-справедливости, и ходите-гуляйте по Америке, Зоя Алексеевна, только язык за зубы — лояльности мы от вас ждать в праве, верно ведь? Глаза у блондина зеленые, мерцающие (признак булгаковского Воланда), вот черты лица мелкие и прическа жидкая на пробор и волосы с желтизной, тусклые...

Третий раз Зою пустили уже после книги «Дочь адмирала». До верхов, где власть, еще не дошла книга, не было принято решение. Мы тогда ее в Нью-Йорке умоляли больше не ездить назад. Поехала. А дальше остается домысливать, а зная их, это — не трудно...

В дверь позвонили. Зоя подошла, спросила кто, ей ответил, возможно, тот блондинистый штатский, который беседовал с ней на Кузнецком в Бюро пропусков. Она, конечно, открыла. Вошли трое. Двое, не поздоровавшись, начали задергивать шторы на окнах, а блондинистый, не доходя шагов трех до Зои, остановился и глядел на нее внимательно и даже ласково. Зоя оцепенела. Она поняла, что все плохо, страшно, и она подумала о лагере, сейчас ее увезут, но зачем они задергивают шторы, зачем они зашли ей за спину, а блондинистый смотрит на нее и начинает говорить успокоительно, как врач-психиатр: «Все будет просто, Зоя Алексеевна, очень просто. Вы, Зоя Алексеевна ничего не почувствуете. И не надо нервничать. И расслабьтесь, расслабьтесь, а то будет дольше и больней...».

Слово «больней» сняло с нее оцепенение и она начала пятиться, и попала в объятия к одному из двоих, стоявших за спиной и поджидавших ее. Горящая голова ощутила холод стали на затылке, вспышка, гром, и конец. Так это выглядело, а что было в Зое, и как долго оно продолжалось после выстрела, кто знает?..

Версия о ее смерти от руки грабителя стопроцентно несостоятельна и безграмотна: они не утруждали себя сочинением хорошей легенды, а наоборот, — им хотелось и хочется, чтобы все поняли — у них длинные руки и они ничего не прощают...

А за занавешанными окнами Зоиной квартиры снегом, мочой и тройным одеколоном дышала и задыхалась Москва. Утро едва намечалось, но по городу в фиолетовом мареве брели черные тени. Небо в бинтах сквозных облаков ползло низко, иногда втискиваясь в переулки, и тогда затоптанный снег начинал искриться. Тени целеустремленно двигались по городу, а после выстраивались в длинные очереди возле молочных и мясных ма-

газинов. Очереди напоминали войну, но как ни странно, этот нынешний российский мир угнетал людей страшней, чем война — тогда были надежды... Церкви стыдливо подставляли вялому рассвету золотые бока, и это чистое золото Православия было в Москве самой большой липой в махровом цвету...

Когда-то рассветы почитались радостью, нынче пробуждения стали тяжелыми и похмельными...

Убитая Зоя Алексеевна Федорова остывала у себя дома, а вокруг остывала Россия...

Выглядит описанное мною фантазией? Не знаю, не знаю. По-моему, это — малость того, что есть, а про Зоино убийство в подробных деталях я додумывал, но если что и не так было в деталях — в главном все было и есть так.

Вот я пишу о них, а сам, несмотря на это, тоскую по России, страшно любя Нью-Йорк. Я его называю «Мой Нью-Йорк», испытывая гордость, словно и я в нем что-то построил.

Я думал писать только о людях в России, но это — невозможно. Я хотел писать только о живых, но и это оказалось тщетной попыткой. Во время работы над книгой я узнал о почти одновременной смерти Александра Менакера и Леонида Утесова. Одновременность их смерти открыла для меня еще одну сторону меня: я могу любить и не любить навсегда. И это — плохо, но с этим ничего нельзя поделать — я не любил человека Утесова и очень любил человека Менакера. Они умерли, но не сравнялись во мне — я по-прежнему не люблю Утесова и очень люблю Менакера — пока мы живы, мы плодоносим любовь и ненависть, и все-все...

Узнав о гибели Зои, я ночью пошел на сорок вторую, где мы с ней гуляли в последний ее приезд. Ей нравилось черное здание, стремящее себя ввысь, выгнутое, стоящее между Пятой и Шестой Авеню напротив Публичной библиотеки. Я подошел к нему и прислонился лбом к холодному камню, но мрамор мгновенно согрелся жаром моего лба...

* * *

...Мой самый любимый артист Петя Алейников, Царство ему Небесное, говорил мне на гастролях в Хабаровске, а говорил он, помните, нараспев и по-особому как-то: «Вот меня все, понимаешь, ругают, мол, что ты, Петя, пьешь да пьешь, а я им отвечаю: — Мне не пить нельзя, если, понимаешь, я вовремя не выпью — мне хана: задохнусь я, понимаешь... У меня, когда срок я пропущу, одышка жуткая, как у астматика — и ведь отняли у него одно легкое незадолго до смерти, — а выпью и отойдет,

Петр Алейников

Борис Андреев

отхлынет. У меня, понимаешь, в душе — гора, не передохнуть, не перешагнуть, не перемахнуть. Боря Андреев — вон какой здоровый, а с меня чего взять-то, чего взять с меня? Иной раз думаю: неужто один я такой непутевый, да неумный, а погляжу на улицу или в зал — ведь всем дышать нечем, всем, но они, дураки, терпят, а я пью и не терплю. У меня бабушка казачка была, вот я и буду пить, а — не терпеть...».

Минули годы сталинского кроволития. Только нынче — еще страшней. Нынче ни у кого шанса нет, если что не так. Поэтому, думаю, надо чаще вспоминать. Будущим нам не удержаться, только далеким прошлым: оно — Небо над головой, Земля под ногами. Но и прошлымнам не заслониться, если станем вспоминать, чтобы забывать, находить, чтобы терять, жить, чтобы умирать...

Володя Высоцкий среди других песен написал лучшую — «Кони привередливые». Это — песня-предчувствие, но не только своей смерти. Как вариацию на тему я сочинил — «Самый край». Ее пока никто не спел, но, может, кто-то еще споет.

Через пропасть осеннего дождика редкого
Я совет прошепчу, как худое известие:
«Не ходите по краю, ребята с Каретного,
Самый край этой жизни острее, чем лезвие».

В том краю за чертою на травы пахучие
Истекает закат соком зреющей ягоды,
И до срока спешат туда самые лучшие,
Оставляя на худших вселенские тяготы.

От земли и до неба всегда безответного,
Мы прожили себя небывалыми безднами —
Не ходите по краю, ребята с Каретного,
Самый край этой жизни острее, чем лезвие.

По-над пропастью дни оголтелые вертятся,
Обдавая нас гарью, тоской и презрением,
И от этого в Бога вдруг стало нам вериться,
Но похоже, что мы опоздали с прозрением.

Припев:

Места нет нам на краешке века облезлого,
И прощаемся с ним мы, грусти-не грусти,
И пусти мою руку к гремучему лезвию,
И прости нас на этом российском пути.

Где живем до погоста с разбойными метками,
И от страха пьяны, хотя выглядим трезвыми —
Не ходите по краю, ребята с Каретного,
Самый край этой жизни острее, чем лезвие.

Я вариацию испортил тем, что «оторвал от земли», но после «коней» на эту тему лучше не писать, однако, я уперся — здесь в этом месте должна быть песня...

* * *

...Я всю свою жизнь ходил и хожу по самому краю. Так уж случилось-получилось: с четырнадцати лет жил один, потом болел долго то одной болезнью тяжкой, то другой — влип в длинную полосу возвратного тифа и был в 1946 году одним из трех московских «возвратников», а после левая почка начала наращивать камни. Лев Исакович Дунаевский два раза вынимал их из нее, а уж потом «выбросил» почку, но от многолетних болей я стал наркоманом, попав в роковой семейный капкан. Пять лет я нескончаемо летел в пропасть, но чудом уцепился за шанс и спасся, бросил. Профессор Банщиков, главврач психиатрической клиники Первого Московского Медицинского Института, показывая меня студентам, сказал: «Этот человек — дважды герой. Он «делал» 50 грамм морфия в день и бросил. Ни у Корсакова, ни у меня подобных случаев не было!». Из той пропасти я выбираюсь третий десяток лет, но она — сквозная: ее дно до неба, а по ночам я часто попадаю в кошмарные наслаждения с безумно светлой головой, и просыпаюсь в холодном поту, а иногда не просыпаясь, кричу истошно и меня будит маленький сын, и я облегченно вздыхаю, и кладу его рученку на лоб, и мне приходит в голову мысль, что я должен быть счастлив каждым мгновением, ибо всякий миг с тех страшных пор — подаренный мне...

В те годы у нас с Вовой было несколько разговоров. Он тогда только «входил в штопор» запоев и мог еще выходить из них без внешних повреждений. Я говорил ему, что ни в водке, ни в чем другом нет спасенья от себя, а только — в людях. Людей знакомых и друзей было у нас с ним за жизнь очень много, осо-

бенно у него, но ни он, ни я не нашли в них спасенья. Как-то он познакомился с врачем, тем, что доставал мне наркотики. Круг замыкался, но мы тогда не могли ни следить, ни гасить полуночные тени... После врач дал ему первую ампулу...

Я ему сказал однажды: «Вова, ничто не средство от себя, а только — люди!». А он сказал, что я — мудак, что люди — средство против себя и рассказал про одну мелкокалиберную писюху, которую полюбил и которой поверил, и которая переспала с его лучшим тогдашним приятелем, а я ему сказал, что не имею в виду женщин, ибо женщин надо рассматривать как нечто одноразовое, а Женщина может быть одна, а я, сказал я, имею в виду мужчин, но тут он меня послал и сказал, что друг, переспавший с той писюхой — говно и что средство от себя только ты сам, и если этого мало, человек обречен... И вообще мы с ним в те годы любили трепаться «за жизнь», но это было трудно: мы оба «были умными», каждый из нас считал себя «умней» другого, но Вова был моложе меня на 11 лет и мне было противно, что он такой умный. Однажды мы остались с ним ночью в запертом саду «Эрмитаж» и он беспомощно плакал, размазывая слезы, и говорил, как это жутко! Как это жутко, что он живет, спит с бабами, пьет, играет в театре и пишет песни по намеченному, и что с этим ничего нельзя сделать, и что он не может остановиться и передохнуть, а главное — он не может хоть в чем-то переосмыслить себя, а я ему сказал, что это — прекрасно, но он, плача, возражал и, всхлипывая, говорил, как устал от всей этой намеченной канители, а в саду было тихо, и старые деревья шуршали по синей ночной мгле, и два фонаря были, как два задушенных выстрела в затяжном прыжке, и мы хотели пить, но не могли выйти из сада, потому что он был заперт, но потом мы перелезли через забор, и ушли в рассвет Садового кольца, и Вова больше не плакал, а стал злым и мрачным, и молчал, и шел быстро, а у Маяковки резко повернулся ко мне и сказал, что средство от себя — красиво сказано, но это — пустые слова и что нету средства от себя нигде, а только в себе, но и в себе нету этого средства, а если и есть где-то — то в Боге. Он это говорил отчаянно и без всякой надежды.

...Он ни в чем не был профессионалом. Я уверен. Он не был гением ни в чем, а был ребром России и болью ее души. Он был не артист, не бард, не поэт, а — свой человек всей стране.

Таких до него не было и, наверно, не будет. И я уверен, что не преувеличиваю, а когда я в следующей книге «Скоморохи» расскажу о его жизни, надеюсь многое станет ясным...

У него на всю страну есть один двойник, мельче колибром, но с той же сверхзадачей — своя всей стране. Это — Алла Пуга-

чева. Эдакая растрепаная, гениальная фэзэушница, свойская, рыжая девчонка.

Потрясающе музыкальная халда с интуицией Сары Бернар и Софьи Ковалевской. Она не может заменить Вову и никто не может его заменить, но она делает его дело, оставляя у людей смутные надежды в этой безнадежной круговерти. И ей — спасибо...

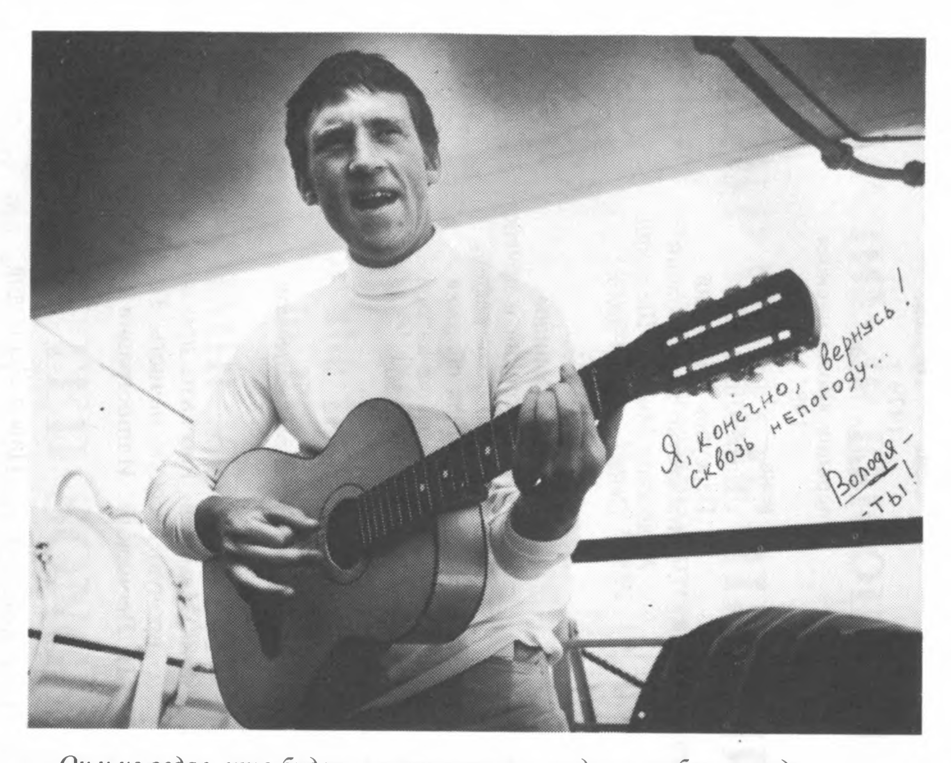
...Ваганьковка — старое кладбище. На нем кресты, а в мае их не видно. Они — в сирени. Кладбище — слева от Беговой улицы и за спиной Красной Пресни. Недалеко — Ипподром, где страсти, азарт, кони, люди, деньги — все в куче и в гуде, но это соседство мирное и унисонное: жизнь и смерть — две сестры, просто Пастернак не успел в последний момент сказать «Сестра моя, смерть», а может, успел и шепнул, кто знает...

По утрам в безветрии Ипподром слышен эхом на Ваганьковке, и хотя мимо шумят трамваи — над кладбищем своебычная свежесть с привкусом ладана и полыни, и патриархальность щемит душу, а за оградой Москва коробками строится в высь, однако, по закону противостояния духа факту, ростя ввысь, Москва вокруг Ваганьковки катится вниз, а тянется в небо кладбище, ибо оно хранит Россию, которую сдает уже и Церковь, ей тоже местечка укромного на земле не оставили и только мертвые — стражи, ибо у них взято все, что можно и больше ничего взять нельзя...

На Ваганьковке полно певчих птиц и нет воронов, и вроде — все хорошо там, только места мало — живые теснят мертвых, но это — видимость, да и то на время и выходит, что все — на время и только страна, да ее апостолы — навсегда и Володя — среди них.

Здесь бы стиснуть глаза и услышать малиновый перезвон в колокольном небе и открыть глаза среди толпы, и вокруг цветы, море и океан цветов, и все плачут, а в стране, где привыкли к потерям, это — много, когда все плачут и говорят «До свидания» и не расходятся по домам, и их долгое прощание — просьба о прощении...

август 1981 — май 1982
Нью-Йорк



Он и не ведал, что будет возвращаться к людям в любую погоду очень, очень долго, а скорее всего — всегда...

готовится к печати

впервые
на английском языке
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПЕСНИ

Более ста песен с параллельным русским текстом.

Переводчик Натан МЕР.

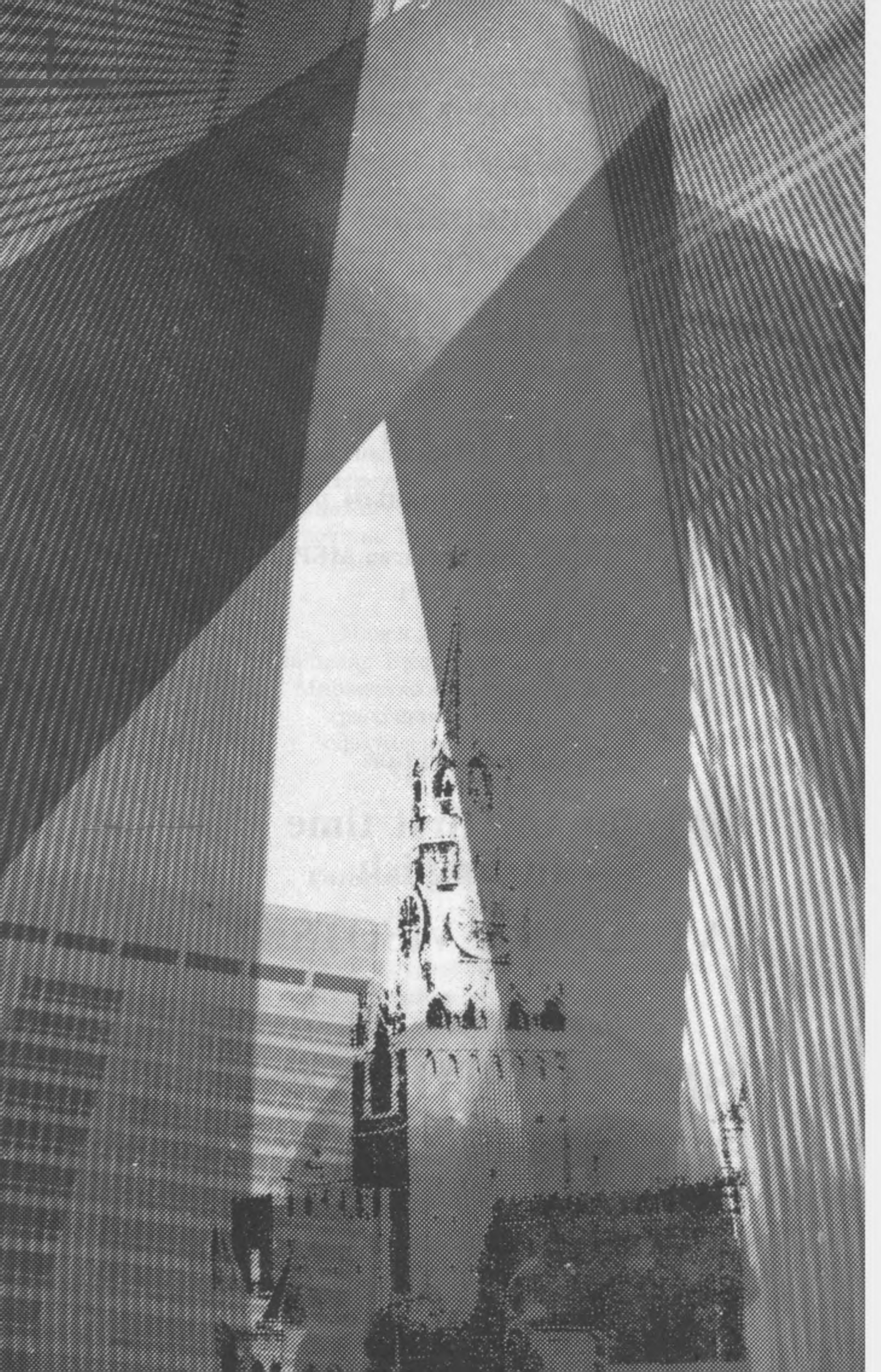
in preparation

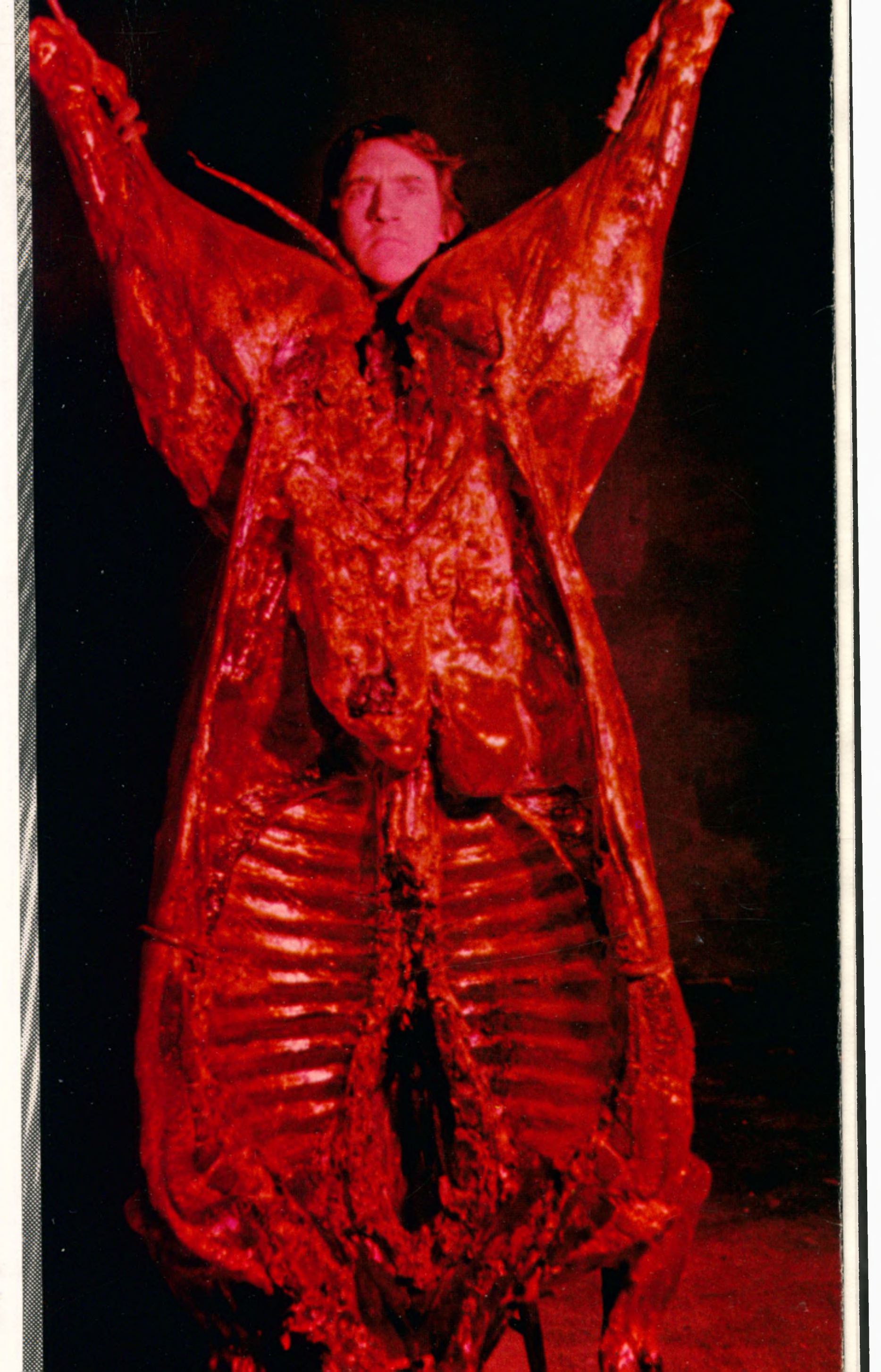
for the first time
in English
VLADIMIR VISOTSKY

SELECTED SONGS

Over 100 songs with parallel Russian text.

Translated by Nathan MER.





Павел Леонидов

Владимир Высоцкий и другие



Книга третья

“SOS!”



